

П. СЕРГЕИЧ

ИСКУССТВО
РЕЧИ
НА СУДЕ

П. Сергеич — псевдоним известного русского юриста Петра Сергеевича Пороховщикова. О чистоте и точности слога, простоте речи, о «цветах красноречия», риторических оборотах, поисках истины размышляет автор этой книги — содержательной, богатой наблюдениями и примерами. Впервые она была издана в 1910 году; переиздание в 1960 году имело большой успех. Многие рекомендации автора по методике построения судебной речи полезны и в наши дни.

-
- [Вместо предисловия](#)
- [Глава I. О слоге](#)
- [Чистота слога](#)
- [О точности слога](#)
- [Богатство слов](#)
- [Знание предмета](#)
- [Сорные мысли](#)
- [О пристойности](#)
- [Простота и сила](#)
- [О благозвучии](#)
- [Глава II. Цветы красноречия](#)
- [Образы](#)
- [Метафоры и сравнения](#)
- [Антитеза](#)
- [Concessio *\(51\)](#)
- [Sermocinatio *\(54\)](#)
- [Другие риторические обороты](#)
- [Общие мысли](#)
- [Глава III. Meditatio *\(66\)](#)
- [Поиски истины](#)
- [Картины](#)
- [О непрерывной работе](#)
- [Схема речи](#)
- [Глава IV. О психологии в речи](#)
- [Характеристика](#)
- [Житейская психология](#)
- [О мотиве](#)
- [Глава V. Предварительная обработка речи](#)
- [Нравственная оценка преступления](#)
- [О творчестве](#)
- [Художественная обработка](#)
- [Идея](#)
- [Dispositio *\(98\)](#)
- [Глава VI. Судебное следствие](#)
- [О достоверности свидетельских показаний](#)
- [О разборе свидетельских показаний](#)

- [Об экспертизе](#)
 - [Глава VII. Искусство спора на суде](#)
 - [Некоторые правила диалектики](#)
 - [Probatio](#)
 - [Refutatio *\(127\)](#)
 - [Преувеличение](#)
 - [Повторение](#)
 - [О недоговоренном](#)
 - [Возможное и вероятное](#)
 - [О здравом смысле](#)
 - [О нравственной свободе оратора](#)
 - [Глава VIII. О пафосе](#)
 - [Чувства и справедливость](#)
 - [Пафос как неизбежное, законное и справедливое](#)
 - [Искусство пафоса](#)
 - [Пафос фактов](#)
 - [Глава IX. Заключительные замечания](#)
 - [О внимании слушателей](#)
 - [Несколько слов обвинителю](#)
 - [Несколько слов защитнику](#)
 -
 -
-

Благодарим Вас за использование нашей библиотеки Librs.net.

Вместо предисловия

"Искусство речи на суде" – так называется книга П. Сергеича (П. С. Пороховщикова), вышедшая в 1910 году, задачей которой является исследование условий судебного красноречия и установление его методов. Автор – опытный судебный деятель, верный традициям лучших времен Судебной реформы, – вложил в свой труд не только обширное знакомство с образцами ораторского искусства, но и богатый результат своих наблюдений из области живого слова в русском суде. Эта книга является вполне своевременной и притом в двух отношениях. Она содержит практическое, основанное на многочисленных примерах, наставление о том, как надо и – еще чаще – как не надо говорить на суде, что, по-видимому, особенно важно в такое время, когда развязность приемов судоговорения развивается на счет их целесообразности. Она своевременна и потому, что в сущности только теперь, когда накопился многолетний опыт словесного судебного состязания и появились в печати целые сборники обвинительных и защитительных речей, сделались возможным основательное исследование основ судебного красноречия и всесторонняя оценка практических приемов русских судебных ораторов...

Книга П. С. Пороховщикова – полное, подробное и богатое эрудицией и примерами исследование о существе и проявлениях искусства речи на суде. В авторе попеременно сменяют друг друга восприимчивый и чуткий наблюдатель, тонкий психолог, просвещенный юрист, а по временам и поэт, благодаря чему эта серьезная книга изобилует живыми бытовыми сценами и лирическими местами, вплетенными в строго научную канву. Таков, например, рассказ автора, приводимый в доказательство того, как сильно может влиять творчество в судебной речи даже по довольно заурядному делу. В те недавние дни, когда еще и разговора не было о свободе вероисповедания, полиция по сообщению дворника явилась в подвальное жилье, в котором помещалась сектантская молельня. Хозяин – мелкий ремесленник, – встав на пороге, грубо крикнул, что никого не впустит к себе и зарубит всякого, кто попытается войти, что вызвало составление акта о преступлении, предусмотренном статьей 286 Уложения о наказаниях и влекущем за собою тюрьму до четырех месяцев или штраф не свыше ста рублей. "Товарищ прокурора сказал: поддерживаю обвинительный акт. Заговорил защитник, и через несколько мгновений вся зала превратилась в напряженный, очарованный и встревоженный слух", – пишет автор. "Он говорил нам, что люди, оказавшиеся в этой подвальной молельне, собрались туда не для обычного богослужения, что это был особо торжественный, единственный день в году, когда они очищались от грехов своих и находили примирение со Всевышним, что в этот день они отрешались от земного, возносясь к божественному; погруженные в святая святых души своей, они были неприкосновенны для мирской власти, были свободны даже от законных ее запретов. И все время защитник держал нас на пороге этого низкого подвального хода, где надо было в темноте спуститься по двум ступенькам, где толкались дворники и где за дверью в низкой убогой комнате сердца молившихся уносились к Богу... Я не могу передать этой речи и впечатления, ею произведенного, но скажу, что не переживал более возвышенного настроения. Заседание происходило вечером, в небольшой тускло освещенной зале, но над нами расступились своды, и мы со своих кресел смотрели прямо в звездное небо, из времени в вечность..."

Можно не соглашаться с некоторыми из положений и советов автора, но нельзя не признать за его книгой большого значения для тех, кто субъективно или объективно интересуется судебным красноречием как предметом изучения, или как орудием своей деятельности, или, наконец, как показателем общественного развития в данное время. Четыре вопроса возникают

обыкновенно пред каждым из таких лиц: что такое искусство речи на суде? какими свойствами надо обладать, чтобы стать судебным оратором? какими средствами и способами может располагать последний? в чем должно состоять содержание речи и ее подготовка? На все эти вопросы встречается у П. С. Пороховщикова обстоятельный ответ, разбросанный по девяти главам его обширной книги. Судебная речь, по его мнению, есть продукт творчества, такой же его продукт, как всякое литературное или поэтическое произведение. В основе последних лежит всегда действительность, преломившаяся, так сказать, в призме творческого воображения. Но такая же действительность лежит и в основе судебной речи, действительность по большей части грубая, резкая. Разница между творчеством поэта и судебного оратора состоит главным образом в том, что они смотрят на действительность с разных точек зрения и сообразно этому черпают из нее соответствующие краски, положения и впечатления, перерабатывая их затем в доводы обвинения или защиты или в поэтические образы. "Молодая помещица, говорит автор,— дала пощечину слишком смелому поклоннику. Для сухих законников это – 142 статья Устава о наказаниях,— преследование в частном порядке,— три месяца ареста; мысль быстро пробежала по привычному пути юридической оценки и остановилась. А. Пушкин пишет "Графа Нулина", и мы полвека спустя читаем эту 142 статью и не можем ею начитаться. Ночью на улице ограбили прохожего, сорвали с него шубу... Опять все просто, грубо, бессодержательно: грабеж с насилием, 1642 статья Уложения – арестантские отделения или каторга до шести лет, а Гоголь пишет "Шинель" – высокохудожественную и бесконечно драматическую поэму. В литературе нет плохих сюжетов; в суде не бывает неважных дел и нет таких, в которых человек образованный и впечатлительный не мог бы найти основы для художественной речи". Исходная точка искусства заключается в умении уловить частное, подметить то, что выделяет известный предмет из ряда ему подобных. Для внимательного и чуткого человека в каждом незначительном деле найдется несколько таких характерных черт, в них всегда есть готовый материал для литературной обработки, а судебная речь, по удачному выражению автора, "есть литература на лету". Отсюда, собственно вытекает и ответ на второй вопрос: что нужно для того, чтобы быть судебным оратором? Наличие прирожденного таланта, как думают многие, вовсе не есть непеременимое условие, без которого нельзя сделаться оратором. Это признано еще в старой аксиоме, говорящей, что *oratores fiunt* *(1). Талант облегчает задачу оратора, но его одного мало: нужны умственное развитие и умение владеть словом, что достигается вдумчивым упражнением. Кроме того, другие личные свойства оратора, несомненно, отражаются на его речи. Между ними, конечно, одно из главных мест занимает его темперамент. Блестящая характеристика темпераментов, сделанная Кантом, различавшим два темперамента чувств (сангвинический и меланхолический) и два темперамента деятельности (холерический и флегматический), нашла себе физиологическую основу в труде Фулье "О темпераменте и характере". Она применима ко всем говорящим публично. Разность темпераментов и вызываемых ими настроений говорящего обнаруживается иногда даже помимо его воли в жесте, в тоне голоса, в манере говорить и способе держать себя на суде. Типическое настроение, свойственное тому или другому темпераменту оратора, неминуемо отражается на его отношении к обстоятельствам, о которых он говорит, и на форме его выводов. Трудно представить себе меланхолика и флегматика, действующими на слушателей исполненной равнодушия, медлительной речью или безнадежной грустью, "уныние на фронт наводящую", по образному выражению одного из приказов императора Павла. Точно так же не может не сказываться в речи оратора его возраст. Человек, "слово" и слова которого были проникнуты молодой горячностью, яркостью и смелостью, с годами становится менее впечатлительным и приобретает большой житейский опыт. Жизнь приучает его, с одной стороны, чаще, чем в молодости, припоминать и понимать слова Экклезиаста о "суете сует", а с другой стороны,

развивает в нем гораздо большую уверенность в себе от сознания, что ему – старому испытанному бойцу – внимание и доверие оказываются очень часто авансом и в кредит, прежде даже чем он начнет свою речь, состоящую нередко в бессознательном повторении самого себя. Судебная речь должна заключать в себе нравственную оценку преступления, соответствующую высшему мировоззрению современного общества. Но нравственные воззрения общества не так устойчивы и консервативны, как писанные законы. На них влияет процесс то медленной и постепенной, то резкой и неожиданной переоценки ценностей. Поэтому оратор имеет выбор между двумя ролями: он может быть послушным и уверенным выразителем господствующих воззрений, солидарным с большинством общества; он может, наоборот, выступить в качестве изобличителя распространенных заблуждений, предрассудков, косности или слепоты общества и идти против течения, отстаивая свои собственные новые взгляды и убеждения. В избирании одного из этих путей, намеченных и автором, неминуемо должны сказываться возраст оратора и свойственные ему настроения.

Содержание судебной речи играет не меньшую роль, чем искусство в ее построении. У каждого, кому предстоит говорить публично, и особенно на суде, возникает мысль: о чем говорить, что говорить и как говорить? На первый вопрос отвечает простой здравый рассудок и логика вещей, определяющая последовательность и связь между собою отдельных действий. Что говорить – укажет та же логика, на основе точного знания предмета, о котором приходится повествовать. Там, где придется говорить о людях, их страстях, слабостях и свойствах, житейская психология и знание общих свойств человеческой природы помогут осветить внутреннюю сторону рассматриваемых отношений и побуждений. При этом надо заметить, что психологический элемент в речи вовсе не должен выражаться в так называемой глубине психологического анализа, в разворачивании человеческой души и в копании в ней для отыскания очень часто совершенно произвольно предполагаемых в ней движений и побуждений. Фонарь для освещения этих глубин уместен лишь в руках великого художника-мыслителя, оперирующего над им же самим созданным образом. Уж если подражать, то не Достоевскому, который буравит душу, как почву для артезианского колодца, а удивительной наблюдательности Толстого, которую ошибочно называют психологическим анализом. Наконец, совесть должна указать судебному оратору, насколько нравственно пользоваться тем или другим освещением обстоятельств дела и возможным из их сопоставления выводом. Здесь главная роль в избрании оратором того или другого пути принадлежит сознанию им своего долга перед обществом и перед законом, сознанию, руководящемуся заветом Гоголя: "Со словом надо обращаться честно". Фундаментом всего этого, конечно, должно служить знакомство с делом во всех его мельчайших подробностях, причем трудно заранее определить, какая из этих подробностей приобретет особую силу и значение для характеристики события, лиц, отношений... Для приобретения этого знакомства не нужно останавливаться ни перед каким трудом, никогда не считая его бесплодным. "Те речи, – совершенно справедливо указывает автор, – которые кажутся сказанными просто, в самом деле составляют плод широкого общего образования, давнишних частых дум о сущности вещей, долгого опыта и – кроме всего этого – напряженной работы над каждым отдельным делом". К сожалению, именно здесь чаще всего сказывается наша "лень ума", отмеченная в горячих словах еще Кавелиным.

В вопросе: как говорить – на первый план выступает уже действительное искусство речи. Пишущему эти строки приходилось, читая лекции уголовного судопроизводства в Училище правоведения и в Александровском лицее, выслушивать не раз просьбу своих слушателей разъяснить им, что нужно, чтобы хорошо говорить на суде. Он всегда давал один и тот же ответ: надо знать хорошо предмет, о котором говоришь, изучив его во всех подробностях, надо знать родной язык, сего богатством, гибкостью и своеобразностью, так, чтобы не искать слов и

оборотов для выражения своей мысли и, наконец, надо быть искренним. Человек лжет обыкновенно тройным образом: говорит не то, что думает, думает не то, что чувствует, то есть обманывает не только других, но и самого себя, и, наконец, лжет, так сказать в квадрате, говоря не то, что думает, и думая не то, что чувствует. Все эти виды лжи могут находить себе место в судебной речи, внутренне искажая ее и ослабляя ее силу, ибо неискренность чувствуется уже тогда, когда не стала еще, так сказать, осязательной... Знаменательно, что Бисмарк в одной из своих парламентских речей, характеризуя красноречие как опасный дар, имеющий, подобно музыке, увлекающую силу, находил, что в каждом ораторе, который хочет действовать на своих слушателей, должен заключаться поэт, и, если он властелин над своим языком и мыслями, он овладевает силою действовать на тех, кто его слушает. Языку речи посвящены две главы в труде П. С. Пороховщикова, со множеством верных мыслей и примеров. Русский язык и в печати, и в устной речи подвергается в последние годы какой-то ожесточенной порче... Автор приводит ряд слов и оборотов, вошедших в последнее время в практику судоговорения без всякого основания и оправдания и совершенно уничтожающих чистоту слога. Таковы, например, слова – фиктивный (мнимый), инспирировать (внушать), доминирующий, симуляция, травма, прекарность, базировать, варьировать, таксировать (вместо наказывать), корректив, дефект, анкета, деталь, досье (производство), адекватно, аннулировать, ингредиент, инсценировать и т. д. Конечно, есть иностранные выражения, которые нельзя с точностью перевести по-русски. Таковы приводимые автором – абсентеизм, лояльность, скомпрометировать; но у нас употребляются термины, смысл которых легко передаваем на русском языке. В моей судебной практике я старался заменить слово *alibi*, совершенно непонятное огромному большинству присяжных, словом инобытность, вполне соответствующим понятию *alibi*, и название заключительного слова председателя к присяжным – резюме – названием "руководящее напутствие", характеризующим цель и содержание речи председателя. Эта замена французского слова *resume*, как мне казалось, встречена была многими сочувственно. Вообще привычка некоторых из наших ораторов избегать существующее русское выражение и заменять его иностранным или новым обличает малую вдумчивость в то, как следует говорить. Новое слово в сложившемся уже языке только тогда извинительно, когда оно безусловно необходимо, понятно и звучно. Иначе мы рискуем вернуться к отвратительным искажениям русского официального языка после Петра Великого и почти до царствования Екатерины, совершаемым притом, употребляя тогдашние выражения, "без всякого резону по бизарии своего гумору".

Но не одна чистота слога страдает в наших судебных речах: страдает и точность слога, заменяемая излишком слов для выражения иногда простого и ясного понятия, причем слова эти нанизываются одно за другим ради пущего эффекта. В одной не слишком длинной обвинительной речи о крайне сомнительном истязании приемыша-девочки женщиной, взявшей ее на воспитание, судьи и присяжные слышали, по словам автора, такие отрывки: "Показания свидетелей в главном, в существенном, в основном совпадают; развернутая перед вами картина во всей своей силе, во всем объеме, во всей полноте изображает такое обращение с ребенком, которое нельзя не признать издевательством во всех формах, во всех смыслах, во всех отношениях; то, что вы слышали, это ужасно, это трагично, это превосходит всякие пределы, это содрогает все нервы, это поднимает волосы дыбом..." Неточностью слога страдают речи большинства судебных ораторов. У нас постоянно говорят "внутреннее убеждение", "внешняя форма" и даже – *harribile dictu* [*\(2\)](#) – "для проформы". При привычной небрежности речи нечего и ждать правильного расположения слов, а между тем это было бы невозможно, если бы оценивался вес каждого слова во взаимоотношении с другими. Недавно в газетах было напечатано объявление: "актеры-собаки" вместо "собаки-актеры". Стоит переставить слова в народном выражении "кровь с молоком" и сказать "молоко с кровью", чтобы увидеть значение

отдельного слова, поставленного на свое место. К недостаткам судебной речи автор, в свою очередь, относит "сорные мысли", то есть общие места, избитые (и не всегда верно приводимые) афоризмы, рассуждения о пустяках и вообще всякую не идущую к делу "отсебятину", как называли в журнальном мире заполнение пустых мест в книге или газете. Он указывает, затем, на необходимость пристойности. "По свойственному каждому из нас чувству изящного,— пишет он,— мы бываем впечатлительны к различию приличного и неуместного в чужих словах; было бы хорошо, если бы мы развивали эту восприимчивость и по отношению к самим себе". Но этого, к великому сожалению тех, которые помнят лучшие нравы в судебном ведомстве, нет. Современные молодые ораторы, по свидетельству автора, без стеснения говорят о свидетельницах: содержанка, любовница, проститутка, забывая, что произнесение этих слов составляет уголовный проступок и что свобода судебной речи не есть право безнаказанного оскорбления женщины. В прежнее время этого не было. "Вы знаете,— говорит обвинитель в приводимом автором примере,— что между Янсенем и Акар существовала большая дружба, старинная приязнь, переходящая в родственные отношения, которые допускают возможность обедать и завтракать у нее, заведовать ее кассой, вести расчеты, почти жить у нее". Мысль понятна, прибавляет автор, и без оскорбительных грубых слов.

К главе о "цветах красноречия", как несколько иронически называет автор изящество и блеск речи — этот "курсив в печати, красные чернила в рукописи", — мы встречаем подробный разбор риторических оборотов, свойственных судебной речи, и в особенности образов, метафор, сравнений, противопоставлений и т. д. Особое внимание уделяется образам, и вполне основательно. Человек редко мыслит логическими посылками. Всякое живое мышление, обращенное не на отвлеченные предметы, определяемые с математической точностью, как, например, время или пространство, непременно рисует себе образы, от которых отправляется мысль и воображение или к которым они стремятся. Они властно вторгаются в отдельные звенья целой цепи размышлений, влияют на вывод, подсказывают решимость и вызывают нередко в направлении воли то явление, которое в компасе называется девиацией. Жизнь постоянно показывает, как последовательность ума уничтожается или видоизменяется под влиянием голоса сердца. Но что же такое этот голос, как не результат испуга, умиления, негодования или восторга пред тем или другим образом? Вот почему искусство речи на суде заключает в себе умение мыслить, а следовательно, и говорить образами. Разбирая все другие риторические обороты и указывая, как небрегут некоторыми из них наши ораторы, автор чрезвычайно искусно цитирует вступление в речь знаменитого Chaix-d'Est-Ange по громкому делу ла Ронсьера, обвинявшегося в покушении на целомудрие девушки, отмечая в отдельной графе, рядом с текстом, постепенное употребление защитником самых разнообразных оборотов речи.

Хотя, собственно говоря, ведение судебного следствия не имеет прямого отношения к искусству речи на суде, но в книге ему посвящена целая, очень интересная глава, очевидно, в том соображении, что на судебном следствии и особенно на перекрестном допросе продолжается судебное состязание, в которое речи входят лишь как заключительные аккорды. В этом состязании, конечно, главную роль играет допрос свидетелей, ибо прения сторон по отдельным процессуальным действиям сравнительно редки и имеют строго деловой, заключенный в узкие и формальные рамки характер. Наша литература представляет очень мало трудов, посвященных допросу свидетелей. Особенно слабо разработана психология свидетельских показаний и те условия, которые влияют на достоверность, характер, объем и форму этих показаний. Я пытался по мере сил пополнить этот пробел в введении в четвертое издание моих "Судебных речей" в статье "Свидетели на суде" и горячо приветствую те 36 страниц, которые П. С. Пороховщиков посвящает допросу свидетелей, давая ряд животрепещущих бытовых картин, изображая недомыслие допрашивающих и снабжая судебных

деятели опытные советами, изложенными с яркой доказательностью.

Объем настоящей статьи не позволяет коснуться многих частей книги, но нельзя не указать на одно оригинальное ее место. "Есть вечные, неразрешимые вопросы о праве суда и наказания вообще,— говорит автор,— и есть такие, которые создаются столкновением существующего порядка судопроизводства с умственными и нравственными требованиями данного общества в определенную эпоху". Вот несколько вопросов того и другого рода, остающихся нерешенными и донныне и с которыми приходится считаться: в чем заключается цель наказания? можно ли оправдать подсудимого, когда срок его предварительного заключения больше срока угрожающего ему наказания? можно ли оправдать подсудимого по соображению: на его месте я поступил бы так же, как он? может ли безупречное прошлое подсудимого служить основанием к оправданию? можно ли ставить ему в вину безнравственные средства защиты? можно ли оправдать подсудимого потому, что его семье грозит нищета, если он будет осужден? можно ли осудить человека, убившего другого, чтобы избавиться от физических или нравственных истязаний со стороны убитого? можно ли оправдать второстепенного соучастника на том основании, что главный виновник остался безнаказанным вследствие небрежности или недобросовестности должностных лиц? заслуживает ли присяжное показание большего доверия, чем показание без присяги? какое значение могут иметь для данного процесса жестокие судебные ошибки прошлых времен и других народов? имеют ли присяжные заседатели нравственное право считаться с первым приговором по кассированному делу, если на судебном следствии выяснилось, что приговор был отменен неправильно, например, под предлогом нарушения, многократно признанного Сенатом за несущественное? имеют ли присяжные нравственное право на оправдательное решение вследствие пристрастного отношения председательствующего к подсудимому? и т. п. По мере сил и нравственного разумения судебный оратор должен основательно продумать эти вопросы не только как законник, но и как просвещенный сын своего времени. Указание на эти вопросы во всей их совокупности встречается в нашей юридической литературе впервые с такою полнотою и прямотою. Несомненно, что перед юристом-практиком они возникают нередко, и необходимо, чтобы неизбежность того или другого их решения не заставляла его врасплох. Решение это не может основываться на бесстрастной букве закона; в нем должны найти себе место и соображения уголовной политики, и повелительный голос судебной этики, этот *non scripta, sed nata lex* ^{*(3)}. Выставляя эти вопросы, автор усложняет задачу оратора, но вместе с тем облагораживает ее.

Обращаясь к некоторым специальным советам, даваемым автором адвокатам и прокурорам, приходится прежде всего заметить, что, говоря об искусстве речи на суде, он напрасно ограничивается речами сторон. Руководящее напутствие председателя присяжным относится тоже к области судебной речи, и умелое его изложение всегда имеет важное, а иногда решающее значение. Уже самые требования закона — восстановить истинные обстоятельства дела и не высказать при этом личного мнения о вине или невиновности подсудимого — должны заставлять председателя относиться с особым вниманием и вдумчивостью не только к содержанию, но и к форме своего напутствия. Восстановление нарушенной или извращенной в речах сторон перспективы дела требует не одного усиленного внимания и обостренной памяти, но и обдуманной постройки речи и особой точности и ясности выражений. Необходимость же преподавать присяжным общие основания для суждения о силе доказательств, не выражая притом своего взгляда на ответственность обвиняемого, налагает обязанность крайне осторожного обращения со словом в исполнении этой скользкой задачи. Здесь вполне уместны слова Пушкина: "Блажен, кто словом твердо правит — и держит мысль на привязи свою..." Руководящее напутствие должно быть свободно от пафоса, в нем не могут находить себе места многие из риторических приемов, уместных в речах сторон; но если образы заменяют в нем

сухое и скупое слово закона, то оно соответствует своему назначению. Кроме того, не следует забывать, что огромное большинство подсудимых во время уездных сессий не имеет защитников или получает подчас таких, назначенных от суда из начинающих кандидатов на судебные должности, про которых обвиняемый может сказать: "Избави нас бог от друзей!" В этих случаях председатель нравственно обязан изложить в сжатых, но живых выражениях то, что можно сказать в защиту подсудимого, просящего очень часто в ответе на речь обвинителя "судить по-божески" или беспомощно разводящего руками. Несмотря на то, что в 1914 г. исполнилось пятидесятилетие со времени издания Судебных уставов, основы и приемы руководящего напутствия мало разработаны теоретически и совсем не разработаны практически, да и в печати до последнего времени можно было найти лишь три моих напутствия – в книге "Судебные речи" да в старом "Судебном вестнике" речь Дейера по известному делу Нечаева и первые председательские опыты первых дней Судебной реформы, этот "Фрейшиц, разыгранный перстами робких учениц". Поэтому нельзя не пожалеть, что автор "Искусства речи на суде" не подверг своей тонкой критической оценке речи председателя и своей разработке основоположения последней.

Нельзя не присоединиться вполне к ряду практических советов прокурору и защитнику, которыми автор заключает свою книгу, облекая их в остроумную форму с житейским содержанием, почерпнутым из многолетнего судебного опыта, но трудно согласиться с его безусловным требованием письменного изложения предстоящей на суде речи. "Знайте, читатель, говорит он, – что, не исписав нескольких сажен или аршин бумаги, вы не скажете сильной речи по сложному делу. Если только вы не гений, примите это за аксиому и готовьтесь с пером в руке. Вам предстоит не публичная лекция, не поэтическая импровизация, как в "Египетских ночах". Вы идете в бой. Поэтому, по мнению автора, во всяком случае речь должна быть написана в виде подробного логического рассуждения; каждая отдельная часть ее должна быть изложена в виде самостоятельного целого и эти части затем соединены между собою в общее неуязвимое целое". Совет писать речи, хотя и не всегда в такой категорической форме, дают и некоторые классические западные авторы (Цицерон, Боннье, Ортлоф и др.); дает его, как мы видели, Миттермайер, а из наших ораторов-практиков – Андреевский. И все-таки с ними согласиться нельзя. Между импровизацией, которую наш автор противопоставляет писаной речи, и устной, свободно слагающейся в самом заседании речью есть большая разница. Там все неизвестно, неожиданно и ничем не обусловлено, – здесь есть готовый материал и время для его обдумывания и распределения. Роковой вопрос: "Господин прокурор! Ваше слово", – застающий, по мнению автора, врасплох человека, не высидевшего предварительно свою речь на письме, обращается ведь не к случайному посетителю, разбуженному от дремоты, а к человеку, по большей части писавшему обвинительный акт и наблюдавшему за предварительным следствием и, во всяком случае, просидевшему все судебное следствие. Ничего неожиданного для него в этом вопросе нет, и "хвататься наскоро за все, что попадет под руку", нет никаких оснований, тем более что в случае "заслуживающих уважения оправданий подсудимого", то есть в случае разрушения улики и доказательств, подавших повод для предания суду, прокурор имеет право и даже нравственно обязан отказаться от поддержания обвинения. Заранее составленная речь неизбежно должна стеснять оратора, гипнотизировать его. У всякого оратора, пишущего свои речи, является ревниво-любственное отношение к своему труду и боязнь утратить из него то, что достигнуто иногда усидчивой работой. Отсюда нежелание пройти молчанием какую-либо часть или место своей заготовленной речи; скажу более – отсюда стремление оставить без внимания те выяснившиеся в течение судебного следствия обстоятельства, которые трудно или невозможно подогнать к речи или втиснуть в места ее, казавшиеся такими красивыми или убедительными в чтении перед заседанием. Эта связанность оратора своей предшествующей

работой должна особенно увеличиваться, если следовать совету автора, которым он – и притом не шутливо – заключает свою книгу: "Прежде, чем говорить на суде, скажите вашу речь во вполне законченном виде перед потешными присяжными. Нет нужды, чтобы их было непременно двенадцать; довольно трех, даже двух, не важен выбор: посадите перед собою вашу матушку, брата-гимназиста, няню или кухарку, денщика или дворника". Мне в моей долгой судебной практике приходилось слышать ораторов, которые поступали по этому рецепту. Подогретое блюдо, подаваемое ими суду, бывало неудачно и безвкусно; их пафос звучал деланностью, и напускное оживление давало осязательно чувствовать, что перед слушателями произносится, как затверженный урок, то, что французы называют "une improvisation soigneusement preparee" [*\(4\)](#). Судебная речь – не публичная лекция, говорит автор. Да, не лекция, но потому-то именно ее и не следует писать вперед. Факты, выводы, примеры, картины и т. д., приводимые в лекции, не могут измениться в самой аудитории: это вполне готовый, сложившийся материал, и накануне, и перед самым началом, и после лекции он остается неизменным, и потому здесь еще можно говорить если не о написанной лекции, то во всяком случае о подробном ее конспекте. Да и на лекции не только форма, но и некоторые образы, эпитеты, сравнения непредвиденно создаются у лектора под влиянием его настроения, вызываемого составом слушателей, или неожиданным известием, или, наконец, присутствием некоторых лиц... Нужно ли говорить о тех изменениях, которые претерпевает первоначально сложившееся обвинение и самая сущность дела во время судебного следствия? Допрошенные свидетели забывают зачастую, о чем показывали у следователя, или совершенно изменяют свои показания под влиянием принятой присяги; их показания, выходя из горнила перекрестного допроса, иногда длящегося несколько часов, кажутся совершенно другими, приобретают резкие оттенки, о которых прежде и помину не было; новые свидетели, впервые являющиеся в суд, приносят новую окраску "обстоятельствам дела" и дают данные, совершенно изменяющие картину события, его обстановки, его последствий. Кроме того, прокурор, не присутствовавший на предварительном следствии, видит подсудимого иногда впервые, – и перед ним предстает совсем не тот человек, которого он рисовал себе, готовясь к обвинению или по совету автора занимаясь писанием обвинительной речи. Сам автор говорит по поводу живого сотрудничества оратору других участников процесса, что ни одно большое дело не обходится без так называемых *insidents d'audience* [*\(5\)](#). Отношение к ним или к предшествующим событиям со стороны свидетелей, экспертов, подсудимого и противника оратора может быть совсем неожиданным... Большие изменения может вносить экспертиза. Вновь вызванные сведущие лица могут иногда дать такое объяснение судебно-медицинской стороне дела, внести такое неожиданное освещение смысла тех или других явлений или признаков, что из-под заготовленной заранее речи будут выдвинуты все сваи, на которых держалась постройка. Каждый старый судебный деятель, конечно, многократно бывал свидетелем такой "перемены декораций". Если бы действительно существовала необходимость в предварительном письменном изложении речи, то возражения обыкновенно бывали бы бесцветны и кратки. Между тем в судебной практике встречаются возражения, которые сильнее, ярче, действительнее первых речей. Я знал судебных ораторов, отличавшихся особой силой именно своих возражений и даже просивших председателей не делать перед таковыми перерыва заседания, чтобы сразу, "упорствуя, волнуясь и спеша", отвечать противникам. Несомненно, что судебный оратор не должен являться в суд с пустыми руками. Изучение дела во всех подробностях, размышление над некоторыми возникающими в нем вопросами, характерные выражения, попадающиеся в показаниях и письменных вещественных доказательствах, числовые данные, специальные названия и т. п. должны оставить свой след не только в памяти оратора, но и в его письменных заметках. Вполне естественно, если он по сложным делам набросает себе

план речи или ее схему (так дельвал князь А. И. Урусов, располагавший на особых таблицах улики и доказательства концентрическими кругами), своего рода *vade mecum* [*\(6\)](#) в лесу разнородных обстоятельств дела. Но от этого еще далеко до изготовления речи "в окончательной форме". Поэтому я, никогда не писавший своих речей предварительно, позволяю себе в качестве старого судебного деятеля сказать молодым деятелям вопреки автору "Искусства речи на суде": не пишите речей заранее, не тратьте времени, не полагайтесь на помощь этих сочиненных в тиши кабинета строк, медленно ложившихся на бумагу, а изучайте внимательно материал, запоминайте его, вдумывайтесь в него – и затем следуйте совету Фауста: "Говори с убеждением, слова и влияние на слушателей придут сами собою!"

К этому я прибавил бы еще одно: читайте со вниманием книгу П. С. Пороховщикова: с ее написанных прекрасным, живым и ярким слогом поучительных страниц веет настоящей любовью к судебному делу, обращающей его в призвание, а не в ремесло...

А. Ф. Кони

This above all: to thine own self be true,
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man.
Hamlet, I, 3 [*\(7\)](#)

Чтобы быть настоящим обвинителем или защитником на суде, надо уметь говорить; мы не умеем и не учимся, а разучиваемся; в школьные годы мы говорим и пишем правильнее, чем в зрелом возрасте. Доказательства этого изобилуют в любом из видов современной русской речи: в обыкновенном разговоре, в изящной словесности, в печати, в политических речах. Наши отцы и деды говорили чистым русским языком, без грубостей и без ненужной изысканности; в наше время, в так называемом обществе, среди людей, получивших высшее образование, точнее сказать, высший диплом, читающих толстые журналы, знакомых с древними и новыми языками, мы слышим такие выражения как: позавчера, ни к чему, нипочем, тринадцать душ гостей, помер вместо умер, выпивал вместо пил, занять приятелю деньги; мне приходилось слышать: заманул и обманил.

Наряду с этими грубыми орфографическими ошибками разговор бывает засорен ненужными вводными предложениями и бессмысленными междометиями. Будьте внимательны к своим собеседникам, и вы убедитесь, что они не могут обойтись без этого. У одного только и слышно: так сказать, как бы сказать, как говорится, в некотором роде, все ж таки; это последнее слово, само по себе далеко не благозвучное, произносится с каким-то змеиным пошипом; другой поминутно произносит: ну; это слово – маленький протей: ну, ну-ну, ну-те, ну-те-с, ну-ну-ну; третий между каждыми двумя предложениями восклицает: да! – хотя его никто ни о чем не спрашивает и риторических вопросов он себе не задает. Окончив беседу, эти русские люди садятся за работу и пишут: я жалуюсь на нанесение мне побой; он ничего не помнит, что с ним произошло; дерево было треснуто; все положились спать. Это – отрывки из следственных актов. В постановлении одного столичного мирового судьи я нашел указание на обвинение некоего Чернышева в краже торговых прав, выданных губернатором на право торговли. Впрочем, мировые судьи завалены работой; им некогда заниматься стилистикой. Заглянем в недавние законодательные материалы; мы найдем следующие примечательные строки:

"Между преступными по службе деяниями и служебными провинностями усматривается существенное различие, обусловливаемое тем, что дисциплинарная ответственность служащих есть следствие самостоятельного, независимо от преступности или непроступности, данного деяния, нарушение особых, вытекающих из служебно-подчиненных отношений обязанностей, к которым принадлежит также соблюдение достоинства власти во внеслужебной деятельности служащих".

В этом отрывке встречается только одно нерусское слово; тем не менее это настоящая китайская грамота. Необходимо крайнее напряжение внимания и рассудка, чтобы уразуметь мысль писавшего. В русском переводе это можно изложить так: служебные провинности, в отличие от служебных преступлений, заключаются в нарушении обязанностей служебной подчиненности или несоблюдении достоинства власти вне службы; за эти провинности устанавливается дисциплинарная ответственность. В подлиннике 47 слов, в переложении – 26, то есть почти вдвое меньше. Не знаю, есть ли преимущества в подлиннике, но в нем несомненно есть ошибка, замаскированная многословием. По прямому смыслу этих строк различие между должностным преступлением и проступком заключается не в свойстве деяния, а в порядке преследования; это все равно, что сказать: убийство отличается от обиды тем, что в одном случае обвиняет прокурор, а в другом – частное лицо. Писавший, конечно, хотел сказать не это, а нечто другое.

Несколькими строками ниже читаем: "Проявление неспособности или неблагонадежности

может возбудить вопрос о прекращении отношений служебной подчиненности". Здесь отвлеченному понятию проявление приписывается способность к рассудочной деятельности.

Примером законченного законодательного творчества может служить ст. 531 Уголовного уложения: "Виновный в опозорении разглашением, хотя бы в отсутствие опозоренного, обстоятельства, его позорящего, за сие оскорбление наказывается заключением в тюрьме".

В торжественном заседании Академии наук в честь Льва Толстого ученый исследователь литературы говорит, что предполагает "коснуться творчества великого писателя со стороны лишь некоторых, так сказать, его сторон". Чтобы пояснить свои основные воззрения и быть вполне понятным для аудитории, он высказывает несколько рассуждений о человеческом познании и, между прочим, объясняет, что "рациональное мышление нерационалистично" и что "будущее будет очень психологично". Самая задача, поставленная себе оратором относительно Толстого, заключается в том, чтобы "заглянуть, если можно так выразиться, в его нутро". В том-то и дело, что так нельзя выражаться.

Через месяц или два, 22 марта 1909 г., в том же высоком учреждении тот же знаток родной словесности говорил: "особая, исключительная, великая гениальность Гоголя". Это втрое хуже, чем сказать: всегдашний завсегда. Слыхали вы, что существует обыкновенная, заурядная, мелкая гениальность?

В статье проф. Н. Д. Сергеевского "К учению о религиозных преступлениях" ("Журнал Министерства юстиции", 1906 г., N 4) встречаются следующие выражения: "тяжесть наказания этого преступления может быть невысока"; "еврейская и христианская религии признают сверхчувственного бога, в существе своем стоящего превыше всяких человекоподобительных персонификаций"; "религиозные убеждения служат почвою образования ряда особых преступных деяний, окрашенных религиозным моментом".

Это писал поклонник чистой русской народности! И чем больше мы будем искать, тем больше найдем таких примеров.

Но где же причина постыдного упадка богатого языка? Ответ всегда готов: виноваты школа, классическая система, неумелое преподавание.

Пушкин ли не был воспитан на классиках? Где учились И. Ф. Горбунов или Максим Горький?

Скажут, виноваты газеты, виновата литература: писатели, критики; если так пишут творцы слога и их присяжные ценители, мудрено ли, что те, кто читает их, разучились и писать, и говорить? С таким же правом можно спросить: как не стать вором судье, который каждый день судит воров? или: как не победить тому, кого побеждают враги?

Нет, виноваты не только школа и литература, виноват каждый грамотный человек, позволяющий себе невнимание к своей разговорной и письменной речи. У нас ли нет образцов? Но мы не хотим их знать и помнить. Тургенев приводит слова Мериме: у Пушкина поэзия чудным образом расцветает как бы сама собою из самой трезвой прозы. Удивительно верное замечание – и делает его иностранец. Перепишите стихи пушкинских элегий, не разделяя их на рифмованные строки, и учитесь по этой прозе. Таких стихов никто никогда не напишет, но такую же хрустальной прозой обязаны писать все образованные люди. Этого требует уважение к своему народу, к окружающим и к себе. А безупречный слог в письме приучает к чистой разговорной речи.

В чем заключается ближайшая, непосредственная цель всякой судебной речи? В том, чтобы ее поняли те, к кому она обращена. Поэтому можно сказать, что ясность есть первое необходимое условие хорошего слога; Эпикур учил: не ищите ничего, кроме ясности. Аристотель говорит: ясность – главное достоинство речи, ибо очевидно, что неясные слова не делают своего дела.

Каждое слово оратора должно быть понимаемо слушателями совершенно так, как понимает он. Бывает, что оратор почему-либо находит нужным высказаться неопределенно по тому или иному поводу; но ясность слога необходима в этом случае не менее, чем во всяком другом, чтобы сохранить именно ту степень освещения предмета, которая нужна говорящему; иначе слушатели могут понять больше или меньше того, что он хотел сказать. Красота и живость речи уместны не всегда; можно ли щеголять изяществом слога, говоря о результатах медицинского исследования мертвого тела, или блистать красивыми выражениями, передавая содержание гражданской сделки? Но быть не вполне понятным в таких случаях значит говорить на воздух.

Но мало сказать: нужна ясная речь; на суде нужна необыкновенная, исключительная ясность. Слушатели должны понимать без усилий. Оратор может рассчитывать на их воображение, но не на их ум и проницательность. Поняв его, они пойдут дальше; но поняв не вполне, попадут в тупик или забредут в сторону. "Нельзя рассчитывать на непрерывно чуткое внимание судьи, – говорит Квинтилиан, – нельзя надеяться, что он собственными силами рассеет туман речи, внесет свет своего разума в ее темноту; напротив того, оратору часто приходится отвлекать его от множества посторонних мыслей; для этого речь должна быть настолько ясной, чтобы проникать ему в душу помимо его воли, как солнце в глаза". *Quare non ut intelligere possit, sed ne omnino possit поп intelligere, curandum*: не так говорите, чтобы мог понять, а так, чтобы не мог не понять вас судья.

На пути к такому совершенству стоят два внешних условия: чистота и точность слога и два внутренних: знание предмета и знание языка.

Точность, опрятность, говорил Пушкин, первые достоинства прозы; она требует мыслей и мыслей. Изящество, красота слога есть роскошь, дозволительная для тех, у кого она является сама собою; но в отношении чистоты своей речи оратор должен быть неумолим. К сожалению, надо сказать, что в речах большинства наших обвинителей и защитников больше сору, чем мыслей; о точности выражений они совсем не заботятся, скорее щеголяют их неряшливостью.

Первый недостаток их – это постоянное злоупотребление иностранными словами. Изредка раздаются жалобы и увещания бороться с этим, но их никто не слушает. Огромное большинство этих незваных гостей совсем не нужны нам, потому что есть русские слова того же значения, простые и точные: фиктивный – вымышленный, мнимый, инициатор – зачинщик, инспирировать – внушать, доминирующий – преобладающий, господствующий, симуляция – притворство и т. д. Мы слышим: травма, прекарность, базировать, варьировать, интеллигенция, интеллигентность, интеллигентный, интеллигент. Одно или два из этих четырех последних слов вошли в общее употребление с определенным смыслом, и нам, к сожалению, уже не отделаться от них; но зачем поощрять вторжение других? В течение немногих последних месяцев в петербургском суде вошло в обычай вместо: преступление наказуется, карается, говорить: преступление таксирруется. Не знаю, почему. Мы не торгуем правосудием.

Во многих случаях для известного понятия у нас вместо одного иностранного есть несколько русских слов, и тем не менее все они вытесняются из употребления неуклюжими

галлицизмами. Мы встречаем людей, которые по непонятной причине избегают говорить и писать слова: недостаток, пробел, упущение, исправление, поправка, дополнение; они говорят: надо внести корректив в этот дефект; вместо слов: расследование, опрос, дознание им почему-то кажется лучше сказать: анкета, вместо наука – дисциплина, вместо: связь, измена, прелюбодеяние – адюльтер. Хуже всего то, что эти безобразные иностранные слова приобретают понемногу в нашем представлении какое-то преимущество перед чистыми русскими словами: детальный анализ и систематическая группировка материала кажутся более ценной работой, чем подробный разбор и научное изложение предмета.

Можно ли говорить, что "прежняя судимость есть характеристика, так сказать, досье подсудимого?" Можно ли говорить: "абзац речи", "письменное заявление адекватно явке", "приговор аннулирован" и т. п.? Существуют два глагола, которые ежедневно повторяются в судебных залах: это мотивировать и фигурировать. Нам заявляют с трибуны, что в письмах фигурировал яд, или что мещанка Авдотья Далашкина мотивировала ревностью пощечину, данную ею Дарье Захрапкиной. Я слышал, как блестящий обвинитель, говоря о нравственных последствиях растления девушки, сказал: "В ее жизни встал известный ингредиент".

В современном языке, преимущественно газетном, встречаются ходячие иностранные слова, которые действительно трудно заменить русскими, например: абсентеизм, лояльность, скомпрометировать. Но, конечно, в тысячу раз лучше передать мысль в описательных выражениях, чем мириться с этими нетерпимыми для русского уха созвучиями. Зачем говорить: инсинуация, когда можно сказать: недостойный, оскорбительный или трусливый намек?

Не только в уездах, но и среди наших городских присяжных большинство незнакомо с иностранными языками. Я хотел бы знать, что отражается у них в мозгу, когда прокурор объясняет им, что подробности события инсценированы подсудимым, а защитник, чтобы не остаться в долгу, возражает, что преступление инсценировал прокурор. Кто поверит, что на уездных сессиях, перед мужиками и лавочниками, раздается слово алиби?

Иностранные фразы в судебной речи – такой же сор, как иностранные слова. *Aquae et ignis interdictio* [*\(8\)](#); *amicus Plato, sed magis arnica veritas* [*\(9\)](#) и неизбежное: *cherchez la femme* [*\(10\)](#), к чему все это? Вы говорите перед русским судом, а не перед римлянами или западными европейцами. Щеголяйте французскими поговорками и латинскими цитатами в ваших книгах, в ученых собраниях, перед светскими женщинами, но в суде – ни единого слова на чужом языке.

Другой обычный недостаток наших судебных речей составляют ненужные вставные слова. Один из наших обвинителей имеет привычку к паузам; в этом еще нет недостатка; но в каждую остановку он вставляет слово: "хорошо". Это очень плохо. Молодой шорник обвинялся по 1 ч. 1455 ст. Уложения; в короткой и деловой речи товарищ прокурора отказался от обвинения в умышленном убийстве и поддерживал обвинение по 2 ч. 1455 ст., указав присяжным на возможность признать убийство в драке. Но в речи были три паузы – и присяжные три раза слышали: "хорошо"! Невольно думалось: человека убили, что тут хорошего? Другой обвинитель ежеминутно повторяет: "так сказать". Отличительная черта этого оратора – ясность мышления и смелая точность, иной раз грубость языка; а он кается в неумении определенно выразиться.

Если оратор знает, что выражаемая им мысль должна показаться справедливой, он может с некоторым лицемерием начать словами: я не уверен, не кажется ли вам и т. п. Это хороший риторический прием. Нельзя возражать и против таких оборотов, как: нет сомнения, нам всем ясно и проч., если только не злоупотреблять ими; в них есть доля невинного внушения. Но если говорящий сам считает свой вывод не совсем твердым, вступительные слова вроде: мне кажется, мне думается, – могут только повредить ему. Когда обвинитель или защитник заявляет присяжным: "Я не знаю, какое впечатление произвело на вас заключение эксперта, но вы, вероятно, признаете, и т. д.", хочется сказать: не знаешь, так и не говори.

Многие наши ораторы, закончив определенный период, не могут перейти к следующему иначе, как томительными, невыносимыми словами: и вот. Прислушайтесь к созвучию гласных в этом выражении, читатель. И это глупое выражение повторяется почти в каждом процессе с обеих сторон: "И вот поддельный документ пускается в обращение..."; "И вот у следственной власти возникает подозрение..." и т. д.

Неправильное ударение так же оскорбительно для слуха, как неупотребительное или искаженное слово. У нас говорят: возбудил, переведен, алкоголь, астроном, злоба, деньгами, уменьшить, ходатайствовать, приговор вместо приговор. Произнесение этого последнего слова подчиняется какому-то непонятному закону: образованные люди в обществе, воспитанницы женских учебных заведений и члены судейской магистратуры [*\(11\)](#) произносят: приговор; так же говорят подсудимые, то есть необразованные люди, знающие звуковые законы языка по чутью; чины прокуратуры, присяжные поверенные и их помощники, секретари судебных мест и кандидаты на судебные должности произносят: приговор; я спросил трех воспитанников из старших классов реального училища, и каждый порознь сказал: приговор. Различие это тем менее понятно, что никаких сомнений о правильном произношении этого слова нет!..

Тебя я сонну застаю,
Когда свершают суд свирепый,
Когда читают приговор,
Когда готов отцу топор...
Между законами забытыми в ту пору
Жестокий был один: закон сей изрекал
Прелюбоденю смерть. Такого приговору
В том городе никто не помнил, не слышал.
А наши старички? – Как их возьмет задор,
Засудят об делах, что слово – приговор... [*\(12\)](#)

Не буду повторять сказанного вначале о грамматических ошибках; скажу только, что на суде они встречаются чаще, чем в литературе и в разговорном языке.

Странно, казалось бы, упоминать о значении точности в юридическом споре. Но заботятся ли о ней у нас на суде? Нет. Неряшливость речи доходит до того, что образованные люди, ни мало не стесняясь и не замечая того, употребляют рядом слова, не соответствующие одно другому и даже прямо исключают друг друга. Эксперт-врач, ученый человек, говорит: "подсудимый был довольно порядочно выпивши, и смерть раненого несомненно вероятно последовала от удара ножом"; прокурор полагает, что "факт можно считать более или менее установленным"; защитник заявляет присяжным, что они имеют право отвергать всякое усиливающее вину обстоятельство, если оно является недоказанным или по крайней мере сомнительным. Говорят: "защитить концы в воду"; "прежняя судимость обвиняемого уже служит для него большим отрицательным минусом". Председательствующий в своем напутствии упорно называет подсудимого Матвеева Максимовым, а умершего от раны Максимова Матвеевым, и в заключение предлагает им такой вывод: "Факты не оставляют сомнения в том, что подсудимый является тем преступником, которым он действительно является". Такие речи хоть кого собьют с толку.

Точность обязательна при передаче чужих слов; нельзя изменять данных предварительного и судебного следствия. Всякий понимает это. Однако каждый раз, когда свидетель дает двоякую меру чего-либо, в словах сторон сказывается недостаток логической дисциплины. Свидетель показал, что подсудимый растратил от восьми до десяти тысяч; обвинитель всегда повторит: было растрчено десять тысяч, защитник всегда скажет: восемь. Следует отучиться от этого наивного приема; ибо нет сомнения, что судья и присяжные всякий раз мысленно поправляют оратора не к его выгоде. Надо поступать наоборот во имя рыцарской предупредительности к противнику или повторить показание полностью; в этом скажется уважение оратора к своим словам.

Неловко говорить, но приходится напомнить, что оратор должен затвердить имена лиц, названия местностей, время отдельных происшествий. У нас то и дело слышится такое обращение к присяжным: один из свидетелей – я сейчас не могу вспомнить его имени, но вы без сомнения хорошо помните его слова, – удостоверил... Так нельзя говорить, это – *testimonium rauPERTATIS* *(13). Присяжным действительно приходится запоминать, но обвинитель и защитник должны знать.

Остановимся теперь на точности слога в другом отношении. Когда мы смешиваем несколько родовых или несколько видовых названий, наши слова выражают не ту мысль, которую надо сказать, а другую; мы говорим больше или меньше, чем хотели сказать, и этим даем противнику лишней козырь в руки. В виде общего правила можно сказать, что видовой термин лучше родового. Д. Кемпбель в своей книге "Philosophy of Rhetoric" приводит следующий пример из третьей книги Моисея: "Они (египтяне), как свинец, погрузились в великие воды" (Исход, XV, 10); скажите: "они, как металл, опустились в великие воды" – и вы удивитесь разнице в выразительности этих слов. Прислушиваясь к нашим судебным речам, можно прийти к заключению, что ораторы хорошо знакомы с этим элементарным правилом, но пользуются им как раз в обратном смысле. Они всегда предпочитают сказать: "душевное волнение"... вместо: "радость", "злоба", "гнев", нарушение телесной неприкосновенности – вместо "рана"; там, где всякий другой сказал бы "громилы", оратор говорит: "лица, нарушающие преграды и запоры, коими граждане стремятся охранить свое имущество", и т. п. Судится женщина; вместо того, чтобы назвать ее по имени или сказать: крестьянка, баба, старуха, девушка, защитник называет

ее человеком и сообразно с этим произносит всю речь не о женщине, а о мужчине; все местоимения, прилагательные, глагольные формы употребляются в мужском роде. Не трудно представить себе, какую путаницу это вносит в представление слушателей.

Обратная ошибка, то есть употребление названия вида вместо названия рода или собственного имени вместо видового, может иметь двойное последствие: она привлекает внимание слушателей к признаку, который невыгоден для оратора, или, напротив, оставляет незамеченным то, что ему нужно подчеркнуть. Защитнику всегда выгоднее сказать: подсудимый, Иванов, пострадавшая, чем: грабитель, поджигатель, убитая; обвинитель уменьшает выразительность своей речи, когда, говоря о разоренном человеке, называет его Петровым или потерпевшим. В обвинительной речи о враче, совершившем преступную операцию, товарищ прокурора называл умершую девушку и ее отца, возбудившего дело, по фамилии. Это была излишняя нерасчетливая точность; если бы он говорил: девушка, отец, эти слова каждый раз напоминали бы присяжным о погибшей молодой жизни и о горе старика, похоронившего любимую дочь.

Нередки и случаи смещения родового понятия с видовым. Обвинители негодуют на возмутительное и нехорошее поведение подсудимых. Не всякий дурной поступок бывает возмутительным, но возмутительное поведение хорошим быть не может. "Если вы пожелаете сойти со своего пьедестала судей и быть людьми,— говорил товарищ прокурора в недавнем громком процессе,— вам придется оправдать Кириллову по соображениям другого порядка". Разве судья не человек?

Ошибка, аналогичная указанной выше, встречается часто в заключительных словах наших прокуроров. Они говорят присяжным: я ходатайствую о признании подсудимого виновным; я прошу у вас обвинительного приговора. Нищий может просить имущего о подавании; влюбленный, пусть униженно, ищет благосклонности хорошенькой женщины; но разве присяжные заседатели по своей прихоти дарят обвинение или отказывают в нем? Не может государственный обвинитель просить о правосудии; он требует его.

Шопенгауэр писал Фрауенштедту: урезывайте дукаты и луидоры, но не урезывайте моих слов; я пишу, как пишу я и никто иной; каждое слово имеет свое значение и каждое необходимо, хотя бы вы и не чувствовали и не замечали этого. Он не допускал малейшего изменения своего предложения или хотя бы слова, слога, буквы, знака препинания. В живой речи такая тщательность совсем не нужна, ибо тонкости и оттенки передаются не столько словами, сколько голосом. Но я советовал бы всякому оратору запомнить эти слова: одно неудачное выражение может извратить мысль, сделать трогательное смешным, значительное лишить содержания.

Чтобы хорошо говорить, надо хорошо знать свой язык; богатство слов есть необходимое условие хорошего слога. Строго говоря, образованный человек должен свободно пользоваться всеми современными словами своего языка, за исключением специальных научных или технических терминов. Можно быть образованным человеком, не зная кристаллографии или высшей математики; нельзя, – не зная психологии, истории, анатомии и родной литературы.

Проверьте себя: отделите известные вам слова от привычных, то есть таких, которые вы не только знаете, но и употребляете в письмах или в разговоре; вы поразитесь своей бедности. Мы большей частью слишком небрежны к словам в разговоре и слишком заботимся о них на кафедре. Это коренная ошибка. Старательный подбор слов на трибуне выдает искусственность речи, когда нужна ее непосредственность. Напротив, в обыкновенном разговоре изысканный слог выражает уважение к самому себе и внимание к собеседнику. В своей тонко написанной небольшой книжке "Art de Plaider" бельгийский адвокат De Vaets [*\(14\)](#) говорит: "Когда вы приучите себя обозначать каждую вещь тем самым словом, которое на вашем языке в точности передает ее сущность, вы увидите, с какою легкостью тысячи слов будут являться в ваше распоряжение, коль скоро в уме вашем возникло соответствующее представление. Тогда в ваших словах не будет тех несообразностей, которые в ежедневных речах наших ораторов так раздражают чуткого слушателя". У великих писателей каждое отдельное слово бывает выбрано сознательно, с определенной целью; каждый отдельный оборот нарочито создан для данной мысли; это подтверждается их черновыми рукописями. Если бы в первоначальном наброске о смерти Ленского Пушкин написал:

Угас огонь на алтаре,

я думаю, что, перечитав рукопись, он заменил бы слово угас словом потух; а если бы в стихотворении: "Я вас любил..." было первоначально сказано:

...Любовь еще, быть может,

В душе моей потухла не совсем,

Пушкин, несомненно, вычеркнул бы это слово и написал бы: угасла не совсем.

У нас многие не прочь похвалиться тем, что не любят стихов. Если бы спросить, много ли стихов они читали, то окажется, что они не равнодушны к поэзии, а просто незнакомы с нею. Спросите собеседника, кто убил Ромео, или от чего закололся Гамлет. Если он давно не был в опере, он простодушно ответит: не помню. Откройте наудачу Пушкина и прочтите вслух первый попавшийся стих в кружке знакомых: немногие узнают и скажут все стихотворение. Мы, однако, обязаны знать Пушкина наизусть; любим мы поэзию или нет, это все равно; обязаны для того, чтобы знать родной язык во всем его изобилии.

Если писатель или оратор подбирает несколько прилагательных к одному существительному, если он часто поясняет отдельные слова дополнительными предложениями или ставит рядом несколько синонимов без постепенного усиления мысли, – это плохие признаки. А если он "скажет слово – рублем подарит", ему можно позавидовать. В речи по делу Плотицыных Спасович сказал: "Не нам, людям XIX века, пятиться в средние века". Червонец отдать не жаль за такое слово, как за пушкинский стих.

Старайтесь богатеть ежедневно. Услыхав в разговоре или прочтя непривычное вам русское слово, запишите его себе в память и торопитесь освоиться с ним. Ищите в простонародной речи. Живя в городе, мы не знаем ее; живя в деревне, не прислушиваемся к ней; но мы не можем не чувствовать ее выразительности и красоты. Пьяница и вор нанялся к молодому крестьянину в

работники, прослужил месяц и скрылся, украв 140 рублей. Обокраденный хозяин показывает: "Такой был задушевный старичок, такой трудник; мы думали, этот старичок умрет, от нас не уйдет". Председатель спрашивает свидетеля-крестьянина: "Светло было?" Тот отвечает: "Не шибко светло, затучивало". Вот как можно говорить. Здесь и неверное слово не засоряет, а украшает речь.

Сколько любви к природе в народных названиях месяца: новичок и ветошок! Сколько свежего юмора в слове: завеялся! Такие выражения оживляют речь и вместе с тем придают ей непринужденный и добродушный оттенок. Вообще говоря, народный язык превосходит наш и простотой, и частыми образами; но, черпая в нем, мы, конечно, обязаны руководствоваться чувством изящного. Если вам не приходится говорить с крестьянами, читайте басни Крылова.

Одним из признаков хорошего слога бывает правильное употребление синонимов. Не все равно сказать: жалость, сострадание или милосердие, обмануть, обольстить или провести, – удивиться, изумиться или поразиться. Кто владеет своим языком, тот бессознательно выбирает в каждом случае наиболее подходящее из слов однородного значения. Девочка 13 лет показала мне свое классное сочинение; она описывала свое первое свидание с незнакомой родственницей; в тексте встречались слова: старуха, старушка, старушонка, – тетка, тетушка, тетья. Я похвалил девочку за то, что в каждом отдельном случае она поместила именно то из каждых трех слов, которое соответствовало смыслу фразы. А я этого и не замечала, сказала она. Существуют слова: змей, змея, – выразительные, звучные слова; казалось бы, их нечего заменять. Однако Андреевский говорит: "Вот когда этот нож, как змий, проскользнул в его руку" *(15). Необычная форма слова придает ему тройную силу. В устах неразвитого или небрежного человека синонимы, напротив того, служат к затемнению его мыслей. Этот недостаток часто встречается у нас наряду с пристрастием к галлицизмам; русское слово употребляется рядом с иностранным синонимом, причем чужестранец получает первое место. Вот два отрывка из речи ученого юриста в Государственной думе: "Наказание, которое фиксируется, намечается судом...", – "общество, в отличие от отдельного человека, обладает гораздо большим материальным достатком, а потому и может себе позволить роскошь гуманности и человечности". В законе разумно сказано: "в запальчивости или раздражении"; мы, законники, все без исключения, далеко не разумно говорим: в запальчивости и раздражении.

Каждого из нас в школе предостерегали от тавтологии и плеоназмов. Однако судебный оратор говорит: "Бухаленкова по своей натуре несомненно природа честная"; я недавно выслушал соображение: "Подсудимый субъективно думал, что совершает не грабеж, а тайную кражу".

В одной не слишком длинной обвинительной речи о крайне сомнительном истязании приемьша-девочки женщиной, взявшей ее на воспитание, судьи и присяжные слышали такие отрывки: "Показания свидетелей в главном, в существенном, в основном совпадают; развернутая перед вами картина во всей своей силе, во всем объеме, во всей полноте изображает такое обращение с ребенком, которое нельзя не признать издевательством во всех формах, во всех смыслах, во всех отношениях; то, что вы слышали, это ужасно, это трагично, это превосходит всякие пределы, это содрогает все нервы, это поднимает волосы дыбом".

Знание предмета

Человеческая речь была бы совершенной, если бы могла передавать мысль с такой же точностью, как зеркало отражает световые лучи. Но это идеальное совершенство, недостижимое и ненужное. Предмет, слабо освещенный, представляется на зеркальной поверхности в таком же неясном виде; вещь, освещенная ярко, и в зеркале отразится в четких очертаниях. То же можно сказать о человеческом языке: мысль, вполне сложившаяся в мозгу, легко находит себе точное выражение в словах; неопределенность выражений обыкновенно бывает признаком неясного мышления.

Мне попался где-то один из афоризмов Гладстона: старайтесь вполне переварить предмет и освоиться с ним; это подскажет вам нужные выражения во время произнесения речи. Другими словами:

Selon que notre idee est plus ou moins obscure,
L'expression la suit, ou moins nette ou plus pure.
Ce que l'on concoit bien s'enonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisement *(16) .

Только точное знание дает точность выражения. Послушайте, как говорит крестьянин о сельских работах, рыбак о море, ваятель о мраморе; пусть будут это невежды во всякой другой области, но о своей работе каждый будет говорить определенно и понятно. Наши ораторы постоянно смешивают страховую премию со страховым вознаграждением, кровотечение с кровоизлиянием, и не всегда различают зачинщика от подстрекателя или крайнюю необходимость от необходимой обороны. При такой путанице в их словах может ли быть ясно в голове присяжных?

Старым судьям хорошо знакомо мучительное недоумение, появляющееся на лицах присяжных, когда им разъясняются какие-нибудь процессуальные правила, например, невозможность оглашать свидетельские показания, изложенные в неформальных актах, значение кассации предыдущего приговора по тому же делу и т. п.; то же бывает и при разъяснениях, касающихся общей части Уложения о наказаниях. Это недоумение указывает, что мы не обладаем способностью говорить понятно даже о таких вещах, которые должны бы знать очень хорошо и которые вполне доступны пониманию обыкновенного здравомыслящего человека. Происходит это отчасти оттого, что оратор сам не слишком ясно понимает то, что хочет разъяснить, отчасти от полного неумения стать в положение слушателей. Этим объясняется, между прочим, необыкновенное пристрастие к техническим терминам. В акте вскрытия сказано: ряд кровоподтеков у наружного угла правой глазной впадины, спускающихся по направлению к правой ушной мочке. Присяжные слышали протокол, но, конечно, ни один из них не представляет себе эти следы насилия. Оратор непременно скажет про мочку и кровоподтек; а этого нельзя говорить; надо сказать так, чтобы они видели несколько синяков на правой щеке. Если в акте упомянуто о нарушении целостности правой теменной и левой височной кости, скажите, как говорили пять минут тому назад в совещательной комнате: череп пробит в нескольких местах. Если же вам приходится говорить о сложных физиологических процессах, поройтесь в книгах и проверьте себя беседой со сведущим врачом.

Сорные мысли несравненно хуже сорных слов. Расплывчатые выражения, вставные предложения, ненужные синонимы составляют большой недостаток, но с этим легче примириться, чем с нагромождением ненужных мыслей, с рассуждениями о пустяках или о вещах, для каждого понятных. Подсудимый обвиняется по ст. 9 и 2 ч. 1455 ст. Уложения о наказаниях и признает себя виновным именно в покушении на убийство в состоянии раздражения. Оратор спрашивает: что такое убийство, что такое покушение на убийство, и объясняет это самым подробным образом, перечисляя признаки соответствующих статей закона. Он говорит безупречно, но разве это не пустословие? Ведь при самом блестящем таланте он не в состоянии сказать присяжным ничего нового. Вы помните монолог Меркуцио во втором акте "Ромео и Джульетты"? По случайному замечанию товарища он раздражается очаровательной импровизацией о маленькой королеве Меб [*\(17\)](#) . Это целый поток цветов и кружев, это чудный поэтический отрывок, но вместе с тем это чистая болтовня; Грациано недаром говорит о его несносных словоизвержениях: *he speaks an infinite deal of nothing* [*\(18\)](#) . Примером непозволительного пустословия может служить начало прокурорских речей по мелким делам: "Господа присяжные заседатели! Подсудимый сознался в приписываемой ему краже; сознание подсудимого всегда считалось, как прежде выражались (говорится даже, по выражению императрицы Екатерины II), лучшим доказательством всего света..." Адвокат отвечает на это столь же избитым афоризмом: "Одно из двух: или верить подсудимому, или не верить; прокурор верит ему, я также; но если мы приняли его признание, то должны принять его целиком и, следовательно..." Разве это что-нибудь значит? Разве говорящий не знает, что можно верить вероятному или правдоподобному и не следует верить несообразному и нелепому?

Так называемое *remplissage*, то есть заполнение пустых мест ненужными словами, составляет извинительный и иногда неизбежный недостаток в стихотворении; но оно недопустимо в деловой судебной речи. Можно возразить, что слишком сжатое изложение затруднительно для непривычных слушателей и мысли лишние сами по себе, бывают полезны для того, чтобы дать отдых их вниманию. Но это неверное соображение: во-первых, сознание, что оратор способен говорить ненужные вещи, уменьшает внимание слушателей, и, во-вторых, отдых вниманию присяжных следует давать не бесцельными рассуждениями, а повторением существенных доводов в новых риторических оборотах.

Речь должна быть коротка и содержательна. У нас молодые защитники произносят по самым простым делам очень длинные речи; говорят обо всем, что только есть в деле, и о том, чего в нем нет. Но среди их соображений нет ни одного неожиданного для присяжных. Шопенгауэр советует: *Nichts, was der Leser auch selbst denken kann* [*\(19\)](#) . Они поступают как раз наоборот: говорят только такие вещи, которые уже с самого начала судебного следствия были очевидны для всех. И обвинители наши не свободны от этого упрека.

Нужно ли напоминать, что словами оратора должен руководить здравый смысл, что небылиц и бессмыслицы говорить нельзя? Судите сами, читатель.

Казалось бы, ни один обвинитель не станет намеренно ослаблять поддерживаемого им обвинения. Однако товарищ прокурора обращается к присяжным с таким заявлением: "Настоящее дело темное; с одной стороны, подсудимый утверждает, что совершенно непричастен к краже"; с другой – трое свидетелей удостоверяют, что он был задержан на месте преступления с поличным. Если при таких уликах дело называется темным, то что же можно назвать ясным?

Подсудимый обвинялся по 9 и 1647 ст. Уложения; при заключении следствия председатель, оглашая его прежнюю судимость, прочел вопрос суда и ответ присяжных по другому делу, по которому он судился за вооруженный грабеж с насилием; в ответе было сказано: да, виновен, но без насилия и вооружен не был. Товарищ прокурора сказал присяжным, что подсудимый был уже осужден за столь тяжкое преступление, как грабеж с насилием, причем даже был вооружен. Это слова государственного обвинителя на суде! Присяжный поверенный зрелых лет рассуждает о законных признаках 2 ч. 1681 ст. Уложения о наказаниях, и присяжные услышали следующее: "Что такое легкомыслие, это сказать невозможно; это понятие, которое не укладывается в определенные рамки; нельзя сказать, что легкомысленно и что не легкомысленно".

Ученые цитаты, как и литературные отрывки или ссылки на героев известных романов,— все это не к месту в серьезной судебной речи. Кто говорит: "всеу законы писать, ежели их не исполнять" или "промедление времени смерти безвозвратной подобно", тот выдает себе свидетельство о бедности: он знает в истории только то, что слышал от других, а хочет показаться ученым.

В одном громком процессе оратор, защищавший отца, укрывателя убийцы-дочери, вспомнил балладу Пушкина "Утопленник", стихотворение в прозе Тургенева "Воробей" и элегию Никитина "Вырыта заступом яма глубокая". Хозяйка грязного притона судилась за поджог по 1612 ст. Уложения. Один из ораторов высказал, между прочим, в своей речи, что и среди рабынь веселья, "начиная от евангельской Марии Магдалины до Сони Мармеладовой у Достоевского, до Надежды Николаевны у Гаршина и Катюши Масловой у Толстого встречаются нежные, возвышенные натуры..." Если и была нужна эта общая мысль, то она потеряла силу в этих именных справках.

Берите примеры из литературы, берите их сколько угодно, если они нужны; но никогда не говорите, что взяли их из книги. Не называйте ни Толстого, ни Достоевского, говорите от себя.

Лучший пушкинский стих есть неуместная роскошь в суровых словах прокурора, как и в полной надежд и сомнений страстной речи защитника: нельзя мешать жемчуг с желчью и кровью. Когда Ше д'Эст Анж молил ослепленных присяжных открыть глаза и понять ошибку, тянувшую их к жестокому осуждению несчастного ла Ронсьера [*\(20\)](#), до того ли ему было, чтобы вспомнить Горация или Расина?

Но ведь у Кони, у Андреевского, кажется, нет ни одной речи без стихов или, по крайней мере, без выражений, взятых в стихотворениях. Да; но, во-первых, им это можно, а нам с вами нельзя; а во-вторых, возьмите заключение Андреевского по делу Афанасьевой: там упоминается старинное стихотворение о страданиях любви; это безусловно в своем роде, но это изящная словесность, а не судебная защита.

О пристойности

По свойственному каждому из нас чувству изящного мы бываем очень впечатлительны к различию приличного и неуместного в чужих словах; было бы хорошо, если бы мы развивали эту восприимчивость и по отношению к самим себе.

Не касайтесь религии, не ссылайтесь на божественный промысел.

Когда свидетель говорит: как перед иконой, как на духу и т. п., это оттенок его показания и только. Но когда прокурор заявляет присяжным: "Здесь пытались уничтожить улики; попытка эта, слава богу, не удалась", или защитник восклицает: "Ей богу! здесь нет доказательств", это нельзя не назвать непристойностью. В английском суде и стороны, и судьи постоянно упоминают о боге: God forbid! I pray to God! May God have mercy on your soul! [*\(21\)](#) и т. п. Человек, называющий себя христианином, обращается к другому человеку и говорит ему: мы вас повесим и подержим в петле на полчаса, дондеже последует смерть; да примет вашу душу милосердый господь!

Я не могу понять этого. Суд не божеское дело, а человеческое; мы творим его от имени земной власти, а не по евангельскому учению. Насилие суда необходимо для существования современного общественного строя, но оно остается насилием и нарушением христианской заповеди.

Соблюдайте уважение к достоинству лиц, выступающих в процессе.

Современные молодые ораторы без стеснения говорят о свидетельницах: содержанка, любовница, проститутка, забывая, что произнесение этих слов составляет уголовный проступок и что свобода судебной речи не есть право безнаказанного оскорбления женщины. В прежнее время этого не было. "Вы знаете,— говорил обвинитель,— что между Янсенем и Аккар существовала большая дружба, старинная приязнь, переходящая в родственные отношения, которая допускает постоянное пребывание Янсена у Аккар, допускает возможность обедать и завтракать у нее, заведовать ее кассой, вести расчеты, почти жить у нее" [*\(22\)](#). Мысль понятна без оскорбительных грубых слов.

Неразборчивые защитники при первой возможности спешат назвать неприятного свидетеля "добровольным сыщиком". Если свидетель действительно соглядатайствовал, не имея в этом надобности, и притом прибегал к обманам и лжи, это может быть справедливым; но в большинстве случаев это делается безо всякого разумного основания, и человек, честно исполнивший свою обязанность перед судом, подвергается незаслуженному поруганию на глазах присяжных, нередко к явному вреду для подсудимого.

Избегайте предположений о самом себе и о присяжных. У нас часто говорят: если у меня разгромили квартиру... если я знаю, что от моего показания зависит участь человека..., и т. п. Такие выражения просятся на язык, потому что придают речи оттенок непринужденности; но они переходят в привычку, которой надо остерегаться. Не замечая этого, наши защитники и обвинители высказывают иногда о себе самые неожиданные догадки, вроде следующих: "Если я иду на кражу со взломом, я, конечно, запасаясь нужными орудиями..." "Если я решился на ложное показание перед судом, я, несомненно, постараюсь сделать это так, чтобы ложь не была заметна для судей". Эти предположения иногда выражаются во втором лице: вы давно знаете человека, доверяете ему, считаете его надежным другом, а он пользуется вашим доверием, чтобы обкрадывать вас, чтобы обольстить вашу дочь и т. д. Нельзя думать, чтобы судьям было особенно приятно, выслушивать подобные речи; но бывает еще хуже. Я слышал оратора, говорившего: "Если бы была объявлена безнаказанность преступлений, то верьте мне, господа

присяжные заседатели, многим из ваших знакомых вы не решились бы подать руки". Другой оратор высказался еще смелее: "Иное дело, когда вы являетесь по вечерам в контору под предлогом работы на пишущей машине, а занимаетесь фабрикацией подложных векселей". Третий рассуждает: "Когда вы запускаете руку в карман своего соседа, чтобы вытащить кошелек..." Бедные присяжные! Кажется, что они беспокойно оглядываются направо и налево.

Слог речи должен быть строго приличным как ради изящества ее, так и из уважения к слушателям. Резкое выражение никогда не будет поставлено в вину искреннему оратору, но резкость не должна переходить в грубость. В конце одной защитительной речи мне пришлось слышать слова: "собаке собачья и смерть". Так нельзя говорить, хотя бы это и казалось справедливым. С другой стороны, ненужная вежливость также может резать ухо и, хуже того, может быть смешна. Нигде не принято говорить: господин насильник, господин поджигатель. Зачем же государственному обвинителю твердить на каждом шагу: "господин Золотов" о подсудимом, которого он обвиняет в подкупе к убийству? А вслед за обвинителем защитники повторяют: "господин Лучин", – "господин Рапацкий", – "господин Киреев"; Рапацкий – это слесарь, Киреев – булочник, напавшие на Федорова; Лучин – приказчик Золотова, нанявший их для расправы с убитым; "господин Рябинин" – это швейцар, указавший им на Федорова; "господин Чирков" – извозчик, умчавший их после рокового удара. В уголовном споре, когда поставлен вопрос – преступник или честный человек, нет места житейским условностям, и несвоевременная вежливость переходит в насмешку. Но для одного из защитников и вежливости оказалось мало. Надо заметить, что, за исключением Рябинина, все подсудимые на судебном следствии признали, что Киреев и Рапацкий были подкуплены Золотовым и Лучиным, чтобы отколотить Федорова, а Чирков – чтобы увезти их после расправы с ним. На предварительном следствии Золотов, Рапацкий и Чирков признали, что было предумышленное убийство. Киреев ударом палки оглушил Федорова, его товарищ Рапацкий всадил ему в грудь финский нож по самую рукоятку. В порыве вдохновения один из защитников восклицал: "Чирков – этот славный, симпатичный юноша! Киреев – этот добрый, честный труженик! Лучин – этот милый, хороший мальчик"; а старший товарищ оратора кончил свою речь таким обращением к присяжным: "Небесное правосудие совершилось", то есть среди бела дня за несколько рублей зарезали человека; "совершите земное!", скажите: виновных нет...

Высшее изящество слога заключается в простоте, говорит архиепископ Уэтли, но совершенство простоты дается нелегко [*\(23\)](#) . О вещах обыкновенных мы, естественно, говорим обыкновенными словами; но под художественной простотой слога следует разуметь умение говорить легко и просто о вещах возвышенных и сложных. "Man brauche gewöhnliche Worte und sage ungewöhnliche Dinge" [*\(24\)](#) , – говорит Шопенгауэр. Можно играть, по его выражению, золотыми шахматами или простыми деревяшками: сила и блеск игры ничего не потеряют от этого.

Послушаем, как говорят у нас.

Талантливый обвинитель негодует против распущенности нравов, когда "кулаку предоставлена свобода разбития физиономий"; его товарищ хочет сказать: покойная пила – и говорит: "Она проводила время за тем ужасным напитком, который составляет бич человечества". Защитник хочет объяснить, что подсудимый не успел вывезти тележку со двора, а потому нельзя судить о том, хотел ли он украсть ее или имел другие намерения; казалось бы, так и надо сказать; но он говорит: "Тележка, не вывезенная еще со двора, находилась в такой стадии, что мы не можем составить определенного суждения о характере умысла подсудимого".

Надо говорить просто. Можно сказать: Каин с обдуманном заранее намерением лишил жизни своего родного брата Авеля – так пишется в наших обвинительных актах; или: Каин обагрив руки неповинною кровью своего брата Авеля – так говорят у нас многие на трибуне; или: Каин убил Авеля – это лучше всего – но так у нас на суде почти не говорят. Слушая наших ораторов, можно подумать, что они сознательно изощряются говорить не просто и кратко, а длинно и непонятно. Простое сильное слово "убил" смущает их. "Он убил из мести", – говорит оратор и тут же, точно встревоженный ясностью выраженной им мысли, спешит прибавить: "Он присвоил себе функции (это было сказано, читатель!), которых не имел". И это не случайность. На следующий день новый оратор с той же кафедры говорил то же самое "Сказано: не убий! Сказано: нельзя такими произвольными действиями нарушать порядок организованного общества".

Полицейский пристав давал суду показание о первоначальных розысках по убийству инженера Федорова; в дознании были некоторые намеки на то, что он был, убит за неплатеж денег рабочим. Свидетель не умел выразить этого просто и сказал: "Предполагалось, что убийство произошло на политико-экономической почве". Первый из говоривших ораторов обязан был заменить это нелепое выражение простыми и определенными словами. Но никто об этом не подумал. Прокурор и шестеро защитников один за другим повторяли: "Убийство произошло на политико-экономической почве". Хотелось крикнуть: "На мостовой!"

Но что может быть изящного и выразительного в простых словах? – Судите.

В стихотворении, посвященном 19 октября 1836 г., Пушкин, говорил:

Меж нами речь не так игриво льется,

Просторнее, грустнее мы сидим.

Что может быть проще этих слов и прекраснее мысли?

Или устами Дон Жуана:

Я ничего не требую, но видеть

Вас должен я, когда уже на жизнь

Я осужден.

Попробуйте сказать проще; не пытайтесь сказать сильнее.

Оратору надо изобразить в высшей степени бесстрастного человека; Спасович говорит: "Он – как дерево, как лед". Слова бесцветные, а выражение выходит удивительно яркое. Крестьянин Царицын обвинялся в убийстве с целью ограбления; другие подсудимые утверждали, что он был только укрывателем преступления. Его защитник, молодой человек, сказал: "Обвинитель предполагает, что они делают это по взаимному уговору; я вполне согласен с ним: у них сговорилась совесть". Слова обыкновенные – выражение своеобразное и убедительное.

Слово – великая сила, но надо заметить, что это союзник, всегда готовый стать предателем. Недавно в заседании Государственной думы представитель одной политической партии торжественно заявил: "Фракция нашего союза будет настойчиво ждать снятия исключительных положений". Не многого дождется страна от такой настойчивости.

Но как научиться этой изящной простоте?

Я заметил у некоторых судебных ораторов один очень выгодный прием: они вставляют отдельные отрывки из будущей речи в свои случайные разговоры. Это дает тройной результат: а) логическую проверку мыслей оратора, в) приспособление их к нравственному сознанию обывателя, следовательно, и присяжных, и с) естественную передачу их тоном и словами на трибуне. Последнее объясняется тем, что в обыденной беседе мы без труда и незаметно для себя достигаем того, что так трудно для многих на суде, то есть говорим искренне и просто. Высказав несколько раз одну и ту же мысль перед собеседником, оратор привыкает к ясному ее выражению простыми словами и усваивает подходящий естественный тон. Нетрудно убедиться, что этот прием полезен не только для слога, но и для содержания будущей речи: оратор может обогатиться замечаниями своего собеседника.

На трибуне нельзя думать о словах; они должны сами являться в нужном порядке. И в этом случае *le mieux est l'ennemi du bien* [*\(25\)](#). Если сорвалось неудачное выражение, то при спокойном изложении следует прервать себя и просто указать на ошибку: нет, это не то, что я хотел сказать – это слово неверно передает мою мысль и т. п. Оратор ничего не потеряет от случайной обмолвки; напротив, остановка задержит внимание слушателей. Но при быстрой речи в патетических местах останавливаться и поправляться нельзя. Слушатели должны видеть, что оратор увлечен вихрем своих мыслей и не может следить за отдельными выражениями...

В разъяснении фактов, в разборе улик и в нравственной оценке бывает часто необходимо величайшее внимание и самая тщательная разработка мелочей; ничто значительное не должно оставаться не выясненным до конца, до тонкостей; в слоге, напротив, не нужно иной отделки, кроме той, которая свойственна обыкновенной речи оратора вне суда. Непринужденность, свобода, даже некоторая небрежность слога – его достоинства; старательность, изысканность – его недостатки. Буало прав, когда советует писателю:

Vingt fois sur le metier remettez votre ouvrage,
Polissez le sans cesse et le repotissez,

то есть отделяйте без конца; но это было бы губительным советом для оратора. Надо следовать указанию Фенелона: *tout discours doit avoir ses inegalites* [*\(26\)](#).

Квинтилиан говорит: "Всякая мысль сама дает те слова, в которых она лучше всего выражается; эти слова имеют свою естественную красоту; а мы ищем их, как будто они скрываются от нас, убегают; мы все не верим, что они уже перед нами, ищем их направо и налево, а найдя, извращаем их смысл. Красноречие требует большей смелости; сильная речь не нуждается в белилах и румянах. Слишком старательные поиски слов часто портят всю речь. Лучшие слова – это те, которые являются сами собою; они кажутся подсказанными самой правдой; слова, выдающие старание оратора, представляются неестественными, искусственно подобранными; они не нравятся слушателям и внушают им недоверие: сорная трава, заглушающая добрые семена".

"В своем пристрастии к словам мы всячески обходим то, что можно сказать прямо; повторяем то, что достаточно высказать один раз; то, что ясно выражается одним словом, загромождаем множеством, и часто предпочитаем неопределенные намеки открытой речи... Короче сказать, чем труднее слушателям понимать нас, тем более мы восхищаемся своим умом" (De Inst. Or., VIII). Он кончает прекрасным восклицанием: "Miser et, ut sic dicam, pauper orator est, qui nullum verbum aequo animo perdere potest" [*\(27\)](#) .

Монтень писал: "Le parler que j'aime est un parler simple et naif, court et serre, non tant delicat et peigne comme vehement et brusque" [*\(28\)](#) .

Бездарные люди не пишут, а списывают; Шопенгауэр сравнивает их слог с оттиском стертого шрифта. То же можно сказать и о большинстве наших обвинителей и защитников; какой-то бледной немочью страдают их речи. Они говорят готовыми чужими словами, они всегда рады воспользоваться ходячим оборотом. В разговорной речи встречается множество выражений, сложившихся из привычного сочетания двух или нескольких слов: "проницательный взгляд", "неразрешимая загадка", "внутреннее убеждение" (как будто может быть убеждение внешнее!), "грозный признак войны" и т. п. Такие ходячие выражения не годятся для сильной речи. Разбиралось дело о каком-то жестоком убийстве; обвинитель несколько раз говорил о кровавом тумане; воображение дремало; защитник сказал: "кровавый угар", и необычное слово задело за живое. Еще хуже, конечно, затверженные присловья и общие места, вроде: "все люди вообще и русский человек в частности", – "плоть от плоти и кровь от крови", – "вы, господа присяжные заседатели, как представители общественной совести, как люди жизни" и т. д. Мы каждый день слушаем эти вещания, а их следовало бы воспретить под страхом отлучения от трибуны.

Надо знать цену словам. Одно простое слово может иногда выражать все существо дела с точки зрения обвинения или защиты; один удачный эпитет иной раз стоит целой характеристики. Такие слова надо подметить и с расчетливой небрежностью уронить их несколько раз перед присяжными; они сделают свое дело. Защитник Золотова говорил, между прочим, о том, что дуэль, как средство восстановить супружескую честь, не входит в нравы среды подсудимого; чтобы подчеркнуть это присяжным, он несколько раз называл его лавочником, хотя Золотов был купец 1-й гильдии и почти миллионер. Прогнанный со службы чиновник выманивал деньги у легковерных собутыльников, выдавая себя за гвардейского офицера в запасе; А. А. Иогансон называл его в своем заключительном слове не иначе, как корнет Загорецкий, гусар Загорецкий; он ни разу не сказал: обманщик, мошенник и, несмотря на это, много раз напоминал присяжным основной признак мошенничества. Это можно было бы назвать юридической выразительностью, и это очень выгодное качество для законника. Мне пришлось слышать подобный пример в устах совсем молодого оратора. Подсудимый обвинялся в убийстве; его защитник сказал: "Он не метил в сердце, он не бил и в живот; он попал в пах". Одно простое слово ясно указывает на отсутствие определенного умысла у подсудимого. Если вместо "попал" сказать "ударил", вся фраза теряет свое значение.

Чтобы судить о том, в какой мере выразительность речи зависит от более или менее удачного сочетания слов, стоит только сравнить передачу одной и той же мысли на разных языках. Трудно перечесть, как много выражено в словах Мирабо: *le tocsin de la necessite*, но нельзя не чувствовать их необычайной силы; по-русски "набат необходимости" звучит как бессмыслица. Английское слово *dream* имеет два значения: сновидение или мечта; благодаря этой случайности слова Розенкранца в "Гамлете" "*the shadow of a dream*" являются квинтэссенцией элегической поэзии всех времен; по-русски слова "тень сновидения" или "тень мечты" вызывают только недоумение. С другой стороны, попробуйте перевести слова: "печаль моя светла".

Посредственные писатели любят жаловаться на невозможность точно передать их тонкие мысли: слова слишком грубы, по их уверению, чтобы передать те оттенки, которые именно и составляют самую суть и главное достоинство того, что им надо сказать.

Мысль изреченная есть ложь, вздыхают они. Но эти жалобы изобличают только их собственное скудоумие или бессилие. Читая истинных мыслителей, мы повторяем: как легко и ясно выражено здесь то, что так смутно сознавалось нами! Те обвиняют родной язык; эти восхищаются им и вспоминают слова Сенеки: *mira in quibusdam rebus verborum proprietates est* [\(29\)](#) .

О благозвучии

Красота звука отдельных слов и выражений имеет, конечно, второстепенное значение в живой, нервной судебной речи. Но из этого не следует, что ею должно пренебрегать. У привычных людей она является бессознательно; а чтобы судить, как значительны для слуха могут быть даже отдельные слова, вспомним одну строфу из Фета:

Пусть головы моей рука твоя коснется
И ты сотрешь меня со списка бытия,
Но пред моим судом, покуда сердце бьется,
Мы силы равные, и торжествую я.

Нельзя не видеть, как много выигрывает мысль не только от смысла, но и от звучания глагола "сотрешь". Скажите "снесешь", и сила теряется.

Прислушайтесь и оцените чрезвычайную выразительность звука в одном слове стихов:

Gleich einer alten, halb verklungenen Sage
Kommt erste Lieb' und Freundschaft mit herauf.

Можно сказать это слово так, что слушающие не заметят его; можно сосредоточить в нем все настроение поэта.

Прочтите вслух следующий отрывок: "Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений" [*\(30\)](#) . После этого только глухой может сомневаться в том, что меланхолическое настроение выражается в плавных и шипящих звуках.

Вспомните некоторые места из прелестного стихотворения А. К. Толстого "Сватовство":

Кружась, жужжит и пляшет
Ее веретено,
Черемухою пашет
В открытое окно.

Звукоподражание в первой строке очевидно; его не должно подчеркивать; слово пашет напоминает весеннее тепло и пряный запах цветов; его можно и следует произнести так, чтобы передать этот намек.

Стреляем зверь да птицы
По дебрям по лесным,
А ноне две куницы
Пушистые следим.

Слово пушистые включает в себе настроение всего стихотворения; это очень нетрудно выразить интонацией голоса и некоторой расстановкой слогов.

Я слышал, как эти стихи читала восьмилетняя девочка:
Услыша слово это,
С Чурилой славный Дюк
От дочек ждут ответа,
Сердец их слышен стук.

В последнем стихе она произнесла слово сердец и стук, подражая тиканью часов; получилась иллюзия сердцебиения.

Еще большее значение, чем звукоподражание, имеет в прозаической речи ритм. Привожу только два примера:

"Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы; возьмите иго мое на себе и научитесь от мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете покой душам вашим; иго бо мое благо и бремя мое легко есть" [*\(31\)](#) .

В своей речи о Пушкине А. Ф. Кони сказал о его поэзии: "Так отдаленная звезда, уже утратившая свой блеск, еще посылает на землю свои живые, свои пленительные лучи..." [*\(32\)](#)

Какая речь лучше, быстрая или медленная, тихая или громкая? Ни та, ни другая; хороша только естественная, обычная скорость произношения, то есть такая, которая соответствует содержанию речи, и естественное напряжение голоса. У нас на суде почти без исключения преобладают печальные крайности; одни говорятся скоростью тысячи слов в минуту; другие мучительно ищут их или выжимают из себя звуки с таким усилием, как если бы их душили за горло; те бормочут, эти кричат. Оратор, бесспорно занимающий первое место в рядах нынешнего зрелого поколения [*\(33\)](#) , говорит, почти не меняя голоса и так быстро, что за ним бывает трудно следить. Между тем Квинтилиан писал про Цицерона: Cicero poster gradarius est, то есть, говорит с расстановкой. Если вслушаться в наши речи, нельзя не заметить в них странную особенность. Существенные части фраз по большей части произносятся непонятной скороговоркой или робким бормотанием; а всякие сорные слова вроде: при всяких условиях вообще, а в данном случае в особенности; жизнь – это драгоценнейшее благо человека; кража, то есть тайное похищение чужого движимого имущества, и т. п.– раздаются громко, отчетливо, "словно падает жемчуг на серебряное блюдо". Обвинительная речь о краже банки с вареньем мчится, громит, сокрушает, а обвинение в посягательстве против женской чести или в предумышленном убийстве хромает, ищет, заикается.

Когда оратор вычисляет время, измеряет шаги, сажени и версты, он должен говорить отчетливо, отнюдь не торопливо и совершенно бесстрастно, хотя бы вся суть дела и, следовательно, участь подсудимых зависела от его слов. Я помню такой случай. На Васильевском острове, недалеко от Галерной гавани, была задушена и ограблена в своей квартире молодая женщина; убийство обнаружилось около двух часов дня, тело было еще настолько теплое, что прибывший врач не терял надежды спасти несчастную искусственным дыханием; в связи со свидетельскими показаниями это указывало, что убийство было совершено около часа дня. Другие свидетели удостоверяли, что два брата, обвинявшиеся в убийстве, до начала второго часа дня работали на заводе на Железнодорожной улице, за Невской заставой. Защитник предъявил суду план Петербурга и изложил в своей речи подробный расчет расстояния и времени, необходимого, чтобы доехать с Железнодорожной улицы до места преступления. Он сделал это по расчету безукоризненно; но он говорил: от завода до паровика две версты – полчаса, от станции паровика до Николаевского вокзала три перегона – сорок минут, от Николаевского вокзала до Адмиралтейства один перегон – пятнадцать минут, от Адмиралтейства до Николаевского моста один перегон... и т. д.; все это он говорил с крайней торопливостью, в том же возбужденном, страстном тоне, в каком изобличал небрежность и промахи следователе и предостерегал присяжных от осуждения невинных. При этом он сделал и другую ошибку: он слишком много говорил о важном значении этого расчета. Я проверил свое впечатление, спросив обоих своих товарищей, и должен сказать, что по извращенности, столь свойственной прихотливой и недоверчивой природе человека, мысль пошла не за рассуждением защитника, а совсем в другом направлении: явилось сомнение в том, были ли подсудимые на заводе в день убийства, и это сомнение родилось только вследствие ошибки защитника, от чрезмерного старания говорившего: он слишком трепетал, слишком звенел голосом. Ошибки эти, впрочем, не имели последствий: подсудимые были оправданы.

Остерегайтесь говорить ручейком: вода струится, журчит, лепечет и скользит по мозгам слушателей, не оставляя в них следа. Чтобы избежать утомительного однообразия, надо

составить речь в таком порядке, чтобы каждый переход от одного раздела к другому требовал перемены интонации.

В своей превосходной книге "Hints on Advocacy" [*\(34\)](#) английский адвокат Р. Гаррис называет модуляцию голоса the most beautiful of all the graces of eloquence – самой прекрасной из всех прелестей красноречия. Это музыка речи, говорит он; о ней мало заботятся в суде, да и где бы то ни было, кроме сцены; но это неоценимое преимущество для оратора, и его следовало бы развивать в себе с величайшим прилежанием.

Неверно взятый тон может погубить целую речь или испортить ее отдельные части. Помните вы этот бесподобный отрывок: "Тихонько и тихонько работа внутри кладовой продолжается... Вот уже дыму столько, что его тянет наружу; потянулись струйки через оконные щели на воздух, стали бродить над двором фабрики, потянулись за ветром на соседний двор..." [*\(35\)](#) Самые слова указывают и силу голоса, и тон, и меру времени. Как вы прочтете это? Так же, как "Осада! приступ! злые волны, как воры, лезут в окна...", как "Полтавский бой" или так, как "Простишь ли мне ревнивые мечты..?" Не думаю, чтобы это удалось вам. А нашим ораторам удастся вполне; сейчас увидите.

Прочтите следующие слова, подумайте минуту и повторите их вслух:

"Любовь не только верит, любовь верит слепо; любовь будет обманывать себя, когда уже верить нельзя..."

А теперь догадайтесь, как были произнесены эти слова защитником. Угадать нельзя, и я скажу вам: громовым голосом.

Обвинитель напомнил присяжным последние слова раненого юноши: "Что я ему сделал? за что он меня убил?" Он сказал это скороговоркой. Надо было сказать так, чтобы присяжные слышали умирающего.

По замечанию Гарриса, лучшая обстановка для упражнения голоса – пустая комната. Это, действительно, приучает к громкой и уверенной речи. С своей стороны, я напомню то, о чем уже говорил: повторяйте заранее обдуманые отрывки речи в случайных разговорах; это будет незаметно наводить вас на верную интонацию голоса. А затем – учитесь читать вслух. А. Я. Пассовер говорил мне, что Евгений Онегин делается откровением, когда его читает С. А. Андреевский. Подумайте, что это значит, и попытайтесь прочесть несколько строф так, чтобы хоть кому-нибудь они показались откровением [*\(36\)](#).

Истинно художественная речь состоит в совершенной гармонии душевного состояния оратора с внешним выражением этого состояния; в уме и в сердце говорящего есть известные мысли, известные чувства; если они передаются точно и притом не только в словах, но во всей внешности говорящего, его голосе и движениях, он говорит как оратор.

Да это невыносимо! – скажете вы; я не Кони и не Андреевский... Читатель! Позвольте напомнить вам то, что я сказал с самого начала: бросьте книгу. Не бросили? Так не забывайте, что искусство начинается там, где слабые теряют уверенность в своих силах и охоту работать.

Глава II. Цветы красноречия

Красноречие есть прикладное искусство; оно преследует практические цели; поэтому украшение речи только для украшения не соответствует ее назначению. Если оставить в стороне нравственные требования, можно было бы сказать, что самая плохая речь лучше самой превосходной, коль скоро вторая не достигла цели, а первая имела успех. С другой стороны, всеми признается, что главное украшение речи заключается в мыслях. Но это – игра слов; мысли составляют содержание, а не украшение речи; нельзя смешивать жилые помещения здания с лепным орнаментом на его фасаде или фресками на внутренних стенках. Таким образом, мы подходим к основному вопросу: какое значение могут иметь цветы красноречия на суде, или, лучше сказать, указываем основное положение: риторические украшения, как и прочие элементы судебной речи, имеют право на существование только как средства успеха, а не как источник эстетического наслаждения. Цветы красноречия – это курсив в печати, красные чернила в рукописи.

Древние высоко ценили изящество и блеск речи; без этого не признавалось искусства. *Nec fortibus modo, sed etiam fulgentibus armis proeliatu in causa est Cicero Corneli*, – говорит Квинтилиан. Далее, в той же главе: "Красота речи содействует успеху; те, кто охотно слушают, лучше понимают и легче верят. Недаром Цицерон писал Бруту, что нет красноречия, если нет восхищения слушателей, и Аристотель недаром учил их восхищаться". Эти слова могут вызвать возражение наших современных обвинителей и защитников отчасти по незнанию, отчасти потому, что следовать указанию древних не так легко. Кто их читал, возражать не станет: *Nic ornatus, repetam enim, virilis, et fortis, et sanctus sit; nec effeminatam laxitatem et fuce ementitum colorem amet; sanguine et viribus niteat*. Пусть блещет речь мужественной, суровой красотой, а не женской изнеженностью; пусть красит ее горячая кровь и талант оратора.

Опытные и умелые люди любят наставлять младших, напоминая, что надо говорить как можно проще; я думаю, что это совсем не верно. Простота есть лучшее украшение слога, но не речи. Мало говорить просто, ибо недостаточно, чтобы слушатели понимали речь оратора; надо, чтобы она подчинила их себе. На пути к этой конечной цели лежат три задачи: пленить, доказать, убедить. Всему этому служат цветы красноречия.

Что такое наши присяжные? В большинстве случаев это малообразованные, а в уездах часто совсем невежественные люди; среди них могут быть очень умные и очень ограниченные. Оратору всегда желательно быть понятым всеми; для этого он должен обладать умением приспособить свою речь к уровню средних, а может быть, и ниже чем средних людей. Я не ошибусь, если скажу, что и большинство так называемых образованных людей нашего общества не слишком привыкли усваивать общие мысли без помощи примеров или сравнений. Возьмем пример. Шопенгауэр определяет эстетическое наслаждение как состояние чистого созерцания и безвольного познания вне течения времени и иных индивидуальных отношений. Эти слова имеют определенный смысл, но мы представляем его себе крайне смутно. За отвлеченной формулой следует пояснение: "Тогда уже все равно, из-за тюремной решетки или из окон дворца смотреть на заходящее солнце"; после этих слов мысль становится понятной. Сравнивая повышенную восприимчивость и духовную неудовлетворенность нравственно развитых людей с грубым материализмом, Д. С. Милль говорит, что лучше быть неудовлетворенным человеком, чем удовлетворенной свиньей. И это трудно не понять.

Известно, что образная речь, то есть пользование метафорами, свойственна не только образованным людям, но и дикарям. Народная речь на всех ступенях культуры и во всех странах изобилует риторическими фигурами: молодец против овец, а на молодца и сам овца – антитеза;

прям, как кочерга – охуморон; где нам, дуракам, чай пить? – ирония и meiosis. В своих "Dialogues sur L'eloquence" Фенелон говорит: "Было бы нетрудно доказать с книгами в руках, что в наше время нет духовного оратора, который в самых обработанных проповедях своих так же часто пользовался риторическими фигурами, как это делал спаситель в своих поучениях народу". Все это дает нам право сказать, что образная речь более понятна человеку, чем простая.

17 января 1909 г. в С.-Петербургском суде разбиралось дело о Григорьеве и Козаке, обвинявшихся в разбое (экспроприации). Оба подсудимых сознались на дознании и не сознавались на судебном следствии; защитники утверждали, что сознание было вызвано угрозой передать дело военно-полевому суду. По времени события это объяснение не было невероятно; по крайней мере, по отношению к одному из подсудимых, Козаку, двое из судей находили его правдоподобным. Его правдивый тон и точные ответы в связи с категорическими показаниями о его алиби внушали доверие; другой подсудимый несомненно был участником разбоя. Защитники говорили много и для судей совершенно понятно, но для присяжных, может быть, не вполне понятно. То, что представлялось вероятным для людей, знакомых с обстановкой полицейского расследования и со случайностями, изменяющими подсудность при действии чрезвычайных положений, могло казаться невозможным для простых обывателей. Между тем можно было без труда дать им почувствовать то, что должны были пережить подсудимые после их задержания. Надо было только прибавить к сказанному: когда приходится выбирать между виселицей через 24 часа или каторгой после нескольких месяцев да еще с возможностью оправдания, всякий, кому не надоела жизнь, сознается в чем угодно, сознается и в том, чего не совершал; а эти люди уже чувствовали веревку на шее. Подобная метафора не оставляла бы сомнения в том, что мысль защиты вполне понятна присяжным.

Они признали виновными обоих подсудимых. Я думаю, что это была ошибка; разговор с защитником Козака после приговора подтверждает это тяжелое сомнение. Пусть вдумается начинающий судебный оратор в этот случай. Нельзя утверждать, что одно слово веревка не спасло бы человека от каторги.

Речь, составленная из одних рассуждений, не может удержаться в голове людей непривычных; она исчезает из памяти присяжных, как только они прошли в совещательную комнату. Если в ней были эффектные картины, этого случиться не может. С другой стороны, только краски и образы могут создать живую речь, то есть такую, которая могла бы произвести впечатление на слушателей. Привожу несколько указаний из "Диалогов" Фенелона. Он говорит: следует не только описывать факты, но изображать их подробности так живо и образно, чтобы слушателям казалось, что они почти видят их; вот отчего поэт и художник имеют так много общего; поэзия отличается от красноречия только большей смелостью и увлечением; проза имеет свои картины, хотя более сдержанные; без них обойтись нельзя; простой рассказ не может ни привлечь внимание слушателей, ни растрогать их; и потому поэзия, то есть живое изображение действительности, есть душа красноречия.

Нужны образы, нужны картины: пусть оратор *rem dicendo subjiciet oculis* [*\(37\)](#) (Cic., Orator., XL).

Р. Гаррис говорит то же, что писали Аристотель и Цицерон. "Впечатление, сохраняющееся в представлении слушателей после настоящей ораторской речи, есть ряд образов. Люди не столько слушают большую речь, сколько видят и чувствуют ее. Вследствие этого слова, не вызывающие образов, утомляют их. Ребенок, перелистывающий книгу без картинок,— это совершенно то же, что слушатель перед человеком, способным только к словоизвержению".

Скажите присяжным: честь женщины должна быть охраняема законом независимо от ее общественного положения. Будут ли вас слушать профессора или ремесленники — все равно; эти слова не произведут на них никакого впечатления: одни совсем не поймут, другие пропустят их мимо ушей. Скажите, как сказал опытный обвинитель: во всякой среде, в деревне и в городе, под шелком и бархатом или под дерюгою, честь женщины должна быть неприкосновенна,— и присяжные не только поймут, но и почувствуют и запомнят вашу мысль.

Речь, украшенная образами, несравненно выразительнее простой.

Образная речь и несравненно короче. Попробуйте передать без образа все то, что заключается в словах:

О, мощный властелин судьбы!

Не тик ли ты над самой бездной

На высоте, уздой железной

Россию поднял на дыбы? [*\(38\)](#)

Те, кто слышали, пусть вспомнят заключительные слова одной речи Жуковского: "Подсудимый был полтора года в одиночной камере. Знаете ли вы, господа присяжные заседатели, что такое одиночное заключение? Это — три шага в длину, два шага в ширину и... ни клочка неба!" Я не знаю стихотворения, которое с такою ясностью передавало бы пытку заточения.

Чтобы говорить наглядно, то есть так, чтобы слушателям казалось, что они видят то, о чем им рассказывает говорящий, надо изображать предметы в действии. Это правило Аристотеля.

Он приводит стихи из "Илиады":

"Копья торчали по земле, все еще требуя добычи."

"Волны бегут, вздымаясь пенистыми гребнями;

одни впереди,

за ними другие".

Сравните с этим:

В уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток,
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток [*\(39\)](#) ;

или:

Уж побледнел закат румяный
Над усыпленной землей;
Дымятся синие туманы
И всходит месяц золотой [*\(40\)](#) ;

или:

И тополи, стеснившись в ряд,
Качая тихо головою,
Как судьи, шепчут меж собою... [*\(41\)](#)

Припомните приведенное выше описание пожара у Андреевского.

Переносное выражение, риторическая фигура дают возможность усилить не только содержание мысли, но и внешнее ее выражение голосом, мимикой, жестом.

Виктор Гюго обращается к французским солдатам с восклицанием:

Et vous ne verrez pas se dorer dans la gloire
La criniere de vos chevaux! – [*\(42\)](#)

"И лучи славы не озолотят гриву ваших коней". Это значит: вы не заслужите славы; это совершенно та же мысль. Но эти слова трудно произнести с выразительностью, а те почти бессознательно сопровождаются повышением голоса и жестом; при слове gloire вы невольно откинете назад голову и раздвинете плечи.

Я не буду перечислять те разнообразные риторические фигуры, о которых говорит Цицерон в Риторике ad Herennium; остановлюсь лишь на некоторых, чтобы показать, что эти цветы суть не роскошь, а необходимое в судебном красноречии.

Метафоры и сравнения

Известно, что все мы по привычке говорим метафорами, не замечая этого. Они так понятны для окружающих и так оживляют разговор, что мы всегда охотно слышим их в чужих речах. Аристотель говорит: в прозе хороши только самые точные или самые простые слова или метафоры.

Не следует скупиться на метафоры. Я готов сказать: чем больше их, тем лучше; но надо употреблять или настолько привычные для всех, что они уже стали незаметными, как например: рассудок говорит, закон требует, давление нужды, строгость наказания, и т. п. – или новые, своеобразные, неожиданные. Не говорите: преступление совершено под покровом ночи; цепь улик сковала подсудимого; он должен преклониться перед мечом правосудия. Уши вянут от таких речей. А удачная метафора вызывает восторг у слушателей.

Всякий писака сравнивает неудачу после успеха с меркнувшей звездой. Андреевский сказал: с весны настоящего года звезда г. Лютостанского [*\(43\)](#) начала меркнуть и чадить... Чувствуя старость, Цицерон однажды выразился, что его речь начинает сесть. Ищите таких метафор.

Сравнение, как и метафора, есть обычное украшение живой и письменной речи. Его основное назначение заключается в том, чтобы обратить внимание слушателей на какую-нибудь одну или несколько особенностей упоминаемого предмета; чем больше различия в предметах сравнения, тем неожиданнее черты сходства, тем лучше сравнение; поэтому не следует сравнивать однородные вещи. Такое сравнение ничего не прибавляет к основной мысли; оно нередко уменьшает впечатление. Вспомните:

И день настал. Встает с одра
Мазепа, сей страдалец хилый,
Сей труп живой, еще вчера
Стонавший слабо над могилой [*\(44\)](#) .

Теперь он мощный враг Петра.
Теперь он, бодрый, пред полками
Сверкает гордыми очами
И саблей машет...

Образ яркий и увлекательный. Следует сравнение:
Согбенный тяжко жизнью старой,
Так оный хитрый кардинал,
Венчавшись римскою тиарой,
И прям, и здрав, и молод стал.

Это не есть художественное сравнение; это – историческая справка, ничего не усиливающая и не поясняющая, напротив того, – ослабляющая впечатление.

Конечно, главным мерилom и здесь должно быть чувство изящного, и общие правила не писаны для гения. Царские похороны в Англии и триумфальный въезд победителя в древний Рим суть виды одного родового понятия – процессии; поэтому теоретически одно не годится для сравнения с другим. Тем не менее у Шекспира, на похоронах Генриха V, герцог Глостер говорит: "Умер Генрих, и не встанет никогда; мы, лучшие люди королевства, идем за его гробом и своей пышностью славим торжество смерти, как пленники, прикованные к колеснице победителя" [*\(45\)](#) .

Какая роскошь!

Вот заключительные слова Н. И. Холевы по делу Максименко и Резникова: "Господа! Один

римский император, подписывая смертный приговор, воскликнул: как я несчастлив, что умею писать! Я уверен, что старшина ваш скажет иное; он скажет: как счастлив я, что умею писать!"

Сопоставьте это со стихами Шекспира. В обоих случаях один недостаток – большое внешнее сходство. Но в первом случае недостаток исчезает: сходство образов усиливает контраст мысли; во втором – к сходству внешнего действия присоединяется тождество его внутреннего значения, и, кроме того, самый предмет сравнения выбран неудачно: присяжные заседатели в Ростове-на-Дону в наши дни и римский цезарь в первый век христианства. Воображение недоумеает: не то – цезарь в нашей совещательной комнате, не то – старшина присяжных в императорской тоге.

Чтобы не остаться незамеченным, чтобы быть интересным, сравнение, как метафора, должно быть неожиданным, новым; Спасович, как я уже упоминал, говорит про Емельянова, обвиняемого в убийстве жены, про живого человека, что он – как дерево, как лед. Но, конечно, при известном различии сравниваемого черты, в коих проявляется сходство, должны существовать на самом деле и быть характерными для обоих предметов.

Нельзя сказать, чтобы наши молодые ораторы соблюдали эти элементарные правила; иногда кажется, что вся фантазия их заключена между первой и последней страницами Уложения о наказаниях; их излюбленное сравнение: убить значит похитить высшее благо, данное человеку; подлог векселя есть как бы отравка его или коварный поджог против всех будущих его держателей... Это все равно, что сравнить птицу с птицей или дерево с деревом. Разве когда-нибудь говорится: этот вяз как старый дуб... Эта щука, как акула?.. Я недавно слышал такие слова одного частного обвинителя: "Обольщение девушки близко подходит к краже: сорвать цветок и уйти". Уподобление женской невинности цветку не слишком ново; предметы сравнения и здесь суть виды одного общего понятия – преступления; их родовые признаки неизбежно совпадают, а видовые – разнствуют; в чем заключается сходство последних, остается тайной оратора, и такой "цветок" красноречия, конечно, оставляет слушателей в полном недоумении.

Если в деле имеются вещественные доказательства можно заранее сказать, что обвинитель или защитник назовет их бессловесными уликами или немymi свидетелями. В недавнем процессе главной уликой против двух подсудимых была случайно обнаруженная переписка, в которой девушка требовала от влюбленного в нее человека яда, чтобы отравить юношу, отвернувшегося от нее, а ее будущий сообщник писал, что он не в силах стать убийцей; эти письма были написаны с необыкновенной силой; любовная страсть, ужас перед преступлением, жажда мести грозили, умоляли, томилась, проклинали в этих строках, и эти-то безумные вопли мятущейся жизни, этих беспощадных обличителей убийства коронный оратор называет мертвыми свидетелями! Защитник справедливо указал своему противнику, что если письма мертвы, то читают их живые люди; он забыл сказать, что и писали живые.

Простые люди легко владеют образной речью. Встретив похороны, извозчик говорит: домой поехал; в деревне скажут: повезли под зеленое одеяло; признаваясь в нечестном поступке, крестьяне говорят: укусил грешка. Председатель спросил 18-летнего воришку, отчего он убежал из полицейского участка; подсудимый вытаращил глаза и громко отчеканил: "Каждый человек выбежит из такой клетки, если дверь откроют; даже птица вылетает из клетки, если откроют клетку". Я слышал, как вор-рецидивист назвал себя людским мусором.

Послушаем наших ораторов.

Мещанка Макарова судилась по 1477 ст. Уложения о наказаниях; она облила жену любовника своей дочери серной кислотой. Товарищ прокурора начал свою речь так: "Реальные плоды тех отношений, которые существовали между Макаровой и Пруденской, осязательны и для нас очевидны: Пруденская лишилась глаза..." Защитник не уступил своему противнику в

непринужденности; он заявил присяжным, что "все дело, в сущности, представляется каким-то водевилем или фарсом". Расскажите это здравомыслящему человеку, и, если поверит, он скажет: этим людям дали право свободно говорить перед судом, и они пользуются им, чтобы публично издеваться над изувеченной женщиной.

Девушка-работница в пьяном виде зарезала мать. Присяжные узнают от оратора, что это произошло в один прекрасный день и в этой сфере происходит часто. Два татарина задушили старого извозчика и, бросив его сани и лошадь, воспользовались рукавицами, свечным огарком и несколькими копейками; несчастный старик молил их пощадить его ради пятерых детей. И среди угнетенной тишины судебного зала раздаются слова обвинителя: "Мы не знаем, кто из подсудимых был руководителем, играл, так сказать, первую скрипку".

Верное сравнение подтверждает верную мысль; оно же изобличает ошибку.

Защитник Ольги Штейн выражал недоумение о том, как возможно предание суду за подлог документа, не имеющегося при деле; это все равно, что обвинять в убийстве без трупа, прибавил оратор. Разбирая этот довод, председательствующий сказал присяжным: представьте себе, что на Невской набережной на глазах нескольких людей один человек зарезал другого и сбросил его в воду; волны унесли убитого в море; может быть, совсем не вернут его на сушу, может быть, выкинут обезображенный труп; тело будет предано земле, а дело – воле божией. Положение очень выгодное, но для кого? для убийцы. Если так рассуждать, всякий подлог останется безнаказанным, коль скоро преступник, достигнув цели, уничтожит подделанный документ.

Вопреки известной французской поговорке, сравнение часто бывает превосходным доказательством. В речи по делу крестьян села Люторич Ф. Н. Плевако говорил по поводу взрыва накипевших страданий и озлобления со стороны нескольких десятков мужиков: "Вы не допускаете такой необыкновенной солидарности, такого удивительного единодушия без предварительного сговора? Войдите в детскую, где нянька в обычное время забыла накормить детей: вы услышите одновременные крики и плач из нескольких люлек. Был ли здесь предварительный сговор? Войдите в зверинец за несколько минут до кормления зверей: вы увидите движение в каждой клетке, вы с разных концов услышите дикий рев. Кто вызвал это соглашение? Голод создал его, и голод вызвал и одновременное неповиновение полиции со стороны люторических крестьян..." Нужно ли прибавлять, что эти два сравнения сделали для доказательства мысли защитника больше, чем могла бы сделать целая вереница неоспоримых логических рассуждений?

Всякая метафора есть, в сущности, сокращенное сравнение; но в сравнении сходство бывает указано прямо, а в метафоре подразумевается; поэтому последняя не так заметна для слушателей и меньше напоминает об искусственности; она вместе с тем и короче; следовательно, в виде общего правила метафора предпочтительнее сравнения.

Антитеза есть один из самых обычных оборотов речи: ни богу свечка, ни черту кочерга; отвага мед пьет, она же и кандалы трет. Достоинства этой фигуры заключаются в том, что обе части антитезы взаимно освещают одна другую; мысль выигрывает в силе; при этом она выражается в сжатой форме, и это также увеличивает ее выразительность. Недаром остроумный Гамильтон в своей книжке "Парламентская логика, тактика и риторика" [*\(46\)](#) советует читать Сенеку, который, как Тацит, постоянно говорит антитезами.

Чтобы судить о яркости этой фигуры, стоит вспомнить клятвы Демона Тамаре [*\(47\)](#) или слова Мазепы:

Без милой вольности и славы
Склоняли долго мы главы
Под покровительством Варшавы,
Под самовластием Москвы.
Но независимой державой
Украине быть уже пора:
И знамя вольности кровавой
Я подымаю на Петра [*\(48\)](#) .

Насколько щедр на антитезы может быть оратор, отнюдь не утомляя слушателей, видно из речи Виктора Гюго перед присяжными в 1832 году по поводу запрещения драмы "Le roi s'amuse" [*\(49\)](#) . Он говорит о первой империи: "То было время великих дел. Первая империя была, несомненно, эпохой невыносимого деспотизма; но мы не должны забывать, что за нашу свободу нам щедро платили славой. Тогдашняя Франция, как Рим в эпоху цезарей, была в одно и то же время и покорной, и величественной. Эта не была та Франция, о которой мы мечтаем, независимая, свободная. Нет, это была Франция – раба одного человека и владычица мира".

"Правда, в то время у нас отнимали нашу свободу, но зато нам давали поистине великолепное зрелище. Нам говорили: в такой-то день, в такой-то час я вступаю в такую-то столицу; и в назначенный день и час столица открывала свои ворота нашим войскам; у нас в передней толкалась куча всяких королей; если являлась фантазия поставить где-нибудь колонну, то мрамор для нее заказывали австрийскому императору; вводили, надо признаться, несколько произвольный устав для актеров французской комедии, но его подписывали в Москве; учреждали цензурные комитеты, жгли наши книжки, запрещали наши пьесы, но на все наши жалобы нам могли одним единым словом дать великолепный ответ, нам могли ответить: Маренго, Иена, Аустерлиц!"

Пример взят из героической истории; но и самая серая, будничная действительность бывает торовата на яркие антитезы. "Григорьев много сделал для Русова: он в течение многих лет ссужал его деньгами, из нищего превратил его в состоятельного человека; захворав, он доверил ему ключи от своих денег, умирая, назначил его своим душеприказчиком. Но и Русов немало сделал для Григорьева: он обманывал его при жизни, обокрал после смерти и теперь всеми силами препятствует исполнению его завещания". Приведенные два примера, как видит читатель, также взаимно составляют антитезу. В речи по делу Максименко Плевако говорил: соблазнитель девушки пал и уронил, но умел встать и поднять свою жертву. Во время речи Лабори по делу Дрейфуса [*\(50\)](#) оратора часто прерывали с крайней грубостью. Он повернулся к публике и крикнул: "Вы думаете помешать мне вашим воем; я смущаюсь только, когда слышу одобрение".

Чтобы находить новые мысли, надо иметь творческий ум; для удачных образов нужна счастливая фантазия; но живые антитезы легко доступны каждому, рассыпаны повсюду; день и ночь, сытые и голодные, расчет и страсть, статьи закона и нравственные заповеди, вчерашний учитель нравов – сегодняшний арестант, торжественное спокойствие суда – суетливая жизнь за его стенами и т. д., без конца; нет дела, в котором бы не пестрели вечные противоречия жизни.

Пример, приведенный Цицероном в его "Риторике", наглядно показывает, как нетрудна эта игра мысли: "Когда все спокойно, ты шумишь; когда все волнуются, ты спокоен; в делах безразличных – горячишься; в страстных вопросах – холоден; когда надо молчать, ты кричишь; когда следует говорить, молчишь; если ты здесь – хочешь уйти; если тебя нет – мечтаешь возвратиться; среди мира требуешь войны; в походе вздыхаешь о мире; в народных собраниях толкуешь о храбрости, в битве дрожишь от страха при звуке трубы".

Одна из самых изящных риторических фигур это – concessio; она заключается в том, что оратор соглашается с положением противника и, став на точку зрения последнего, бьет его собственным оружием; приняв, как заслуженное, укорительные слова противника, тут же придает им другое, лестное для себя значение; или, напротив, склонившись перед его притязаниями на заслуги, немедленно изобличает их несостоятельность. Я не знаю лучшего примера, чем речь Ше д'Эст Анжа в заседании французской Палаты депутатов в 1864 году по поводу внесенного оппозицией проекта о подчинении парижского городского бюджета законодательному корпусу. Проект этот был вызван колоссальными затратами Гаусмана на украшение города; один из депутатов упрекал его как префекта столицы в расточении городских денег на ненужную роскошь. Ше д'Эст Анж отвечал оппозиции в качестве вице-президента муниципальной комиссии. Он поднял брошенный упрек, и вот что он говорил: "Вы говорите: все приносилось в жертву роскоши; нет, все приносилось в жертву необходимости".

"С разумной смелостью, без рабского страха перед прямой линией, забывая о ней, когда было нужно, мы расширили площади вокруг парижских памятников, воздвигли новые, реставрировали старые, провели новые улицы; повсюду, во всех концах облегчили колоссальное движение городского населения; вместо клоак, в которых приходилось ютиться жителям, вместо этих отвратительных улиц, имена коих уже забыты вами, улицы Мортеллери, Тиксерандри и других, им подобных, мы дали им воздуха, света и, правда, дали роскошь; да, этим нищим дали роскошь; они задыхались от недостатка воздуха; им предоставили площади, им устроили сады..."

Отступление было сделано, чтобы потом, в удобный момент броситься на противника с удвоенной силой. Оратор указывает, что заботы городского управления о бедном населении не остались без результатов.

"Или вы жалуетесь на то, что эти преимущества предоставлены рабочему населению? Богатые люди всегда имели свои великолепные дома и широкие дворы; они всегда могли дышать свежим воздухом; с наступлением летней жары они уезжали из города. Итак, эти улучшения делались для трудящихся жителей Парижа; все это было сделано для них, ради их пользы".

"Что же возмущает вас? Что им дали слишком много труда и слишком много заработка, слишком много воздуха, света, солнца, слишком долгую жизнь? Это возмущает вас?"

Конечно, достоинство concessio, как и всякой риторической фигуры, заключается не только в изяществе оборота, но и в силе мысли. В "Потонувшем колоколе" Гауптмана пастор говорит Генриху:

Ich bin schlichter Mann, ein Erdgeborener,
Und weiss von überstiegenen Dingen nichte.
Bins aber weiss ich, was ihr nicht mehr wisst:
Was Recht und Unrecht, Gut und Bose ist. *(52)
И, соглашаясь с этим, Генрих отвечает:

Auch Adam wusst'es nicht im Paradiese. *(53)

Concessio расчищает путь для мысли, неприятной слушателям. Нельзя сказать присяжным или судьям: наказание бывает несправедливой и жестокой расправой, не вызвав в них некоторого неудовольствия. Оратор говорит: "Есть, бесспорно, такие преступники, в отношении которых наказание является необходимым возмещением содеянного, является безусловным

требованием чувства справедливости". После этого уже можно смело сказать: "Но есть и такие, для которых наказание является ненужной и жестокой расправой".

Есть особый вид фигуры *conpassio*, не имеющий ни латинского, ни греческого названия, но который по-русски можно бы назвать капканом. Это по преимуществу прием политического оратора. В суде слушатели безмолвны: в народном собрании, в представительной палате резкое или красивое слово всегда вызывает или протест, или восхищение. Искусный оратор умеет найти такую мысль, которая вырвет ликующие или злобные возгласы его противников, и бросит им в лицо их собственную радость или укоры.

В 1745 году перед началом войны за независимость Северо-Американских Штатов в одном собрании представителей штата Виргинии адвокат Патрик Генри говорил об упорстве, с которым Георг IV относился к умеренным домогательствам колоний. Он сказал знаменитую фразу: "На Цезаря нашелся Брут, на Карла Первого – Кромвель, Георг IV..." Здесь он был прерван негодующими возгласами приверженцев Англии: измена! измена! Он остановился на минуту и внушительно произнес: "...пусть не забудет их примера. Если это измена, я готов отвечать за нее".

Несколько лет тому назад в германском рейхстаге обсуждалось требование правительства о дополнительном кредите на армию. Военный министр подробно доказывал депутатам, что для устранения некоторых настоятельных опасностей необходимо определенное количество пехоты и артиллерии; при этом он имел неосторожность сказать, что расчеты сделаны с величайшей предусмотрительностью, и, дав испрашиваемое ассигнование, рейхстаг будет надолго застрахован от новых требований военного министерства. Возражая министру, Евгений Рихтер доказывал, что его домогательство не имеет оснований, и что Палата не должна доверяться его обещаниям. Правительство не знает меры, говорил он; оно не считается с народными средствами; сегодня выдайте эту сумму, через год они потребуют новых назначений; они говорят, что требуют минимум того, что необходимо; я не могу верить им, потому что из собственного их расчета ясно, что это слишком много... Военный министр не выдержал и перебил оратора: "Напротив, если бы вы могли вдуматься в представленный нами отчет, вы убедились бы, что этого еще слишком мало".

– Вот видите,– добродушно продолжал Рихтер,– я говорил, что через год вы опять будете просить денег.

Как я сказал, это преимущественно политический прием: оратор изобличает ошибку в словах противника, перебившего его своим замечанием. На суде это можно сделать только с ошибкой в уме судей. Из вопросов присяжных на судебном следствии нетрудно бывает угадать, какое соображение навязывается их вниманию. Если это мысль неверная, скажите им, что всякий, кто знает это дело, должен остановиться именно на этом предположении; подтвердите его лучшими доводами и когда увидите, что присяжные восхищены вашей готовностью признать опасное для вас положение, разъясните их заблуждение.

Есть одна риторическая фигура, которой наши рядовые ораторы почти никогда не пользуются. Это *sermocinatio*, одна из наиболее сильных, понятных и простых. Разговоры, просьбы, убеждения участников судебной драмы, предшествовавшие и следовавшие за событием, лишь в незначительной доле бывают достоянием суда. Между тем передать вполне понятным образом чужое чувство, чужую мысль несравненно труднее в описательных выражениях, чем в тех самых словах, в коих это чувство или мысль выражается непосредственно. Последний способ выражения и точнее, и понятнее, и, главное, убедительнее для слушателей. Я говорю: любовник указал жене на удобный случай отравить мужа. Присяжные слушают и думают, что это могло быть и могло не быть. Опытный обвинитель скажет: я не слышал их разговора, но нам нетрудно догадаться о его содержании. Она, женщина, колеблется, он, мужчина, решился твердо и настойчив в своем решении. "Иди, – говорит он, – порошок на полке, муж задремал; проснется и сам выпьет; я пройду в кухню, чтобы не вышла в спальную сиделка". Перед вами в немногих словах передана вся картина отравления, и, если предположение о подстрекательстве уже обосновано оратором, присяжным кажется, что они слышат не его, а самого подсудимого на месте преступления. Этот прием незаменим, как объяснение мотивов действия, и как дополнение характеристики, и как выражение нравственной оценки поступков того или другого человека. В деле крестьянина Егора Емельянова обвинитель говорит, что убийца взял с собой на место преступления свою любовницу, чтобы, сделав ее соучастницей, закрепить ее навсегда за собой: "Поделившись с ней страшной тайной, всегда будет возможность сказать: "Смотри, Аграфена, я скажу все, мне будет скверно, да и тебе, чай, не сладко придется. Вместе погибать пойдем; ведь из-за тебя же, Лукерья, душу загубил"". В деле о подлоге завещания штабс-капитана Седкова тот же оратор говорил: "Если бы Лысенков – один из главных виновников, нотариус, сочувствовал Седковой, как честный человек, он должен был сказать ей: "Что вы делаете? Одумайтесь! Ведь это преступление; вы можете погибнуть. Заглушите в себе голос жадности к деньгам мужа, удовольствуйтесь вашей вдовой участью..." " и т. д. Эти слова – не догадка о том, что было сказано Лысенковым; оратор указывает именно на то, что они не были сказаны; но всякому ясно, как они наглядно поясняют мысль обвинителя и вместе с тем как оживляют его речь. В речах Андреевского, князя Урусова такие разговоры, не подслушанные, а, так сказать, подсмотренные в деле между строками, встречаются очень часто, и одно это служит доказательством достоинства такого риторического приема. Само собой разумеется, что, если значительный разговор действующих лиц передан свидетелем или подсудимым в подлинных выражениях, их нельзя заменять измышлением.

Давно испытанным и благодарным приемом к тому, чтобы придать мысли яркость, служит оживление неодушевленных предметов. Золото – обольститель, перо – тихий заговорщик, рукопись – лжец или неумолимый обличитель и т. п. Молодой писец обвинялся в убийстве невесты. Он купил поломанный револьвер, отдал его в починку, сделал несколько пробных выстрелов; револьвер опять сломался, и ему пришлось еще раз отдавать его мастеру. Обвинитель сказал присяжным, что револьвер не хотел служить преступлению, убеждал подсудимого отказаться от убийства. Это было, вероятно, сознательное или бессознательное подражание словам Андреевского: "К сожалению, Зайцев не психолог; он не знал, что, купив после таких мыслей топор, он попадал в кабалу к этой глупой вещи, что топор с этой минуты станет живым, будет безмолвным подстрекателем, будет сам проситься под руку" *(55) . В приведенных двух примерах видна разница истинного искусства и подражания. У художника вещь подстрекает

безмолвно – это восхищает нас; у ремесленника вещь говорит, это оскорбляет здравый смысл и чувство изящного. Но бывает еще несравненно хуже. Нам приходится выслушивать такие примеры: "в руке у мужа оказался молоток и начал нещадно опускаться на голову покойной"; "нож, по всей вероятности, бессознательно появился в руке подсудимого"; защитник рассказывает, как вор "вошел в чулан и увидел самовар, который знал, что он нужен хозяину".

Другие риторические обороты

Как я уже сказал, мною приведены лишь немногие из разнообразных риторических оборотов, употребляемых в речи. Их трудно перечислить, и, отсылая читателя к Риторике Цицерона и Институциям Квинтилиана, я могу только заметить, что эти обороты так свойственны каждому из нас, что мы часто не замечаем их у себя и у других. При чтении Демосфена кажется, что он совсем не употребляет риторических фигур. Это кажется потому, что он пользуется ими искусно, то есть незаметно. Вот вступление Ше д'Эст Анжа по делу ла Ронсьера:

Когда нам говорят о великом Gradatio [*\(185\)](#) : великое преступление, преступлении, вроде того, которое дьявольское преступление, небывалое разбирается здесь; когда нам преступление; оскорбления, насилия, кажется, что оно было направлено жестокости; против целой семьи, заранее Concessio: оратор допускает обдуманно с какой-то дьявольской возможностью преступления, которое злобой, когда жертва его-слабая сейчас же должен отрицать; девушка, подвергшаяся небывалым оскорблениям, насилиям, жестокостям, каждый из нас, возмущенный, становится на сторону Similitudo [*\(186\)](#) : чем больше, тем легче; обиженных. И чем больше в нас Significatio [*\(187\)](#) : оратор не говорит благородных чувств, тем легче прямо, но внушает присяжным, что создается в нас предубеждение, тем считает их людьми с возвышенными более ослепляет нас негодование. чувствами. Эти роковые предубеждения, Significatio: намек на возможность создающиеся в нас при рассказе о судебной ошибки; возмутительном преступлении и подбившие столько невинных людей, эти роковые предубеждения, окружающие ла Ронсьера, я сознаю, что не имею права осуждать их. Meiosis: признание своей. Никто не поддавался им с большим собственной ошибки. увлечением, никто не высказывал их так громко, как я. Когда несчастный отец пришел ко мне, чтобы вверить мне защиту его сына, я позволил себе сказать ему слова, о которых теперь вспоминаю с горьким сожалением; я хотел бы надеяться, что он простил их мне.

"Мне,— восклицал я,— мне Sermocinatio: оратор, как актер, защищать вашего сына? Нет, нет! Его повторяет слова, сказанные им в поступок отвратителен. Мое другое время и при другой пламенное желание, и я говорил с обстановке.

гневом, было бы стать его обвинителем, защитником оскорбленных, и я считал бы счастливым тот день, когда добился бы обвинения вашего сына".

Да, я говорил это! Exclamatio [*\(188\)](#)

Непристойные, жестокие слова!

Но после долгих споров и Antithesis [*\(189\)](#) : я не имел права просить я понял, господа присяжные оттолкнуть, я должен был выслушать. заседатели, что не имел права оттолкнуть от себя человека, преданного суду, не выслушав его; что долг, долг адвоката, обязывал меня выслушать его прежде, чем осуждать.

Я подчинился этому долгу и, Divisio [*\(190\)](#) : узнал, разобрал, взвесил; узнав все, разобрал все и все Disjunctio [*\(191\)](#) : долг перед отцом и взвесив, теперь приступаю к сыном, долг перед судом и исполнению другого долга перед обществом; вами, перед обществом.

Я защищаю человека, Distributio [*\(192\)](#) : семья преследует, несправедливо преследуемого ослепленные осудили. могущественной семьей, несправедливо осужденного слепыми страстями.

И я обращаюсь к вам, господа. Apostrophe [*\(193\)](#) .

Пусть не смущает вас ужас Distributio. преступления, пусть не утомляет вас Exhortatio [*\(194\)](#) . долгое следствие, пусть отстранятся от вашего высокого места те предубеждения, которые окружали вас в среде здешнего общества!

Нельзя сказать, чтобы риторика не была заметна в этом отрывке; но и при чтении она бледнеет перед яркой, до болезненного главной мыслью: я жестоко ошибался – боюсь, чтобы еще более жестоко, ужасно не ошиблись вы. На суде, после нескольких дней напряженной борьбы, после страстных речей прокурора и гражданского истца присяжные, истомленные усталостью и продолжительным нервным возбуждением, и вовсе не могли заметить риторики; им было не до цветов.

Возьмем русский пример – речь по делу о должностных преступлениях самого прозаического свойства. Оратор говорит присяжным: "Взгляните на организацию таможни. Этот отдельный от города мир чиновников и купцов расположен в глуши. Сюда, под эти крутые спуски, заслоняющие таможню от внешнего мира, ежедневно пристаёт роскошная богиня морской торговли с своим трезубцем и рогом изобилия... Богиня роняет богатства, сорит ими. Все до них лакомы... Жадность разбирает. И над этим ежедневно вступающим и разливающимся богатством стражами от казны для взимания громадных сумм поставлены люди с ничтожным жалованием. Купец бы не решился приставить к такому делу приказчика без

щедрой награды за честность. И вот эти предполагаемые противники – купец и чиновник, окруженные только морем и небом, при ежедневных встречах, при постоянной совместной работе начинают сближаться. Они почти вместе живут. Весь берег покрыт купеческими магазинами. Запираются они двумя замками: один у купца, другой у чиновника. Вскоре у этих людей образуются соединенные замки от совести..." [*\(56\)](#) В этом отрывке аллегория, *synecdoche*, антитеза, сравнение и не менее 13 метафор.

Необходимо, конечно, следить за тем, чтобы эти риторические обороты соответствовали умственному развитию слушателей. Что может быть проще фигуры *synecdoche* (*cum res tota parva de parte cognoscitur, aut de toto pars*), то есть название части вместо целого или наоборот?

И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и золото,
Врежет страшный, путь! [*\(57\)](#)

или:

Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра [*\(58\)](#) .

Однако не всякая *synecdoche* бывает понятна для всякого слушателя. Адвокат и бывший прокурор упрекнул меня однажды за слова: читайте Пушкина.– Почему не говорят нам: читайте Лермонтова? – спросил он с негодованием.

Фигуры, рождающиеся во время произнесения речи, могут быть переданы как придется, как скажутся; непосредственность мысли возместит несовершенство формы; но образ, родившийся на прогулке, за письменным столом, в час бессонницы, должен быть отделан в совершенстве: по содержанию – как богатая картина, где рассчитан каждый эффект освещения и красок; по форме – как образцовый стих великого поэта, где взвешены точность и выразительность каждого слова. Небрежность здесь не должна быть терпима. Подготовленные, но не обработанные до конца и образ, и мысль будут искусственны и могут только раздражать слушателей.

Следует остерегаться изысканного. Мне пришлось участвовать в составе суда по делу Ольги Штейн, судившейся за мошенничества. Не имея никаких средств, эта женщина вела самый расточительный образ жизни и имела знакомых в лучшем столичном обществе; она нанимала простодушных людей для управления несуществующими домами и имениями или в качестве прислуги, отбирала от них денежные залоги и щедро тратила их на себя и своих добрых приятелей; во время войны она устроила у себя в доме лазарет, в котором в течение короткого времени было помещено несколько раненых; об этом лазарете часто вспоминали на судебном следствии. Мне пришла в голову мысль: человек выиграл двести тысяч рублей и жертвует сто рублей на церковь; эту мысль тотчас сменила другая: он украл двести тысяч и построил церковь; за нею третья – он украл икону в Казанском соборе и тут же взломал кружку, в которой оказались медяки; он отдал их нищему. Я кончил следующим наброском:

"Представьте себе смельчака, который, преодолев тысячу опасностей, пробрался в капище индийского бога и сорвал с идола драгоценный венец; он вернулся к себе, разломал сокровище и любуется кучей жемчуга, изумрудов и рубинов; каждый камень стоит целого царства, у каждого почетное прозвище, как у великого государя, и длинная кровавая история, как у венценосного рода; в эту минуту к нему входит нищий с протянутой рукой, и вор, разбогатевший святотатством, бросает ему золотые обломки короны. Какие жаркие благодарные слезы будет проливать голодная семья бедняка, как будет молиться она за щедрого благодетеля!"

Это сравнение имело свои достоинства как риторическая фигура. Оно вполне соответствует

основной мысли и облегчает ее понимание. Посредственный оратор, пожалуй, остановился бы на нем, прельщенный яркостью красок; опытный мастер отбросил бы его, как мишуру, и нашел бы нечто совсем иное, проще и сильнее.

В трагедии Габриеля д'Аннунцио "Франческа да Римини" братья говорят о сестре: "Она выросла в нашей семье, как роза среди железа". Вот сжатые, неотделанные, сильные слова оратора. Они напоминают не менее выразительные слова псалма Давидова: "Сидим во тьме смертной, окованные скорбью и железом".

Итак, практический совет: знайте про себя, что и скромный цветок, брошенный вами в речи, будет приятен слушателям; но не удовлетворяйтесь малым. Помните Цицерона: "Берегитесь показаться чуждыми великого, если будете радоваться малому" (Rhet. IV, 4).

Не следует, однако, быть и чересчур простым. Я помню заключительные слова совсем юного оратора о подсудимом: "Он гибнет не один; на его плечо опирается женская рука; его шею обвивают детские ручки..." Как это просто и хорошо; как достойно подражания. Увы! Через день или два мне пришлось услышать:

"Господа присяжные заседатели! На одной чашке весов жена и сын подсудимого, а на другой – этот самовар, стоящий три рубля!"

Но не создаст ли употребление риторических фигур нестерпимую пестроту речи, не будет ли развлекать слушателей, не утомит ли их? – Конечно, нет; во-первых, потому, что оратор пользуется ими с умеренностью; во-вторых, потому, что большинство их, как уже сказано, остаются незамеченными. Итак, пусть в вечера раздумья над будущим обвинением или защитой накопится у вас множество мыслей и образов для украшения речи; взойдя на трибуну, не думайте о них: пусть в речи блеснут немногие, только те, которые сами напомнят о себе в нужную минуту. На суде примите за правило, что цветы красноречия хороши только тогда, когда кажутся случайными. В книге, в газете, в публичной лекции явно подысканное сравнение имеет вполне законное право на существование; я готов признать это допустимым и в проповеди, и в политической речи, только не на суде. В превосходной речи Андреевского по делу Андреева неожиданное крушение семейного благополучия сравнивается с землетрясением. Сравнение сильное, форма безупречная, но лучше было бы выпустить его. Оно сразу отрывает слушателя от действительности; напоминает, что перед ним не Андреев, открывающий свое горе, а его защитник, чарующий игрою старательно отточенных слов. Речь всегда должна казаться импровизацией, и каждое украшение ее – неожиданным для самого оратора, отнюдь не подготовленным заранее. Поэтому образы, взятые из обыденной жизни, составляют лучшее ее украшение. Оратор как будто идет с вами по одной дороге и в разговоре поясняет свою мысль то камнем, случайно поднятым под ногами, то листом, сорванным с наклонившейся ветки. Таковы притчи о сеятеле, о смоковнице, слова о птицах небесных и о лилиях в Галилее.

Одним из лучших украшений речи служат общие мысли.

Байрон рассказывает, что, прочитав однажды сборник извлечений из старинных драматических произведений, он был удивлен, найдя в них много таких мыслей, которые считал своей нераздельной собственностью; он не подозревал, что другие до него успели сказать многое, позднее самостоятельно высказанное им. "Если это преступление, – прибавляет он, – я охотно признаю себя виновным". Гете находит, что Байрон был слишком скромным. Он должен был сказать: "Что мною написано, то мое, а взял ли я это из книги или из жизни – все равно; мое дело было воспользоваться этим надлежащим образом". Его драма "The Deformed Transformed" [*\(59\)](#), поясняет Гете, есть продолжение моего Мефистофеля, а мой Мефистофель поет песню из Шекспира. Почему бы и нет? К чему было мне трудиться и сочинять свою собственную, когда та, которую сочинил Шекспир, была столь же уместна и выражала именно то, что мне было нужно.

Трудно представить себе, как часто встречаются в литературе такие заимствования, с предумышленным или по неведению. Один из самых распространенных афоризмов в современном немецком разговоре: *der Wunsch ist der Vater des Gedankens* [*\(60\)](#) есть дословный перевод слов из "Генриха IV" у Шекспира:

They wish was father. Harry, to that thought... [*\(61\)](#)

В "Дон Жуане", в знаменитом отрывке, Байрон восклицает:

Sweet is revenge, especially to women... [*\(62\)](#)

А Корнель двести лет тому назад говорил:

Que la vengeance est douce o l'esprit d'une femme! [*\(63\)](#)

Знание есть монета свободного обращения, и хорошая мысль, хотя бы сказанная или написанная давно, не умирает. В гробницах египетских фараонов находят древние сосуды с пшеницей; эту пшеницу обращали в посев, и англичане и французы XIX столетия видели колосья, выросшие из зерен, собранных руками египетских рабов за 3000 лет до рождества Христова.

Nullum est jam dictum, quod non fuit dictum prius – говорится у Теренция. Гете говорил то же самое: все сказанное уже было сказано раньше, указывая оттенок, освящающий заимствование чужих мыслей: *Alles Gescheite ist schon gesagt worden; man muss nur versuchen es noch einmal zu denken* [*\(64\)](#).

В этих словах Гете – драгоценнейший совет для оратора. Если такие повторения допустимы в чистом искусстве, то еще более уместны они в искусстве боевом. Судебный оратор должен твердо усвоить себе, что в этом отношении самый наглый грабеж есть самое законное и похвальное дело. Здесь не место самобытной посредственности. Оригинальность скажется сама собою при передаче и приспособлении чужих отрывков к своей речи. Вся неистощимая сокровищница человеческого знания и искусства в вашем распоряжении. Вам подвернулась подходящая мысль, красивый образ в чужой книге – не стесняйтесь присвоить их. Если вы не увлечены делом, самая остроумная мысль, самая блестящая картина потускнеют в вашей речи, потеряют силу и красоту. Напротив, если вы горите душою, самые простые, затверженные слова оживают в ваших устах и вновь получают утраченную силу, приобретают новый блеск и новые краски в вашей передаче.

С. А. Андреевский с удовольствием говорит о том, что молодые защитники часто пользуются его мыслями. Да как же не пользоваться? Вы защищаете убийцу, который купил не топор, а нож, не нож, а револьвер, не револьвер, а яд. Да вы будете преступником перед подсудимым, если не повторите того, что сказал защитник Зайцева о топоре подстрекателя. Сколько раз пришлось мне слышать с прокурорской трибуны заключительные слова обвинителя по делу Егора Емельянова!

Философские мысли, как и афоризмы практической мудрости, не только украшают речь, но и придают ей силу. Когда перед нами говорит человек остроумный и начитанный, его приятно послушать; когда говорит человек образованный, много думавший и знающий жизнь, его полезно слушать. И коронные судьи, и присяжные заседатели бывают весьма склонны преувеличивать свой ум и знание людей и пренебрежительно относятся к молодому товарищу прокурора или помощнику присяжного поверенного; они по большей части думают, что речи сторон – ненужная болтовня, что они сами понимают дело лучше ораторов и знают без них, как надо решить его. Но когда из юных уст раздаются суждения, достойные зрелого мужа или седого старика, это отношение быстро меняется. И в этом смысле именно внушительны общие мысли, а не разбор обстоятельств дела. Это объясняется просто. Способность к обобщениям есть одно из высших свойств нашего разума, и большинство людей обладает ею лишь в ограниченной мере; с другой стороны, уловить связь отдельного факта с общей мыслью может только тот, кто ясно усвоил ее, проникся ею; у другого новые факты могут скорее затемнить, чем осветить ее; этим объясняется, почему люди малоразвитые так боятся парадоксов.

Общие мысли привлекательны для слушателей еще и тем, что в них сказывается личность оратора. Терсит может говорить, но не может мыслить и чувствовать, как Патрокл; высокий ум "и говорит и мыслит благородно". В одной из речей А. Ф. Кони в Государственном совете есть следующее место: "Неправильно было бы сравнивать работу судьи с работой должностных лиц других присутственных мест. Как бы ни был предан своему делу и усерден управляющий контрольной или казенной палатой, он имеет право быть занят лишь в присутственные часы; кончились они – и он может всецело отдаться семье, знакомым, развлечениям, книгам или какому-нибудь любимому занятию. А судья, понимающий и исполняющий свой долг, когда свободен от умственной работы, от изучения дел, от раздумья о завтрашнем решении, от тревожных воспоминаний и проверки себя по поводу вчерашнего приговора?" – так мог сказать только тот, кто мог так подумать, а подумать мог только тот, кто испытал. Много ли найдется среди нас таких, для кого самая мысль не была вполне чуждой?

Я сказал, что общие мысли придают силу речи. Это объясняется тем, что, взятые в целом, присяжные смотрят на свое служение идеально и возвышенная мысль подчиняет их себе. Защитник сказал: "Если подсудимому не удастся быть привлекательным, то надо быть вдвое зорче к тому, чтобы дурное впечатление не повлияло на нравственную оценку его действий". Как только присяжные поймут такую мысль, она станет для них заповедью.

Чтобы обогатиться чужими афоризмами и выработать способность самому находить их, читайте Экклезиаста, Эпиктета, Паскаля, Ларошфуко, "Круг чтения" Толстого.

Есть мысли общие для всех времен и всех народов; есть такие вопросы, которые создаются условиями места и времени; есть вечные, неразрешимые вопросы о праве суда и наказания вообще, и есть такие, которые создаются столкновением существующего порядка судопроизводства с умственными и нравственными требованиями данного общества в определенную эпоху. Привожу несколько вопросов того и другого рода; они остаются нерешенными и донныне, и с ними приходится считаться.

1. В чем заключается цель наказания?

2. Можно ли оправдать подсудимого, когда срок его предварительного заключения больше

срока угрожающего ему наказания?

3. Можно ли оправдать подсудимого по соображению: на его месте я поступил бы так же, как он?

4. Может ли безупречное прошлое подсудимого служить основанием к оправданию?

5. Можно ли ставить ему в вину безнравственные средства защиты?

6. Можно ли оправдать подсудимого, потому что его семье грозит нищета, если он будет осужден *(65).

7. Можно ли осудить человека, убившего другого, чтобы избавиться от физических или нравственных истязаний со стороны убитого?

8. Можно ли оправдать второстепенного соучастника на том основании, что главный виновник остался безнаказанным вследствие небрежности или недобросовестности должностных лиц?

9. Можно ли оправдать подсудимого, когда преступление было вызвано безнаказанным преступлением должностного лица по отношению к самому подсудимому, его близким или целому кругу тех или иных лиц?

Такие же вечные или болезненно современные вопросы существуют и в области судопроизводства, например:

1. Заслуживает ли присяжное показание большего доверия, чем показание без присяги?

2. Какое значение могут иметь для данного процесса жестокие судебные ошибки прошлых времен и других народов?

3. Имеют ли присяжные заседатели нравственное право считаться с первым приговором по кассированному делу, если на судебном следствии выяснилось, что приговор был отменен неправильно, например, под предлогом нарушения, многократно признанного Сенатом за несущественное?

4. Имеют ли присяжные нравственное право на оправдательное решение вследствие пристрастного отношения председательствующего к подсудимому?

5. Имеют ли они нравственное право считаться со злонамеренным извращением порядка судопроизводства в государстве и сопряженными с этим произвольностью уголовного преследования и неравномерностью судебного возмездия?

Все эти и им подобные общие вопросы должны быть хорошо знакомы оратору и основательно продуманы им, чтобы он всегда мог говорить о них не только как сведущий законник, но как просвещенный сын своего времени. Мы должны изучить эти вопросы раз навсегда, чтобы пользоваться ими, смотря по обстоятельствам. В каждом процессе может возникнуть такой общий вопрос, и то или иное освещение его, устраняя или подтверждая основные положения оратора, может решить исход дела. Поэтому надо заранее устранить возможность быть застигнутым врасплох.

Эти общие рассуждения полезны еще и в другом отношении: они выводят оратора из затруднения в минуты нерешительности, случайной забывчивости, какой-нибудь неожиданности, вроде замечания со стороны председательствующего, и т. п. Перейдя на общую тему и подвигаясь, так сказать, по давно исхоженным тропинкам, он может оправиться от смущения, заглянуть без суетливости в свои заметки и незаметно вернуться к прерванному течению мыслей.

Удачно выраженные сентенции, особенно если форма их взята из обстоятельств дела, невольно запоминаются слушателями; у искусных ораторов они служат как бы заглавием или эпиграфом каждого отдела речи; запомнив ярлык, присяжные будут легко вспоминать и целое рассуждение. Вот несколько таких афоризмов: "нельзя ограждать себя от заразных болезней невинностью детей"; "звон бутылок привлекательнее, чем звон церковный"; "человек – полубог-

полуживотное"; "не страшно быть убитым, страшно убить".

Готовясь к обвинению или защите, судебный оратор должен уяснить себе три вопроса:

1. Что произошло и почему произошло?
2. Что надо доказать присяжным?
3. Чем можно оказать влияние на их решение?

То, что надо доказать, есть главное положение или главный вывод речи; то, что может иметь влияние на решение присяжных, я, не гнушаясь старым сравнением, назову ее нервами. В теории главный вывод обвинения всегда один: подсудимый виновен в таком-то преступлении; главный вывод защиты также один: подсудимый в этом преступлении не виновен. Поэтому теоретически оба оратора должны доказать все условия, необходимые для такого вывода; но на практике задача суживается, и по большей части спорный пункт сосредоточивается где-нибудь на полпути, в доказательстве одного или нескольких отдельных положений, составляющих звенья общего логического рассуждения оратора; заключительный вывод подразумевается или указывается лишь в общих чертах. Возьмем пример. Подсудимый обвиняется в подлоге расписки на 12 тысяч рублей; подлог сделан искусно. Теоретически главное положение обвинения – подсудимый виновен в том, что подделал расписку; но возможно, что обвинитель ограничит свою задачу доказательством:

а) того, что подсудимый не имел в своем распоряжении 12 тысяч рублей, которые будто бы ссудил потерпевшему, и б) того, что, если расписка подложна, никто иной, кроме подсудимого, не мог совершить подлога. Главный вывод защитника в этом деле – подсудимый не совершал подлога; но защитник может ограничиться доказательством того, что расписка могла быть подделана другим лицом и подозрение против последнего представляется более основательным, чем против подсудимого.

Связь главного положения или вывода речи с тем, что я называю главными нервами дела, может быть очень близкой и более отдаленной. В упомянутом выше деле поручика ла Ронсьера, осужденного в 1835 году за покушение на изнасилование дочери начальника кавалерийского училища в Сомюре Марии Моррель, главный нерв защиты совпадает с одним из ее отдельных положений. Это положение – Мария Моррель лжет. Главный нерв – Мария Моррель страдает истерией и лжет не злонамеренно, а как больная. Эта мысль примиряет защитников Марии Моррель, то есть врагов подсудимого, с его защитниками; она указывает присяжным возможность оправдать подсудимого, не оскорбляя семьи девушки. В речи Н. П. Карабчевского по делу Николая Кашина, обвинявшегося в убийстве жены, главное (неверное) положение почти совпадает с главным (верным) нервом защиты: главное положение – убийство жены было единственным средством нравственного возрождения подсудимого, это неверно; главный нерв – убийство было средством его нравственного возрождения, это верно.– В деле доктора Корабевича (1ч. 1462 ст. и 1463 ст. Уложения о наказаниях) главное положение обвинения – девушка умерла от преступной операции, совершенной Корабевичем; главный нерв не в этом и даже не в том, что он вообще занимался такими операциями, а в том, что он делал их ради наживы; главный нерв целесообразной, хотя безнравственной, защиты заключался бы в том, что врачу трудно отказать женщине в противозаконной помощи.– В деле о подлоге завещания от имени штабс-капитана Седкова главное положение обвинения – Седков был мертв в то время, когда писалось завещание; главный нерв – подлог направлен против тех, кто имел и законное, и нравственное право на наследство, и в пользу той, которая не имела ни того, ни другого.

Главное положение составляет часть формального логического рассуждения о виновности подсудимого, это рассуждение составляется из ряда отдельных последовательных положений.

Всякий может найти их чисто рассудочным путем, перебирая в обратном порядке части одного или нескольких силлогизмов. В действительности и этого не приходится делать, так как главный спорный вопрос и условия его решения почти всегда сами бросаются в глаза. Не то – нервы дела; они могут быть совсем в стороне от логического рассуждения; чтобы находить их, нужен живой ум и знание людей.

Указанные выше три разветвления работы в приготовлении оратора к судебному состязанию тесно связаны единством его цели. Вследствие этого, а равно и по свойствам человеческого мышления, останавливаясь мысленно на той или другой из этих трех задач (изучение дела, разбор доказательств, разбор средств убеждения), оратор не может вполне забыть о прочих; они сталкиваются и переплетаются у него в голове. В этом нет беды, но, чтобы твердо владеть оружием в предстоящем бою, оратор должен ясно разделить их с самого начала.

Само собою разумеется, что следует начать с педантичного изучения предварительного следствия. Следует уяснить себе и твердо запомнить все обстоятельства дела, не различая крупных фактов от мелочей, ибо заранее нельзя знать, что окажется важным и что лишенным значения. "Первая, азбучная обязанность публичного обвинителя, – говорит М. Ф. Громницкий [*\(67\)](#), – изучение дела по предварительному следствию. Изучение это, безусловно, должно быть самое внимательное, всестороннее, от первой страницы до последней, без пропуска самой с виду ничтожной бумаги из полицейского, например, дознания или из каких-либо приложений к делу. Самая ничтожная бумага может неожиданно служить на суде материалом в разъяснение обстоятельств дела, может дать указание на сильные или слабые стороны защиты, может дать, наконец, иное освещение имеющим значение в деле фактам". Указания эти, конечно, в равной мере применимы и к защите.

Изучив акты следствия, узнав все то, что дано, оратор должен по возможности найти ответы на все существенные недомолвки следователя, вольные и невольные. Знать дело – вовсе не значит знать, что было. Теперь только начинается настоящая работа. Есть по-своему счастливые люди, для которых все сразу бывает ясно; это люди, которых счастье служит их противнику; для других чуть не каждая страница дела бывает полна загадками. Это тоже крайность. Будьте умеренно любопытны и разумно недоверчивы. Он убил и утверждает, что убил по злобе. А что-то говорит вам, что была другая причина; он откровенно рассказывает обо всем, но не хочет сказать о двух днях за неделю до события; почему? где он был? что делал? Факты дела подсказывают, что поджечь должен был тот; почему поджег этот? Два свидетеля дают правдивые и согласные показания; почему так резко противоречат они друг другу в одном незначительном обстоятельстве? Такие вопросы не должны оставаться без ответа. Но как найти ключи к этим разнообразным загадкам?

Я не думаю, чтобы можно было научиться проницательности, но полагаю, что можно приучить себя к последовательности в размышлении и что это весьма важное условие успеха для нас (хотя оно и не соблюдается большинством). Вспомним знаменитое в свое время "Великое Искусство" Раймунда Луллия, столь увлекавшее впоследствии удивительного Джордано Бруно. Оно было основано на механическом сочетании различных основных понятий, расположенных схематически на концентрических кругах, вращавшихся независимо один от другого. Система Луллия, как всякое искание абсолютного знания, давно забыта наукой; но мне представляется, что метод "Великого Искусства" может быть не совсем бесполезным для судебного оратора.

Каким образом? Это будет видно ниже; прежде чем искать удачного сочетания фактов, нужно знать самые факты. Поэтому первое правило *meditationis* – размышления о речи – заключается в том, чтобы уяснить себе данные предварительного следствия.

1. Спросите себя, что было: *quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando*? Кто, что, где, когда, с какой целью, каким способом, с какими соучастниками? Каждое из этих обстоятельств может осветить вам ту или иную сторону дела. Отделите соучастников друг от друга; определите точно, что и почему, с какой целью сделал каждый из них.

В книге "De Inventione" [*\(68\)](#) Цицерон говорит: "Чтобы легче найти нужные соображения, следует как можно чаще обдумывать как свое объяснение события, так и объяснение противника (переведя на наш язык, можно сказать: сравнить данные, установленные предварительным следствием, с объяснениями обвиняемого) и, отметив сомнительное в том и другом, обдумать: почему, с какой целью, с какими шансами на успех было совершено преступление; почему был

избран именно этот способ, а не другой; почему исполнителем был этот, а не тот; почему действовал виновник один или почему избрал такого пособника; почему не было сообщников преступления, почему был сообщник, почему был именно этот" и т. п. Посмотрите, как много дали обвинителю в деле о подлоге акций Тамбовско-Козловской железной дороги размышления о том, почему сообщниками зачинщика Колосова явились Феликс и Александр Ярошевичи.

* * *

2. Отделите установленные факты от сомнительных и от неизвестного.

По свойству всякой человеческой работы, и особенно по условиям деятельности наших следователей, в протоколах предварительного следствия почти не бывает достоверного. У нас есть превосходные следователи и бывают предварительные следствия, в которых видны не только выдающийся ум и настойчивая работа, но и важнейшее искусство неискоренимо закреплять на бумаге установленные обстоятельства. Таково, например, предварительное следствие по второму делу доктора Корабевича. Про такие дела можно сказать, что они не только созданы следователем, но им же главным образом и проведены до конца, то есть до ответа присяжных. Обвинителю остается только смотреть за тем, чтобы не повредить делу каким-нибудь промахом, защите – играть на случайностях в составе присяжных или коронных членов присутствия. Но таких дел у нас очень немного. Во многих случаях предварительное следствие бывает хуже полицейского дознания; по большей части его можно назвать только посредственным. Если в деле есть акт осмотра пожарища, несомненно, что был пожар; но если по протоколам два свидетеля удостоверяют, что заметили сильный запах керосина, не удивляйтесь, когда на судебном следствии один заявит, что никакого особенного запаха не было, а другой – что пахла тряпка, которой кухарка вытирала жестянку для керосина. Если в деле есть акт вскрытия женского трупа, нет сомнения, что женщина умерла, но если трое экспертов категорически доказали, что умершая не могла повеситься, не удивляйтесь тому, что трое других столь же решительно докажут присяжным противное и один или двое из числа первых согласятся с ними. В Петербурге был случай, когда защитник взял в руку нож – подсудимый обвинялся в покушении на убийство – и двумя пальцами согнул его пополам: следователь не заметил, что лезвие было жестяное.

Возвращая председателю вопросный лист по делу об убийстве Александра Мерка (1908 г.), старшина присяжных спросил, может ли он от лица всего их состава заявить, что они возмущены непозволительной небрежностью предварительного следствия. По своему содержанию это преступление представляло завлекательнейшую задачу для добросовестного следователя; это было одно из самых интересных дел в Петербурге за последнее время; по милости судебного следователя своим оправдательным приговором оно обратилось в издевательство над правосудием и над смертью ни в чем не повинного юноши. Подобных дел у нас, к сожалению, бывает слишком много.

Итак, общее, основное правило при изучении предварительного следствия таково: достоверно только то, что на таком-то листе дела написано то-то; в каждой строке может оказаться ошибка. Обстоятельство это имеет практическое значение при составлении речи: в основную схему ее могут быть введены только вполне надежные факты.

Конечно, судебное следствие может и независимо от ошибок следователя изменить многое в предварительном. Но в каждом деле здравый смысл укажет оратору, что можно считать достоверным и где следует допустить возможность ошибки. Можно доказать, что пешеход двигался быстрее всадника, что грамотный намеренно делал ошибки в правописании, здоровый притворился сумасшедшим; что одаренный слухом мог не слышать, что зрячий не мог видеть. Но

нельзя доказать, что предельная скорость человека больше предельной скорости лошади, что безграмотный человек может соблюдать орфографию; что душевнобольной одновременно страдает прирожденным идиотизмом и паранойей, что глухой слышит или слепой увидал. Можно утверждать, что человек, одаренный хорошей памятью, забыл что-нибудь, но нельзя доказать, что он не знал о данном факте, если он собственноручно написал о нем другому; можно доказать, что левша застрелился правой рукой, но нельзя доказать, что он застрелился, если у него оказалось три раны и каждая должна была вызвать мгновенную смерть.

* * *

3. Не удовлетворяйтесь готовыми объяснениями фактов. Все ошибаются: и потерпевшие, и полиция, и свидетель, и следователь. В 1902 году в Англии одна женщина была осуждена за убийство своей хозяйки. На суде было установлено, что в доме не было никого, кроме убитой и подсудимой, и что все окна и двери были заперты изнутри. Однако из позднейшего признания одного из настоящих двух убийц выяснилось, что они проникли внутрь дома по доске, перекинутой через узкий переулок из окон верхнего этажа соседнего дома в верхний этаж дома убитой, и, совершив убийство, скрылись тем же способом [*\(69\)](#). Как не сопоставить этого случая с делом об убийстве генеральши Болдыревой? Одной из неопровержимых улик против Александра Тальма признавалось то обстоятельство, что в квартиру покойной нельзя было проникнуть иначе, как со двора. Тальма был присужден к каторге, а через три года Александр Карпов на глазах у судей и присяжных без труда пролез в форточку окна, выходящего из спальни Болдыревой в соседний переулок. По этим примерам можно судить о том, какие грубые ошибки могут делать и опытный следователь, производящий следствие под наблюдением прокурора окружного суда, и присяжные заседатели, руководимые осторожнейшим английским судьей. Признания людей осужденных часто открывают, что действительные подробности преступления во многом отличались от того, что казалось бесспорным на суде. В известной книге английского судьи W. Wills "An Essay on the principles of Circumstantial Evidence" приведены многие случаи судебных ошибок, поучительные для всякого обвинителя и защитника [*\(70\)](#).

* * *

4. Ищите внутреннюю связь событий. Помните, что ее объяснение заключается именно в тех фактах, которые кажутся необъяснимыми или безразличными. Иногда для этого нужна большая проницательность, иногда трудность заключается в том, что объяснение слишком просто. В известном рассказе Эдгара По "Убийство на улице Морг" несколько человек, слышавших один и тот же звук, принимают его за восклицание, произнесенное на чужом языке; при этом каждый новый свидетель называет новый язык. Эти показания противоречат друг другу; противоречие кажется необъяснимым, но оно объясняется тем, что свидетели слышали голос обезьяны, а не человека. Конечно, угадать это нелегко. В том же рассказе всех сбивает с толку нечеловеческая жестокость убийства; между тем она-то и указывает, что оно совершено не человеком; это просто.

Не торопитесь признавать факты безразличными. Коль скоро вы говорите: подсудимый почему-то пошел туда-то, свидетель почему-то ушел, потерпевший почему-то не говорит об этом, остановитесь и постарайтесь объяснить, почему. Подумайте, не объясняются ли все эти сомнения одним общим ответом.

Ищите незримого виновника. В другом рассказе Эдгара По – "Тайна Марии Роже"

расследование преступления затрудняется тем, что убийца, чтобы навести полицию на ложный след, печатал вымышленные сведения в газетах. Известно, что рассказ этот написан по поводу действительного происшествия: Эдгар По разгадал прием убийцы и направил розыски против виновного. Но и менее блестящие люди могут сделать не хуже того, что сделал гениальный писатель. Зимой 1909 года в Петербурге разбиралось дело крестьянина Ивана Харитонов, обвинявшегося в убийстве крестьянина Жукова. В деле было четыре факта: 1) мать зарезанного Жукова запретила своему другому сыну разыскивать убийцу из опасения, чтобы не убили и его, 2) перед самым убийством убитый ранил ножом некоего Михаила Сатану, любовница которого указала на подсудимого Харитонova как на виновника; этот Сатана скрылся и остался неразысканным; 3) двое свидетелей давали указание на виновность третьего, по-видимому, вымышленного лица и 4) подсудимый признал себя виновным при первом допросе, но при дальнейшем производстве следствия отказался от своего признания. Эти факты противоречили один другому, и прямая улика – сознание – могла погубить подсудимого. Защитник, молодой человек, сумел найти скрытую связь между фактами. Он сказал присяжным: убийца – Михаил Сатана; подсудимый взял на себя вину, чтобы отвлечь подозрение от влиятельного товарища; свидетели знали это, но, как и мать убитого, боялись настоящего убийцы; а вместе с тем они знали, что полиция остановилась на ложном следу; Харитонов был арестован; чтобы спасти невинного, не выдавая виновного, они назвали третье, вымышленное и потому никому не опасное лицо.

Обсудите обстоятельства, благоприятствовавшие преступлению и затруднявшие его совершение.

* * *

5. Найдите для каждого факта то освещение и объяснение, которое наиболее выгодно для вас, для вашего противника. Цицерон учил: "Выслушав своего клиента, я вступаю с ним в спор от имени его противника; он возражает и, таким образом, высказывает мне все, что ему кажется полезным для дела; когда он ушел, я воплощаю в себе три лица: себя, своего противника и судью, всячески стараясь быть вполне беспристрастным". Это важно не для того, чтобы предугадать доводы противника, а чтобы проверить прочность своих.

* * *

6. Отделите более значительные факты дела, расположите их в последовательности по времени и, остановившись на каждом, посмотрите кругом, посмотрите назад, посмотрите вперед. Поставьте себя в положение подсудимого и взгляните вокруг него его глазами перед преступлением, в момент преступления, после него; сделайте то же по отношению к каждому из соучастников, к пострадавшим, к свидетелям, роль которых для вас не вполне понятна. Уясните себе вероятные поступки, встречи и переговоры преступника с жертвой или соучастников преступления между собой в разное время; обратите внимание на то, не переменились ли взаимные отношения их после преступления.

Отношение участников события к отдельным фактам в разные моменты имеет большое значение. В грубых обманах, например, в подлогах под предлогом учета дружеских векселей, в злоупотреблениях с денежными залогами, в обыкновенных мошенничествах и растратах обычным доводом защиты бывает утверждение, что потерпевший не был обманут, а добровольно соглашался на известные операции по небрежности или по расчету. Это доказывается тем, что подсудимый не мог бы решиться на столь грубый обман, а потерпевший не мог бы не заметить

его. Но если перенестись к тому времени, когда обман еще не был обнаружен, доверчивость потерпевшего становится не только допустимой, правдоподобной, но и вероятной, а иногда и очевидной.

* * *

7. Меняйте предполагаемые условия места и времени.

Это может открыть вам то, что заинтересованные люди сумели скрыть от следователя. Действительность факта определяется его совпадением в пространстве и времени; причинная связь двух фактов, кроме того, – их последовательностью. В 12 часов 1 января 1909 г. я мог быть на любой улице Петербурга; но если в это время я был на углу Морской и Невского, то ни в каком другом месте быть не мог. Чтобы найти обман или ошибку в толковании фактов, может быть достаточно изменить одно из упомянутых условий или изменить последовательность событий. Ольга Штейн распространяла слух об открывшемся будто бы для нее миллионном наследстве во Франции; в подтверждение этого вымысла она составила подложную телеграмму на свое имя от имени консульства. Подлог был сделан так грубо, что бросался в глаза при первом взгляде; его нельзя было не заметить. Судившийся вместе с Ольгой Штейн бывший присяжный поверенный фон Д. обвинялся, между прочим, в покушении на мошенничество посредством этой телеграммы. Он доказывал свое добросовестное заблуждение тем, что, убедившись из разговоров с другими лицами в ее подложности и поняв обман, он немедленно заявил об этом одному из высших чиновников Министерства иностранных дел. На следствии было установлено, что он грозил своей соучастнице заявить о подлоге министру юстиции и в Министерство иностранных дел прежде разговора с людьми, убедившими его в подложности телеграммы. Таким образом, выяснилось, что он грозил доносом, потому что знал о подлоге, а не пошел с доносом вследствие того, что узнал о нем.

Доктор Корабевич не отрицал противозаконной операции, от которой умерла его пациентка; факт операции входил в его защиту; но он утверждал, что она была совершена другим врачом не у него в кабинете, а в убежище акушерки Гертнер.

* * *

8. Ищите противоречий в фактах, не согласных с вашим пониманием дела.

В деле Ольги Штейн было установлено, что фон Д. в продолжение нескольких месяцев носил у себя в кармане упомянутую выше подложную телеграмму и показывал ее разным лицам, выражая уверенность в том, что наследство действительно существовало; на суде он заявил, что считал телеграмму подлинной. Один из потерпевших, Зелинский, показал, что, когда в разговоре, происходившем у него на квартире, он указал фон Д. на явную несообразность уверений Ольги Штейн об этом наследстве, тот не поверил ему; когда же, после долгих рассуждений свидетеля, фон Д. понял наконец, что был обманут, он схватился за голову, стал рыдать, говорил, что лишается чести, и, потеряв сознание, упал на диван; чтобы вернуть ему силы, свидетель дал ему стакан кофе. Защитник фон Д. спросил Зелинского, не было ли все это комедией; свидетель с очевидной искренностью сказал: нет; это было действительное отчаяние и настоящий обморок. На другой день суд огласил показание неявившегося свидетеля – присяжного поверенного Бентковского. В этом показании значилось, что фон Д. приходил на квартиру Бентковского и показывал ему телеграмму о парижском наследстве; взглянув на нее, Бентковский сразу заметил, что текст ее написан по подчищенному месту; он сказал об этом своему посетителю; фон Д. "был страшно поражен, подбежал к окну... рассматривал телеграмму

и, убедившись, по-видимому, в справедливости догадки о подлоге, опустился на кресло со словами: "Теперь я все понимаю; если бы вы знали, что я потерял! все пропало, все!" Сидя в кресле, фон Д. почувствовал себя дурно, и свидетель должен был дать ему воды. "Он производил впечатление человека, глубоко и неожиданно пораженного". Нет сомнения, что если бы этого свидетеля спросили, не комедия ли это, он, как Зелинский, сказал бы решительно: нет. Оба свидетеля давали вполне правдивые показания; оба удостоверяли факты, в отдельности вполне правдоподобные; но сопоставление этих фактов приводило к явному противоречию. Если фон Д. был поражен неожиданным для него открытием в квартире Бентковского, он не мог быть поражен тем же открытием у Зелинского, и наоборот. Чем более естественным казался тому и другому обморок фон Д., тем выше следует ценить его сценические способности. Он, несомненно, лгал или тому, или другому, а другие обстоятельства указывали, что лгал обоим. Назовите это психологией, назовите здравым смыслом – все равно; это – неопровержимая улика, и, так как фон Д. выманил посредством этой телеграммы деньги у своего знакомого после своих обмороков, одно это обстоятельство доказывало преступление.

* * *

9. Примите во внимание то, чего не было.

В плохом рассказе посредственного современного писателя обстановка происшествия заставляет предполагать преступление; на самом деле человек убит лошадью. В разговоре героя с полицейским сыщиком встречается остроумное замечание:

"Обратите внимание на замечательный случай с собакой". – "Позвольте, с собакой ничего не случилось". – "В этом-то и заключается замечательный случай".

Собака не лаяла, потому что не чужой человек, а свой тренер хотел увести лошадь из хозяйских конюшен, и лошадь убила его.

В речи о подлоге завещания от имени штабс-капитана Седкова обвинитель говорит: "Если утром с мужем сделался только припадок, то он должен был поразить жену своею продолжительностью. Он должен был напомнить о входящей в дверь смерти. Но где же естественная в таком случае посылка за священником, за доктором, где испуг, беспокойство, тревога?"

То, чего не было!

В 1872 году в Лондоне Эдуард Кларк, впоследствии генерал-атторней, защищал Патрика Стонтонна, обвинявшегося вместе со своей женой, свояченицей и братом в предумышленном убийстве слабоумной жены последнего, жившей в доме Патрика и умершей, по заключению врачей, голодной смертью.

Оратор разбирает показания главной свидетельницы, горничной Клары Броун, о небрежном уходе за покойной в мельчайших подробностях и приводит факты, опровергающие некоторые части ее показаний. Затем он говорит:

"Итак, все, что говорила Клара Броун об уборке комнаты, о чесании волос, рукомойнике, кровати, о постельных принадлежностях, все это исчезает из дела. И разве положение вещей, как оно косвенно вытекает из показания Клары Броун, не является сильным опровержением всего рассказа?"

"Рассказ этот, по моему мнению, не так важен тем, что она говорит, как тем, чего она не говорит. Если вам предлагают признать, что намеренно или по небрежности эту бедную женщину заморили голодом в то время, когда она жила в доме Патрика Стонтонна, что намерение это приводилось в исполнение в течение продолжительного времени, то что должны были бы вы найти в объяснениях Клары Броун? Не должны ли бы вы услышать, что Гарриет

Стонтон просила Клару Броун доставать ей еду? Не должны ли бы вы услышать, что она пыталась бежать? Не должны ли бы вы услышать, что сама Клара Броун помогала ей и доставляла ей пищу, когда супругов Стонтонов не было дома? В показании Клары Броун нет ни единого слова о том, чтобы Гарриет Стонтон жаловалась на голод; есть только указания на жалобы, что ей не дают есть досыта; притом эти жалобы, судя по рассказу Клары Броун, повторялись лишь от времени до времени. В деле нет никаких указаний на такие жалобы или на попытку бежать, а также нет – и я очень прошу вас запомнить это обстоятельство потому, что оно особенно важно по отношению к заключению врачей, – в показаниях Клары Броун, нет ни слова о каких-либо жалобах госпожи Стонтон на страдания или на болезнь и нет требования ее о том, чтобы к ней был приглашен врач" [*\(71\)](#) .

Во второй своей речи по делу ла Ронсьера Ше д'Эст Анж говорил: "Отчего не кричала она? – восклицал мой противник. – О! бедная девушка хотела схоронить в вечном молчании опозорившее ее преступление; она укрывалась своим девическим стыдом. Покрывая свой позор и свою наготу, она говорила: меня видели!.. Это возможно. Раз преступление было совершено, возможно, что она решила молчать. Но, я спрашиваю, ранее, до преступления, когда ей еще нечего скрывать, когда она, напротив, должна всего бояться, отчего тогда не кричит она? Если она находит в себе мужество, чтобы защищаться, присутствие духа, чтобы все видеть, все слышать, все запомнить, отчего же не кричит она? Вот о чем я вас спрашиваю, и все ваше красноречие не в силах дать мне ответа".

"А мисс Аллен?"

"Удивительно крепко спит мисс Аллен. Весь этот шум, этот страшный шум не может разбудить ее. Вся эта борьба, со всеми ее подробностями, возгласами, происходила тут, в нескольких шагах от нее, почти в самой ее комнате; дверь сначала была открыта, потом едва притворена; и она ничего не слыхала. Боже мой! Мария зовет на помощь! Бегите, бегите! О ужас! запирают дверь, эту дверь, которая всегда остается открытой; раздаются два голоса!.. Два голоса! Несчастливая Мария! Ее оскорбляют, ее хотят убить! Бегите, стучитесь в дверь, зовите на помощь, кричите! Да кричите же, мисс Аллен!.."

"Ни звука!.."

Нетрудно представить себе впечатление слушателей при этих словах. То, чего не было, также может быть доказательством, и доказательством неотразимым.

Таковы некоторые из руководящих указаний в поисках истины; конечно, у каждого оратора найдутся и другие приемы этого рода.

Наряду с размышлениями о загадках дела, надо думать и о картинах, необходимых для речи. Эти картины создаются эпизодами самого дела. Но как быть, если в деле нет картинных эпизодов? Чего же проще? Надо сочинить их. Представьте себе виновников драмы и пострадавших от нее, их окружающих, родных и близких при встречах задолго до преступления, в разные дни после того, как оно было обнаружено, перед судом и после суда. Уясните себе их вероятные поступки, угрозы, обещания и попреки при этих встречах; рисуйте их сытыми и голодными, озлобленными и любящими. Подсудимый – разорившийся богач; перенеситесь с ним в утраченную роскошную обстановку; он создал себе состояние; верните его в былую нищету. Вы будете говорить о мошенничестве – возьмите встречу, где сказались дружба и лицемерие, доверие и ложь обманутого и обманщика; о поджоге – изобразите хозяина-поджигателя днем у его кассы за счетами и книгами и ночью у той же кассы с фителем и спичками в руках; в первую картину внесите все его расчеты о выгодах поджога; во второй сравните потревоженное и заботливо унесенное золото с жильцами соседних квартир, безмятежно спящими рядом с крадущимся пламенем...

Вы говорите об убийстве невесты – представьте обряд венчания, как рисовала его себе погибшая девушка или отец ее, и его горе над ее могилой... Идите из леса в город, из петербургских улиц в деревню, из барского особняка в кабак и в ночлежный дом, из уютного угла, согретого и освещенного домашними радостями, к тюремным воротам, где в зимнюю вьюгу, застыв от холода и отчаяния, стоят мать и дети, лишенные своего кормильца. Ищите в этих воображаемых и действительных сценах таких случайностей, которые в сочетании с теми или иными подробностями дела дали бы вам новые, эффектные картины.

Просмотрите речь С. А. Андреевского по делу Андреева, прочтите речь Цицерона "De Suppliciiis" [*\(72\)](#), и увидите, что достигается этим; ищите сами и вы изумитесь удаче ваших поисков.

Некий Ласточкин, заведовавший уличной продажей газет в Москве, растратил несколько тысяч рублей, данных ему разносчиками на ведение предприятия. Обвинитель сказал: "Я смотрел на этих людей, которые теперь протягивают вам руку за помощью, и думал, что раньше когда-то видел их. Я видел их на московских перекрестках и мостовых, в дождь и в холод, у подъезда московских ресторанов, в которых Ласточкин проживал с женщинами их трудовые деньги, заработанные ими не для себя, для их голодных детей и жен".

Отнюдь не следует думать, что характерные эпизоды можно брать только среди фактов, установленных на суде. Напротив того; это большею частью бывают именно такие эпизоды, которые недоступны взгляду следователя, присяжного и судьи, потому что они боятся света. Притом то, что присяжные слышали и видали сами, уже и неинтересно для них. А если оратор сумеет показать им то, что от них хотят утаить, они охотно послушают его. Бывает разве в действительности, чтобы хозяин просил приказчика поджечь застрахованный товар в незастрахованном доме в присутствии своего домовладельца и местного полицейского пристава? Станет ли подпольный адвокат учить нанятого пропойцу его показаниям на суде в присутствии участкового товарища прокурора?

В Московском суде разбиралось дело об отставном рядовом гусарского полка Семенове, обвинявшемся по 1532 ст. Уложения. Он служил в качестве дворника у скромного чиновника-вдовца, семья которого состояла из старухи-матери, почти впавшей в детство, девушки-дочери и дальней родственницы, сорокалетней старой девы, слепой. Вполне сложившись физически,

Марья И. в умственном отношении развивалась медленно; свидетели в один голос удостоверили, что в 14 лет она была совершенным ребенком; поведение ее на суде при передаче некоторых безобразных обстоятельств было так свободно, что эта непринужденность могла объясняться или невероятной развращенностью, или полной наивностью. Отец ее проводил на службе целые дни и возвращался домой поздно вечером; надзор за девушкой со стороны дряхлой старухи-бабки и слепой тетки был слабый. Ее увлекали фельетонные романы и страсть к театру; с другой стороны, она почти никогда не отлучалась из дому. Семенов, зная, что у девушки есть приданое, решил соблазнить ее, чтобы затем вынудить отца отдать ее за него замуж. Красивый и умный мужчина, он воспользовался благоприятными условиями, чтобы распалить воображение девушки рассказами о своей блестящей службе в гвардейском полку и картинами мнимой роскоши, ожидавшей ее после свадьбы; девушка сильно привязалась к нему и совершенно подчинилась его влиянию. Когда ее отец прогнал дворника за пьянство, она по первому требованию бежала к нему из родного дома. Семенов отвез ее в одну из подмосковных деревень и там, в ночлежном доме, лишил ее невинности. Затем, чтобы снять с себя ответственность за обольщение, он убедил ее в ту же ночь написать ему длинное письмо, в котором она якобы еще из дому умоляла его не покидать ее и взять с собою. Письмо это было переполнено самыми ласковыми обращениями и излияниями любви: "Милый, дорогой мой,— писала она,— я мучаюсь ужасно, я знаю, что ты уходишь, я боюсь, что ты не исполнишь своего обещания и не возьмешь меня с собою. Дорогой мой! Не брось меня здесь, я без тебя жить не могу, меня мучит тоска. Бери же, бери меня скорей..." и т. д.

Обвинитель прочел целиком все это письмо, оттеняя полной искренностью все нежные выражения, как бы забыв о назначении этих вымышленных признаний. Присяжные насторожились, один из членов суда встревоженно закачал головою; казалось, что товарищ прокурора намеренно губит дело. Он окончил чтение и, слегка понизив тон, заговорил голосом, отражавшим более глубокое волнение: "Вы знаете,— сказал он,— в какую минуту и для чего было написано это письмо. Девушка, никогда не покидавшая родительского крова, выросшая и воспитанная, как в монастырской келье, была брошена на грязную койку ночлежного дома, рядом с пьяницами и бродягами; в этом притоне, в то время, когда за стеною раздаются песни и ругательства ватаги воров и публичных женщин, грубый развратник внушает только что опозоренной им девушке письмо, которое должно снять с него вину за его возмутительный поступок. И что же? Стараясь всеми силами очернить себя, стремясь всячески подчеркнуть свое падение, ложно обвиняя себя в том, что она будто бы сама навязалась соблазнителю, эта девушка в каждой строке, в каждом слове выказывает свою нравственную чистоту, свою детски наивную любовь и полное подчинение своего ума и сердца развратителю".

Весь драматизм этого дела выражен этой яркой бытовой картиной и тонким психологическим штрихом.

Итак, и отдельные образы, и общие картины найдутся без труда. Как рисовать их? На тысячу ладов! Примерьте несколько раз, и без труда найдется нужный прием.

Если свидетель, бывший очевидцем известного происшествия, передает о нем в живом рассказе, то его показание следует оставить неприкосновенным. В исключительном случае оратор может повторить его дословно; но отнюдь нельзя пересказывать такого показания, как постоянно делают у нас; в этом пересказе описание уже теряет свою яркость.

Два подростка, двенадцати и четырнадцати лет, обвинялись в поджоге магазина с застрахованным товаром по подстрекательству владельца; оба сознались на судебном следствии, и один из них передал разговор их между собой, когда они остались на ночь в пустой лавке для исполнения хозяйского поручения.

— Васька!

- Что?
- Хозяин велел поджечь товар...
- Что ты врешь?
- Чего вру? Велел...
- Страшно...
- И мне страшно. Велел... и т. д.

Мальчик говорил отрывистым, испуганным шепотом, не глядя на присяжных. Он, видимо, переживал вновь свое состояние перед поджогом; казалось, и тут его колотила лихорадка. Обвинителю, конечно, оставалось только повторить это признание слово в слово. Если бы присяжные собственными глазами видели, как мальчики разложили тряпки, стружки, разлили керосин и подложили огонь, они не испытали бы того волнения, какое вызвал в них рассказ жалкого ребенка.

В большинстве случаев, однако, свидетели дают отрывочные и бесцветные объяснения, неудачные ответы, а не картины. Не всякому дано и не всякий обязан быть искусным рассказчиком; оратор обязан обладать этим нехитрым умением. Когда факты картинны сами по себе, их надо передать с полной непосредственностью, как можно проще; если в событии недостает красок, оратор должен найти их.

В маленькой усадьбе, на краю города, жила старуха с девушкой-прислугой и дворником. К ним пришел ночевать знакомый мужик; его поместили в дворницкой. Ночью он убил дворника и стал ломиться к женщинам; старуха в испуге металась по сеням, девушка ухватилась за расшатанную дверь и прижалась к косяку, чтобы удержать ее на запоре. Убийца разбил стеклянный верх двери, просунул руку в отверстие и, поймав несчастную за волосы, тянулся к ней с топором в другой руке. Обвинитель говорил это присяжным так, как написано здесь; он только понизил голос и под влиянием волнения говорил с расстановкой; но в зале прошел холод ужаса. Всякий искусственный прием мог бы только ослабить впечатление.

В этих простых описаниях сильных сцен следует иметь в виду одно: чтобы произвести впечатление, они не должны быть слишком кратки. Но подробностей не надо; они уже известны слушателям, и картина, которую вы рисуете, сложится в их воображении по двум-трем чертам.

Если событие яркое, но обыкновенное, описание должно быть заменено быстрым наброском.

Возьмем одно из тех многочисленных дел, где истина остается недоступной ни суду, ни прокурору, ни присяжным. Юноша Александр Мерк увлекся молоденькой мастерицей Антоновой. Его родители сдали ей комнату у себя в квартире. Потом он охладел к ней, а его дядя по матери, Никифоров, страстно влюбился в нее. Девушка дошла до такой ненависти к Мерку, что требовала от Никифорова яда для отравы, и кончила тем, что ценою своей любви выманила у него револьвер. Ночью 31 декабря 1906 г. они втроем встречали Новый год; в два часа ночи Антонова прибежала в дворницкую и заявила, что Никифоров в ссоре застрелил Мерка. Следствием было установлено, что во время убийства у Никифорова и Антоновой было два револьвера; один из них исчез. Никифоров утверждал, что убийство было совершено им без соучастия Антоновой; но они были преданы суду по 13 и 1452 ст. Уложения. Как передаст обвинитель сцену преступления? Конечно, без затруднения. Что там было? – спросит он; если бы кто из нас был случайным свидетелем смерти Александра Мерка, что увидал бы он? Двух мужчин и девушку за ужином в известной вам домашней обстановке. Принужденная веселость разговора, смутная тревога юноши, может быть, предчувствующего конец, неподвижность другого полупьяного собеседника; раз-другой – злобный огонек нетерпения в глазах девушки, и вдруг – у нее в руке револьвер. Выстрел, другой, и раненый юноша хватается за голову. Представим себе, что у обвинителя твердо сложилось убеждение, что стреляли оба: и

Никифоров, и Антонова. Это подтверждалось пропажей второго револьвера; скрыть его можно было только с целью утаить, что из него также был произведен выстрел. Вместо слов: у нее, обвинитель сказал бы: у обоих, и в приведенных выше трех строках также было бы сказано все, что нужно. Ибо надо только указать направление и дать толчок воображению слушателей; остальное – их дело. В обоих случаях убийство рисуется перед глазами быстро, живо, отчетливо; воображение не стеснено навязчивой точностью описания и потому работает свободно и легко. Несомненно, что каждый из присяжных увидал бы сцену не так, как все прочие. Но каждое из четырнадцати изображений, отличаясь в мелочах, своими существенными чертами вполне будет соответствовать словам прокурора. Этого мало. Присяжные знают, что обвинитель не может сказать им, кто попал, кто промахнулся. Но обвинитель убежден, что нравственной виновницей была женщина; тогда ранее отмеченные им факты и соображения сами собою подскажут воображению присяжных, что она стреляла спокойно, наведя дуло на ненавистного юношу, стреляла, чтобы убить, а пьяный сообщник ее стрелял наудачу, стрелял, не зная, для чего. Возьмем ту же сцену с точки зрения защиты. Вы знаете, господа присяжные заседатели, что на столе закуска и водка; все пьют, чокаются, поздравляют один другого с наступающим Новым годом; совершенно издерганный нравственно Никифоров пьет много; Мерк раздражителен и также не вполне трезв; Антонова болезненно возбуждена. Одно какое-нибудь случайное слово, резкий ответ, может быть, вызывающий смех Антоновой, и вдруг – удар ей в лицо. Мгновение, и за ударом выстрел, и... пьяный Никифоров до сих пор не в силах отдать себе отчет о том, как выхватил револьвер, как нажал на спуск.

Опытные ораторы всегда, когда можно, избегают точных описаний в драматических местах. Если же этого требует дело, то есть когда фактические подробности являются доказательством или подтверждением известного положения обвинения или защиты, описание более походит на медицинский акт, чем на картину. Так, конечно, и должно быть, ибо в этих случаях оратор обращается не к фантазии, а к рассудку слушателей. Образцом этого является описание последней сцены в речах обвинителя и защитника по делу об убийстве статского советника Чихачова.

О непрерывной работе

Заметьте, читатель, что вся указанная выше работа должна быть сделана на ногах, когда вы бродите по улицам или шагаете из угла в угол по своей комнате. А теперь надо взяться за перо. Напишите каждое основное положение на отдельном листе бумаги в виде заглавия и затем записывайте под ним то, что может служить его доказательством, развитием или украшением. Через день или два или через неделю, как придется, в свободную минуту пересмотрите эти листы, перечтите записанное, прибавьте еще несколько строк. Вложите каждый заглавный лист в особую обложку и вкладывайте туда все хорошие наброски, которые будут являться у вас по каждому отдельному тезису.

Те речи, которые кажутся нам сказанными так легко и просто, на самом деле составляют плод широкого общего образования, давнишних частых дум о сущности вещей, долгого опыта и, кроме всего этого,— напряженной работы над каждым отдельным делом. Конечно, прирожденный талант не подчиняется этим условиям; но для обыкновенных смертных иного верного пути к преуспеванию в искусстве нет. Не только в пылу судебных прений, но и при спокойном чтении образцовых речей трудно составить себе верное представление о предварительной работе, скрытой в их изящной форме; в них больше содержания и больше искусства, чем кажется. Читая классиков на школьной скамье, мы с иронией относились к восхищению старого преподавателя, находившего в гекзаметрах такие тонкости, о которых, казалось, и не подозревали Гомер и Вергилий; однако правы были не мы. Такие же не всякому заметные и понятные красоты и тонкости рассыпаны без счета и в современных речах настоящих судебных ораторов. Если хотите проверить это, проследите, какими именами, эпитетами и описательными выражениями обозначается убитая женщина в речи Андреевского по делу Андреева; вы убедитесь, что в каждом месте взято с искусным расчетом наиболее выгодное для оратора выражение. Откройте сборник А. Ф. Кони и перечтите со вниманием любой отрывок. Вы изумитесь обилию частных, внесенных в изложение одной общей мысли. В каждой строке то удачное выражение свидетеля, то неожиданный афоризм, то образ, то остроумное соображение. Все эти частности сливаются в несколько основных положений, которые в свою очередь смыкаются клином в направлении главного вывода. Это всепокрушающая македонская фаланга [*\(73\)](#). Она действует как один человек; но сколько отдельных людей, щитов, мечей и копий в этом единстве, чего стоило военачальнику достигнуть его!

Я думаю, что многие из наших современных обвинителей и защитников могли бы говорить речи не менее содержательные. Но, конечно, ценою еще большего труда. Работайте, не жалея времени, работайте как можно больше, и вы введете в бой крепкие ряды гоплитов [*\(74\)](#). Мы привыкли работать как можно меньше; неудивительно, что вместо сплоченного войска тянутся слабосильные, отсталые и раненые.

Не расставайтесь мысленно с делом.

В одной из своих римских элегий Гете говорит:

Oftmals hab'ich auch schon in ihren Armen gedichtet
Und des Hexameters Mass leise mit Fingern der Hand
Ihr auf dem Riicken gezahit [*\(75\)](#).

Будьте немножко как Гете.

Не смейтесь. Если вы понимаете нравственную ответственность государственного обвинения и уголовной защиты, поймете и это.

Не гнушайтесь чужими мыслями, но пусть усиленно работает и ваш собственный мозг. Следите за собою; как только мысль почему-либо набрела на страницу из вашего дела, надо гнать ее вперед и спешить за ней, горячить ее и прислушиваться к ней.

Чем дольше вы будете размышлять над делом, тем лучше; оно должно раствориться в вашем мозгу и пропитать его на долгие недели. Возвращайтесь к нему при всяком удобном случае; будьте всегда настороже и к самому себе, и к тому, что приходит к вам извне; прислушивайтесь к новым разговорам, будьте чутки к старым книгам. Подчиненные Наполеона говорили про него: *ce diable d'homme n'est jamais content* [*\(76\)](#) . Таким должен быть оратор по отношению к своей подготовительной работе; этого мало, мне надо еще; это хорошо, но для меня не годится и т. д. Надо трудиться, не щадя себя; без этого лучшие правила не принесут никакой пользы; и Цицерон с особенной убежденностью говорит это словами Антония в своем диалоге: *Inter ingenium quidem et diligentiam perpauulum loci reliquum est arti. Ars demonstrat tantum, ubi queras, atque ubi sit illud, quod studeas invenire; reliqua sunt in cura, attentione animi, cogitatione, vigilantia, adsiduitate, labore* [*\(77\)](#) . Цицерон. "Диалог об ораторе" (лат.)."

Скажут: некогда; мы живем слишком нервной и разносторонней жизнью для таких бесконечных размышлений, да и дело в большинстве случаев попадает в руки товарищу прокурора или защитнику чуть не накануне заседания. Возражение, неопровержимое в устах людей, не умеющих работать. Но вы не имеете на него права, читатель. Каждое не совсем заурядное преступление судится у нас через несколько месяцев, часто спустя год после его совершения. Товарищ прокурора наблюдает за предварительным следствием и имеет возможность ознакомиться лично с каждым интересным свидетелем, уяснить себе его отношение к подсудимому, отметить все, им не договоренное, чтобы в более торжественной обстановке судебного заседания, после присяги, поставить ребром щекотливый вопрос. С первого акта предварительного следствия участковый товарищ прокурора, кроме совместной работы со следователем по собиранию и проверке доказательств, ведет, если хочет, свою собственную работу, идет к своей конечной задаче – к обвинительной речи. С другой стороны, предусмотрительный прокурор окружного суда по каждому выдающемуся делу назначает обвинителя задолго до судебного заседания. Защитник бывает в менее благоприятных условиях. Акты следователя открываются для него только по заключению следствия, а предложение со стороны обвиняемого или поручение защиты судом часто бывают действительно близки ко дню заседания суда. Что делать? Напряженность работы должна возместить недостаток времени. Гете сорок лет носил в себе небольшое стихотворение "Пария", а огромную драму "Гец фон Берлихинген" сочинил в шесть недель; Пушкин написал "Полтаву" в две недели; Ше д'Эст Анж приготовил свою бессмертную речь по делу ла Ронсьера в несколько дней.

Изучив предварительное следствие указанным образом, то есть уяснив себе факты, насколько возможно, и внимательно обдумав их с разных точек зрения, всякий убедится, что общее содержание речи уже определилось. Выяснилось главное положение и те, из которых оно должно быть выведено; выяснилась и логическая схема обвинения или защиты и боевая схема речи; чтобы точно установить последнюю, стоит только сократить первую, исключив из нее те положения, которые не требуют ни доказательства, ни развития; те, которые останутся, образуют настоящий план речи.

Предположим, что подсудимый обвиняется в ложном доносе. Логическая схема обвинения такова:

- 1) донос был обращен к подлежащей власти,
- 2) в нем заключалось указание на определенное преступление,
- 3) это указание было ложно,
- 4) донос был сделан подсудимым,
- 5) он был сделан с целью навлечь подозрение на потерпевшего.

Если каждое из этих положений допускает спор, все они войдут в боевую схему обвинения и каждое положение составит предмет особого раздела речи. Если состав преступления установлен бесспорно и в деле нет других существенных сомнений, например предположения о законной причине невменяемости, вся речь может быть ограничена одним основным положением: донос сделан подсудимым. Если защитник признает, что каждое из положений логической схемы обвинения хотя и не доказано вполне, но подтверждается серьезными уликами, он должен опровергнуть каждое из них, то есть доказать столько же противоположных положений, и каждое из них войдет в боевую схему речи; в противном случае – только те, которые допускают спор.

Подсудимый обвиняется по 1612 ст. Уложения о наказаниях. Главное положение прокурора: поджог совершен подсудимым; чтобы доказать это, он доказывает четыре других положения:

- 1) пожар не мог произойти от случайной причины,
- 2) пожар был выгоден для подсудимого,
- 3) поджог не мог быть совершен никем другим, кроме подсудимого,
- 4) подсудимый принял известные меры к тому, чтобы доказать, что он не был на месте пожара при его начале.

Если одно, два или три из этих четырех положений ясны с первого взгляда, задача, естественно, сосредоточится на трех, двух или одном сомнительном положении; но это бывает редко; в большинстве случаев обе стороны находят несколько таких отдельных положений; из них слагаются отдельные части главного раздела речи, которая у древних называлась *probatio* – доказывание.

Но в чем же должны заключаться эти основные положения? Когда говорят: само дело укажет, вы сами увидите, разве это ответ? Перед нами самый существенный из вопросов судебного красноречия – о чем надо говорить, и вместо определенных и ясных указаний нам отвечают: это так просто, что не требует пояснений. Это насмешка, а не ответ. Такое возражение может сделать только совершенно несведущий и неопытный человек. Кто хоть один раз был обвинителем или защитником на суде, тот знает, что общего указания быть не может, ибо содержание речи зависит в каждом отдельном процессе от обстоятельств данного дела. Quot

homines, tot causae *(78) . Обратившись к отдельным процессам, вы убедитесь в справедливости сказанного.

В речи Цицерона за Секста Росция *(79) главное положение защиты – подсудимый не совершал убийства; основные положения:

- 1) у него не было мотива к отцеубийству,
- 2) он не мог совершить его ни лично, ни через других лиц,
- 3) Тит Росций имел мотив к убийству – стремление захватить имущество убитого,
- 4) факты изобличают Тита Росция.

Могли ли эти соображения остаться не замеченными для того, кто старательно обдумал дело? В речи Ше д'Эст Анж по делу ла Ронсьера главное положение – подсудимый не совершал приписываемого ему покушения; основные положения:

- 1) письма, написанные от лица подсудимого и изобличающие его, написаны не им,
- 2) попытки к изнасилованию Марии Моррель не было,
- 3) Мария Моррель страдает истерией,
- 4) письма написаны Марией Моррель.

В речи Андреевского по делу Михаила Андреева, обвинявшегося в убийстве жены, главное положение – подсудимый не ответствен нравственно за совершенное им преступление; основные тезисы:

- 1) Андреев страстно любил жену, и ее любовь была счастьем его жизни,
- 2) Зинаида Андреева была существом, совершенно лишенным нравственного чувства,
- 3) убийство было роковым последствием безрассудных поступков жены.

Разве это не были открытые тайны для человека, изучавшего дело с целью защиты, так же как и основные положения в защите ла Ронсьера?

Чем меньше отдельных тезисов, тем лучше. Чтобы построить куб, нужны только три линии, а куб есть фигура, совершенная по форме и по содержанию. Чем больше отдельных положений, тем легче могут присяжные забыть некоторые из них. Но каждое из них должно быть *quam pluribus rebus instructum* – должно быть подтверждено множеством доказательств.

Глава IV. О психологии в речи

В современной литературе, особенно немецкой и итальянской, есть много интересных материалов и исследований по уголовной психологии. Но это почти исключительно психология преступника, то есть изучение поведения и душевного состояния виновного во время преступления. В этой литературе есть много полезных указаний для судебного следователя и для прокурора, наблюдающего за следствием. Но для обвинителя и защитника имеет значение более всего психология человека, то есть исследование того, что переживал и передумал подсудимый прежде, чем сделаться преступником. В этом отношении специальная иностранная литература, кажется, не дает ничего или дает очень немного; но в сборниках наших судебных ораторов и в общей литературе есть множество образцов этого рода психологии; она составляет одно из лучших украшений русской литературы. Мы должны знать эти образцы не хуже, чем знаем кассационную практику.

Психология преступления заключается в объяснении факта согласно личным свойствам и душевным побуждениям преступника; обвинитель утверждает, что указанные им побуждения привели подсудимого согласно его характеру к совершению преступления; защитник доказывает, что этого не было или потому, что не было этих побуждений, или потому, что подсудимый по своему характеру не мог бы совершить преступления, хотя бы и при наличии таких побуждений, или что он совершил его под давлением случайных обстоятельств. Просмотрите наши сборники; вы увидите, что при всем разнообразии схемы, при вполне безразличном и при самом страстном отношении оратора к существу дела в судебной речи по уголовному делу всегда есть характеристика действующих лиц и объяснение их проступков. Факты дела и отзывы свидетелей выясняют личные свойства участников драмы, а из этих свойств вытекает преступная развязка. Это естественный прием психологического разбора, и мне кажется, при обыкновенных условиях всякий оратор пойдет именно этим путем в объяснении дела, хотя в построении речи он по особым соображениям, может быть, изберет иную искусственную схему. Таким образом, наша психология распадается на два отдела: а) характеристика подсудимого и б) его душевные побуждения.

Характеристика

Характеристика должна быть беспристрастная в речи прокурора, сдержанная в речи защитника.

В одной из своих повестей Апухтин справедливо замечает, что наши суждения о людях находятся в зависимости от нашего отношения к ним. Любовь к деньгам у человека, к которому мы расположены, мы называем бережливостью, говорит он; если мы равнодушны к этому человеку, мы называем его скупым, если он неприятен нам, – скрягою. Прокурор всегда склонен считать подсудимого худшим, защитник – лучшим, чем он есть на самом деле; к потерпевшему, к его друзьям у них бывает обратное отношение. Эта ошибка бывает тем сильнее, что в большинстве наших поступков, и добрых, и злых, бывает известная доля бессознательных побуждений. И величие в подвиге, и низость в преступлении идут дальше намеренных действий человека, уносят его к облакам или толкают в грязь. Люди обыкновенных способностей как будто не знают этого. Одни видят признаки сугубого злодейства, другие – высокой добродетели в этих внешних влияниях. Судебные ораторы ошибаются, как всякие другие; но слушатели – судьи и присяжные – бывают прозорливее по отношению к прокурорам и защитникам, чем те – к действующим лицам судебной драмы. Ораторам следовало бы иметь это в виду, чтобы не терять доверия слушателей.

Изучая участников события для их характеристики, оратор должен отрешиться от всяких предвзятых взглядов. До поры до времени его единственная задача – понять человека. Пусть не думает он о возможных выводах из того, что поймет подсудимого так, а не иначе. Конечно, один и тот же человек, преступник или жертва, укрыватель или зачинщик, в большинстве случаев будет представляться неодинаковым, смотря по тому, вглядывается ли в него обвинитель или защитник. Это естественно и неизбежно, но это не должно быть намеренным. Не следует подгонять характеристику к обвинению или к защите; она должна сама родиться из данных дела. Когда характеристика готова и у оратора составилось прочное представление об изучаемых им людях, тогда следует искать дальше: что может произойти при столкновении их между собой в данных условиях.

Скажут, можно ошибиться в понимании этих людей. Да, это не возбраняется; но при искренности, внимании и осторожности можно не ошибаться. От нас не требуется химической точности; нам нет нужды вычислять, сколько десятых честности, сколько сотых злобы, сколько тысячных бескорыстия подарила природа тому или другому человеку; достаточно сказать: уступчивый, мстительный, щедрый, алчный, добродушный, жестокий. В характеристике, составленной без предвзятой мысли из таких признаков, ошибки не будет, и оратор может положиться на нее. Искусственная характеристика выдаст его. Спасович – даже Спасович! – говорит про Егора Емельянова: "Аккуратный, спокойный, медлительный, лимфатический; в нем ни пылинки страсти..." Но это на самом деле не так, и чувствуется, что оратору недостает убежденности, что правда на стороне его противника.

Но, может быть, искусная характеристика – это очень трудная вещь? Нет. В ежедневных разговорах, в дружеской переписке мы свободно выражаем свои суждения об окружающих нас людях и верно определяем их характер в немногих чертах; наши судебные сборники изобилуют мастерскими характеристиками; люди действительно оживают в них. Но в этом нет ни колдовства, ни недостижимого искусства. Правда, есть у нас немало ораторов, способных обесцветить, обезличить самые своеобразные фигуры; по какому-то злему року от них ускользает всегда все значительное, интересное в человеке. Это те самые, которые всегда

говорят: вместо добряк – очень добрый человек, вместо тунеядец – человек, упорно не желающий трудиться, вместо рыцарь – человек высоко благородных побуждений и т. д. То же делают они и в подробных характеристиках, как бы намеренно сметая краски, сглаживая каждую необычную черту. Таких злополучных людей ничему научить нельзя. Впрочем, они бывают и мало склонны учиться.

Обстоятельства дела сами собой рисуют каждого из участников судебной драмы. Этот образ складывается из его поступков, речей, писаний и отзывов о нем других людей. Надо только помнить, что мелочи часто бывают характернее, чем крупные черты.

Argumenta morum ex minimis quoque licet capere [*\(80\)](#), говорит Сенека. Буало повторяет за ним:

La nature, feconde en bizarres portraits,
Dans chaque ame est marquee a de differents traits;
Un rien la decouvre, un geste la fait paraitre,
Mais tout esprit n'a pas des yeux pour la connaitre [*\(81\)](#).

Душевные свойства человека отражаются в его незначительных поступках. Поищем примеров.

Муж, бедный учитель пения, убеждает больную жену работать по ночам, чтобы накопить денег ей на платье для концерта, в котором она будет петь; когда ценою долгих часов, проведенных за иглой, она набрала двадцать или тридцать рублей, он требует их себе на новое пальто.

Гамлет, только что узнавший об убийстве его отца, прерывает свои проклятия, чтобы занести в записную книжку:

That one may smile, and smile, and be a villain – "что можно улыбаться, и улыбаться, и быть негодяем".

Уличный мальчишка украл яблоко с лотка старой торговки; она остановила его, сказала, что красть нехорошо, и дала еще яблоко.

Врач обвинялся по 1462 и 1463 ст. Уложения о наказаниях, от его противозаконной операции умерла молодая девушка. У постели над ее телом он обнимает и целует ее жениха, а отцу предлагает открытый бумажник; когда было возбуждено следствие, он подговаривал нескольких женщин удостоверить, что операция была произведена не им, а другим врачом.

В каждом из приведенных выше примеров, взятых, за исключением стихов Шекспира, из действительности, незначительный факт дает безошибочное указание на определенную черту характера в человеке.

Заметим по поводу приведенного выше возгласа Гамлета преимущество оратора перед писателем. Только гений мог осмелиться сочинить, выдумать такие слова. Простому смертному не поверят, если он расскажет нечто подобное. Обвинитель и защитник не страшатся этого недоверия: не они сочиняют, а жизнь дает им характеристику людей.

Не менее выразительны бывают и разговоры, общие суждения, иногда простые восклицания человека.

Муж, знающий об изменах жены, возвращается домой с работы и спрашивает своего жильца: "Что, моей дуры нет?" Немного погодя, он повторяет вопрос: "Что, Маша не приходила?" Егор Емельянов стучит в окно и кричит покорной и верной Лукерье: "Идешь, что ли? гей, выходи!" Тот и другой убили жену; но по простым этим словам можно сказать, что это разные люди.

Молодой человек пришел к своему соучастнику по сбыту поддельных акций и высказал предположение убить другого сообщника, чтобы предупредить его донос. "Ничего не ответил Никитин, – говорит обвинитель, – а зашагал по комнате, ходил долго взад и вперед, молча и

задумчиво, и наконец,.. сказал: да, когда змея заползет в нашу среду, то ее нужно задушить, и чем скорее, тем лучше". Эти слова, по замечанию А. Ф. Кони, как живого, рисуют Никитина. "Он все оценивает умом; сердце и совесть стоят у него назади, в большом отдалении. Поэтому, когда Олесь сказал об отравлении, он не возмутился, не заспорил, а замолчал..." Вот пример, словно намеренно придуманный для того, чтобы подтвердить указание Буало. Именно молчание – un rien – является самым характерным выражением личности Никитина. Но всякий согласится, что и словам, последовавшим за молчанием, в выразительности отказать нельзя.

По замечанию Фенелона, живая характеристика дается не эпитетами, а фактами. Когда у нас восхваляют какого-нибудь святого, говорит он, наши ораторы ищут только громких слов; говорят, что он был бесподобен, обладал небесными добродетелями, был ангел, а не человек; и все старание уходит на одни восклицания, без доказательств и без красок; греки избегают этих бессодержательных общих мест; они приводили факты; во всей "Киропедии" Ксенофонт ни разу не говорит, что Кир заслуживал удивления, а читатель все время удивляется ему. Это справедливое замечание не совсем верно на суде. Эпитет, данный подсудимому или потерпевшему свидетелем, удостоверяет, что свидетель знает или, по крайней мере, считает их такими или иными людьми. Это больше, чем слово; это факт. Вот почему решительный отзыв знакомого, соседа, односельчанина подсудимого или потерпевшего бывает убедительнее для присяжных, чем самые остроумные догадки оратора о личных свойствах людей, ему неизвестных.

Подсудимый предан суду по 1489 и 2 ч. 1490 ст. Уложения о наказаниях. Защитник спрашивает:

– Что, Сауман был злобный человек, драчун?

Свидетель отвечает:

– Нет, смирный; лошади не тронет.

Другое дело.

– Какого поведения была покойная?

– Труженица, святая женщина.

Одно такое слово сразу устанавливает отношение присяжных к мертвой, и попытка рассеять это впечатление только укрепляет его.

Конечно, такие отзывы могут быть небеспристрастны. Поэтому, делая характеристику подсудимого или иного лица чужими словами, надо пользоваться ими с разумением. Если суждение свидетеля высказано спокойно, если он кажется достойным доверия и, особенно, если это суждение совпадает с представлением самого оратора о том же лице, – на отзыв этот можно положиться; при иных условиях нужна осмотрительность.

В этих отзывах, как и вообще в свидетельских показаниях, гораздо более ценно то, что высказалось без намерения, чем то, что свидетель хотел сказать. Когда сыщик или дворник говорит про подсудимого хулиган – это вполне определенная характеристика, но достоверность ее зависит от степени доверия, внушаемого свидетелем. Но когда свидетель – босяк, осужденный за грабеж и приведенный под конвоем, заявляет, что подсудимый накануне убийства пришел к нему и сказал: "Дай мне финну (финский нож)", то прокурору нет нужды доказывать, что убийство готовилось "на дне", среди бывших людей; этим самым уже сделана и характеристика обоих собеседников.

Перед судом старик ксендз, прелат с мальтийским крестом *(82) на сутане. Защитник спрашивает его мнение о подсудимом; свидетель объясняет: "Этот человек очень порядочный, преданный семейной жизни, очень заботливый о своих детях; в разговорах о нравственных предметах он высказывал очень возвышенные мысли; он заведовал безвозмездно врачебной частью в одном училище и очень добросовестно исполнял эту обязанность". Никто не усомнится

в правдивости этого показания, но всякий поймет, что врач, живущий противозаконным производством выкидышей, не станет рассказывать об этом хотя бы духовному лицу. Высоконравственный в глазах свидетеля подсудимый перед судом оказывается не только преступником, но и лицемером.

Душевные свойства человека отражаются на его письменном языке, на слого. Это давно известно. Можно прибавить, что в тщательном литературном слого личность писателя стирается, его случайные настроения сглаживаются. Напротив, в торопливых, небрежных, иногда тревожных строках письма, короткой записки, когда люди пишут не для того, чтобы писать, а чтобы сообщить то, что важно, необходимо, выгодно или опасно, и пишут не для следователя и присяжных, бывает иное. И постоянные свойства, и временные настроения пишущего невольно выражаются в его строках, даже тогда, когда он хочет скрыть их или сам не понимает себя. Слог – это умственный почерк, говорит Ганс Гросс; в нем отражаются не только воспитание, образование и умственное развитие человека, но и самые разнообразные свойства его характера. Указание, которое Гросс дает по этому поводу следователю, очень полезно и для оратора: вчитываясь в изучаемую рукопись, надо искать, не проскальзывает ли в общем изложении, в отдельных оборотах, в связи отдельных мыслей то или иное – нравственное свойство, соответствующее предполагаемому душевному складу писавшего. Гросс утверждает, что внимательное изучение слога, возвращение к рукописи по каждому новому указанию следствия все с тем же вопросом почти всегда приводит к определенному и ценному результату. Человек, которого мы стремимся понять, говорит он, вдруг встает перед нами с тем самым выражением на лице, которого мы ищем. Чтобы судить вообще о значении переписки для характеристики, стоит прочесть переписку Никитина и Феликса Ярошевича по делу Колосова и других и речь обвинителя по этому делу. Но спрашивается, насколько справедливо приведенное выше указание Гросса?

Крупный землевладелец, екатеринославский колонист, запутанный недобросовестными кредиторами, ищет случая продать имение или занять денег. Судьба столкнула его с поселянином г. Бердичева Кояновичем. Привожу только два письма из их обширной переписки.

"Многоуважаемый Степан Иванович! Нижайшее мое почтение; поздравляю вас и с новым годом; дай бог вам многие лета прожить. Благодарю вас за ваше внимание ко мне; вы сошли в мое положение, так как вам известно, что много пострадал через других лиц, и вы подаете свою милую руку мне дать помощь, за что я вас буду вечно благодарить со своим семейством; поэтому прошу вас не отказать мою просьбу и потерять несколько дней и приехать ко мне в имение и обрадовать меня вашей помощью... Искренно желаю вам все то, что вы от бога желаете. Я. И. Фишер".

Вы видите доброе, простоватое лицо пишущего. Друг и помощник в нужде отвечает:

"Ваше почтенное письмо от 14 декабря сего года я получил, на которое и спешу ответом: моего покупателя я безусловно заинтересовал вашим имением, и он к вам обязательно приедет, а раз только он поедет к вам, то я надеюсь, что мы дело сделаем, я его сумею укрутить, это вы увидите на деле. Сейчас поехать к вам он не может, нужно немного повременить, но для того, чтобы его подогнать, я нахожу, что нелишне будет мне приехать к вам ознакомиться поближе с делом, потом условиться между нами, как действовать, чтобы не было промаха; в видах этого я на днях выеду к вам сам, выезд сообщу телеграммой. Побывав у вас в экономии и ближе ознакомившись с делом, тогда я его действительно могу больше заинтересовать и ускорить его приезд. Я, Яков Иванович, с полной уверенностью иду на дело, надеюсь даже, что мне много работать не придется, и мы скоро покончим дело. Очень торопиться не нужно, а если будем работать потихонечку, то оно будет верней. Степан Коянович".

Мерещится то беспокойная ласковость взгляда, то плотно сжатые челюсти. Действительно,

"не торопясь, работая потихонечку", но и подгоняя вовремя, Степан Иванович сумел так "укрутить" своего приятеля, что, не имея ни копейки в кармане, выманил у него два нотариальных векселя на 30 тысяч рублей. Умный, хитрый и чрезвычайно сдержанный еврей писал не для того, чтобы открыть глаза человеку, которого обманывал. А между тем в этом письме самым ясным образом выражена та черта его характера, которая наиболее интересна для обвинителя – его деловитая осторожность в преступлении: он не торопится, чтобы идти наверняка.

Девушка 16 лет, воспитанница среднего учебного заведения, пишет соблазнившему ее негодяю:

"Милый, дорогой... я только что приехала от тебя; дядя был дома; я так мило, весело и оживленно рассказывала ему о сегодняшнем дне, что сидела в театре, рассказала ему все, что там было, так что он совсем забыл меня спросить, где я была после театра. Тем лучше, все-таки одним грехом меньше. Ты не можешь себе представить, как тяжело говорить каждый раз неправду... Хорошо, что нас никто не встретил... Это любовь спасла! Я так тебя сильно люблю, с каждым днем все больше и больше. Ах, я забыла, что ты мне все равно не веришь. Неужели ты мне никогда, никогда не будешь верить? Это ужасно; какая же это любовь, когда ничему не веришь? Я же тебе верю, всегда буду верить и буду слушаться. Но почему ты мне не веришь, неужели ты думаешь, что все женщины говорят неправду? Меня нельзя сравнивать со всеми светскими, гордыми женщинами; ведь я еще девочка, мне всего шестнадцать лет..." Прочитав эти строки, как не сказать, во-первых, что их писала девушка, нравственно чистая, несмотря на свое падение, а во-вторых, девушка необыкновенно правдивая?

По поводу этого письма нельзя не сделать мимоходом еще одного замечания: нельзя не удивиться его выразительности, простым и душевным словам этой девочки, как она справедливо себя называет. Тургенев не написал бы лучше. Откуда у нее это? Да из сердца. Она глубоко чувствует и искренно пишет, и оттого ее слог – образец для лучших писателей.

Как может оратор воспользоваться такими человеческими документами? Как найдет лучше. Но верный способ заключается в том, чтобы выбросить из подлинного текста лишние места и обработать новый сокращенный текст как литературный отрывок для художественного чтения, то есть старательно обдумав логические ударения, интонацию голоса, паузы. В соответствующем месте речи прочтите его так, чтобы в каждом предложении, в каждом слове звучало все, что кипело в сердце писавшего или мелькало в его воображении. После этого несколько указаний в развитие главной мысли сами собою придут вам в голову, если только вы не нашли нужным заранее подготовить несколько сильных слов или яркий образ.

* * *

Не следует, однако, преувеличивать значение характеристики, хотя бы и самой верной. "Истинные друзья, испытанные слуги надежны, – говорит Шопенгауэр, – кто раз совершил известный поступок, тот при таких же обстоятельствах вновь совершит его, будь это доброе или злое дело". И как ошибается мудрец! Басманов был верен царю Борису, изменил царю Федору и умер, защищая царя Лжедмитрия. Бухгалтер юго-западных железных дорог Паникаровский отвез из Петербурга в Берлин 50 миллионов золотом, не утаив ни полушки, а спустя несколько месяцев проиграл в карты и, может быть, частью присвоил около 200 тысяч рублей. Кто скажет, когда он был самым собою и когда изменил себе? Басманов и Паникаровский – одно и то же; про каждого можно сказать: не злодей и не Катон; обыкновенные люди; следовательно, нетвердые люди.

Если быть откровенным, надо признать, что большинство окружающих нас только

исправляет должность человека, и притом делает это далеко не удовлетворительно. В нравственном отношении они представляют не золотую середину, а малоценную посредственность: не очень добрые и не слишком злые, не слишком честные и не совсем мошенники; умственные способности у большинства бывают ниже среднего. Но и более развитые, цельные и твердые люди часто изменяют себе. В рукописях того же Шопенгауэра сохранился отрывок с несколькими короткими замечаниями по этому поводу; они очень интересны для судебного оратора. Он пишет: "У каждого человека свой характер; у многих – очень определенный и своеобразный. Но они не всегда бывают ему верны; не всегда говорят и действуют сообразно своей личности (индивидуальности). Под влиянием перемены в состоянии здоровья, в душевном настроении человек не в одинаковой мере проявляет свои настоящие свойства; какое-либо особое воздействие может на некоторое время придать его характеру чуждый ему оттенок. Поэтому Ларошфуко имел полное право сказать: *on est quelquefois aussi different de soimeme que des autres*. В отдельных случаях умный может поступить как глупец, храбрый как трус, упрямый – с уступчивостью, грубый и жестокий – с нежностью и мягкосердечием *(83) .

Как это верно, и как часто мы говорим: неужели он мог это сделать? Это так не похоже на него.

Здесь – исходная точка оратора в нравственной оценке преступления. Его первый вопрос к самому себе – это: было ли преступление естественным отражением характера и других личных свойств подсудимого, как у Матрены в драме Толстого и у леди Макбет, или оно было противоречием его природе, как у Позднышева и Раскольникова; поступил ли он согласно или наперекор своей настоящей личности. Ответ на этот вопрос, конечно, заключается в характеристике подсудимого. Если преступление совершено негодяем, обвинение может быть сурово; защите остается заботиться о каком-нибудь смягчении ответственности (дела Тропмана, Полуляхова, Смурова); если преступник, хотя бы убийца, – добрый и честный человек, все трудности на стороне прокурора. Но в обоих случаях оратор, находящийся в невыгодных условиях, должен держаться действительности. Это крайне трудно, особенно для обвинителя. Сказать: да, я знаю, что это хороший человек; уверен, что, будучи оправдан, он станет заботиться о детях убитого как о своих собственных, что он воспитает тех и других добрыми и честными людьми; я знаю, что каторга не будет для него большим наказанием, чем сознание своего преступления и вечные укоры совести; знаю, что вдова убитого простила его, и все-таки требую каторги – сказать это нелегко. Обвинять, произнести хорошую речь в таком деле невероятно трудно. Я не знаю, как это делается, и охотно послушал бы всякого, кто мог бы научить меня этому, но утверждаю, что обвинитель обязан признать нравственные достоинства подсудимого.

Краткость характеристики отнюдь не есть достоинство в судебной речи, коль скоро с личностью связано объяснение дела. Наши лучшие ораторы нередко ограничивались одним намеком на самое событие преступления, отдавая все свое внимание характеристике и психологии. Таковы речи Спасовича по делу Александры Авдеевой, Андреевского по делу Тарновского; отчасти речь Громницкого по делу Александра Тальма. Такие мастера не могли говорить лишнего, а мы на этих примерах видим, что они совсем не заботились о краткости. Итак, если оратор признал, что характеристика известного лица нужна для дела, он должен обработать ее самым тщательным образом; необходимо, чтобы у присяжных составилось и укрепилось именно такое представление о человеке, которое нужно оратору. Его противник, конечно, представит того же человека в ином виде. Но это не значит, что второе изображение заслонит первое, или наоборот. В этом, напротив, благоприятное условие для обоих ораторов. Они могут быть оба правы, если только будут оба правдивы и осторожны. Само собой

разумеется, что вслед за подробным, неторопливым разбором характера действующих лиц надо найти для каждого образное или сильное выражение, которое объединяло бы в себе сказанное. Так, Громницкий называет Александра Тальма бешеным, Спасович Авдееву – существом, едва походящим на недоразвитого человека; про Ольгу Палем Карабчевский говорит: безалаберный комок нервов.

Обратимся ко второй задаче психологического исследования на суде.

В хвалебных рассуждениях о писаниях романистов до сих пор еще принято говорить о психологическом анализе, о чудесном проникновении в душевные изгибы и тайники. Ничего подобного не нужно для судебной речи. Просмотрите сборники лучших русских, французских и английских судебных ораторов; ни удивительных тонкостей, ни бесконечной глубины в их психологии вы не найдете. Она изумительна только своей простотой, своей наглядной правдивостью. Когда мы слушаем этих настоящих ораторов, мы в каждом слове узнаем самих себя, людей обыкновенных. В большинстве уголовных дел и нет психологических тонкостей. О чем приходится нам говорить? О любви, ревности и ненависти, о лицемерии и правдивости, о жестокости и доброте, о силе страстей человека и слабой воле его. Что же из всего этого может быть чуждо нам, чего не знаем мы по собственным наблюдениям над собою и над окружающими? Разве каждый из нас не различает чистоты сердца от расчетливых добродетелей, легкомыслия от нравственной распущенности, случайной ошибки от порочных привычек? Кто не знает, как лжет неверная жена, как страдает опозоренный муж, как презирает богатство нищету, как жадно ищут чужих денег глаза корысти? Кто не видит, как близко невежество к преступлению, как часто служат ему ум и знание?

Во всей этой психологии нет ничего, что было бы выше понимания или недоступно наблюдению каждого из нас. Представьте себе, что драма произошла не между чуждыми вам людьми, а среди ваших близких знакомых; что вот Иван Иванович, который пять или десять лет живет на одной лестнице с вами и не мог, конечно, не знать о шалостях своей супруги, застрелил ее из той самой двустволки, которой вы так восхищались на тяге прошлой весной. В тот же вечер у себя за обедом вы рассуждаете об убийстве с вашей женою и приятелями. Каждый из собеседников высказывает свои соображения и догадки по поводу неожиданной развязки долгого романа. Выясняется, знал ли муж и почему мог не знать, как мог быть слепым или снисходительным; стало ли убийство неизбежным вследствие ревности мужа, или случайность толкнула жену под выстрел и т.п. Опытный оратор запомнит все такие мимоходом брошенные замечания, как драгоценнейшие указания для его обвинительной или защитительной речи. Все это простые мысли простых людей – те самые, которые нужны присяжным для уверенного и правильного решения дела.

Итак, человека и его преступление нетрудно понять. Но, все-таки, как решить эту немудреную задачу?

Мне хотелось уяснить себе, о чем надо говорить присяжным по делу Золотова. Я рассказал его двум старухам. Одна, прислуга, сказала: все-таки, у самого у него не хватило духу убить; другая, образованная женщина: сам не решился, а сколько народу погубил. Потом я спросил одного чиновника, как найти житейскую оценку преступления; он ответил вопросом: а что бы ты сам на его месте сделал? Таким образом, три вопроса дали мне три различных темы для нравственной оценки убийства. Насколько были они пригодны, об этом можно судить по тому, что каждая из них была затронута и обвинителем, и защитой на суде.

Мы часто говорим, что развязка такой-то повести или драмы неверна; это самый тяжкий и часто справедливый упрек писателю. Но судебный оратор, как я говорил, не рискует встретить такое обвинение: перед ним всегда готовая развязка. Ему вместе с тем заранее даны и многие из предыдущих сцен и глав романа, часто записанные с мельчайшими подробностями.

Почти во всяком *crime passionnel* [*\(84\)](#) можно, не будучи ни судьей, ни обвинителем, ни

защитником, сказать, кто заслуживает больше сочувствия: преступник или жертва. В делах об истязаниях, о посягательствах на женскую честь, о злом банкротстве правосудие общественное, конечно, вполне совпадает с правосудием судебским. Но в делах об убийствах, о покушениях на убийство случается нередко, что общественное сознание требует оправдания, нимало не справляясь о том, есть ли законные причины невменения. Заканчивая речь в защиту одного убийцы, С. А. Андреевский сказал: "По правде говоря, я не сомневаюсь, что вы со мною согласитесь". На первых шагах прокурорской службы мне пришлось обвинять одну глубоко несчастную женщину. После двенадцати лет зверских истязаний, перенесенных ею и ее детьми на глазах безучастного крестьянского мира, она задушила изверга-мужа. Мне до сих пор тяжело вспомнить свое участие в этом деле, несмотря на оправдательный приговор. Если присяжные обвинили бы эту измученную женщину, она была бы присуждена к каторге. Спросим себя по человечеству, было ли бы это справедливо, и поищем ответа у других людей, отличающихся от нас языком, историей и нравами.

В 1874 году на сессии в Честере разбиралось дело о женщине, убившей деспота-мужа. Он пришел домой пьяный и стал бить ее; она бросила в него отточенным ножом, и он тут же умер от раны. Присяжные признали ее виновной. Судья Брет, впоследствии лорд Эшер, сказал, что ему редко приходилось слышать о таком зверском поведении, каким отличался убитый. "Справедливость на вашей стороне,— продолжал он, обращаясь к подсудимой, муж был виноват во многом перед вами. Не дай бог, чтобы я стал наказывать вас; ничего подобного я не сделаю; я не хочу даже, чтобы о вас был постановлен приговор; я не допущу, чтобы кто-либо мог сказать, что суд признал вас виновною в тяжком преступлении. Приговор может быть признан состоявшимся только по его оглашению; я не стану оглашать его. Я требую только, чтобы вы обязались явиться к выслушанию приговора, если бы суд вызвал вас. С божьей помощью никто вызывать вас не будет" *(85).

Недавно петербургские присяжные оправдали девушку-работницу, которая зарезала также без умысла пьяницу и расточительницу мать. Все знали заранее, и обвинитель лучше всех, что обвинения быть не могло.

Но бывают и такие преступления по страсти или под предлогом страсти, когда оправдание — издевательство над убитым и над правосудием. Это — убийство невесты за отказ выйти замуж, убийство тунеядцем-мужем труженицы-жены, ушедшей работать в люди, убийство мужа развратницей женой, тяготящейся его надзором, и т. п. В этих крайних случаях, по моему убеждению, хорошую речь может сказать только тот из противников, на стороне которого predetermined победа. Мне кажется, что это подтверждается сравнением речей обвинения и защиты по делу об убийстве статского советника Чихачова и по делу Емельянова. Но между этими крайностями встречаются и такие дела, где много виноваты оба: и преступник, и жертва и вместе с тем оба достойны сочувствия; всякий скажет про убийцу: я на его месте сделал бы то же самое — и прибавит: но, убив, ждал бы от суда справедливого возмездия. В таких делах у обоих ораторов благодарная задача, и таких дел бывает немало.

Каждое преступление, как и всякое сложное явление в жизни общества, есть уравнение со многими неизвестными: оно допускает несколько верных решений; эти решения не исключают друг друга, хотя и несогласны между собою: каждое отвечает по-своему.

Прочтите речи талантливого обвинителя и талантливого защитника по делу, не предрешенному заранее в своем исходе. Вы часто будете в недоумении, кто прав, кто ошибается. И чем внимательнее вы будете читать, тем яснее будет, что оба правы, каждый по-своему. Художник, который изобразил бы свою картину вверх ногами, создал бы нечто нелепое; но, бродя в горах, он мог бы рисовать одну и ту же цепь вершин с разных сторон, и, хотя ни один рисунок не был бы похож на другой, каждый из них был бы вполне верен природе. Не сходя с места, он мог бы писать один и тот же пейзаж в разное время дня, и утренние туманы на его картине были бы так же прекрасны и правдивы, как сияние полдня или румянец вечерней зари на снежных высотах. Так, в уголовном процессе обвинитель и защитник могут быть оба правы, потому что и преступник, и окружавшие его люди подчинялись в своих поступках не одному и не двум, а множеству разнообразных побуждений, и никто, и сами они не знают, с которым дольше боролся человек; еще и потому, что один говорит о зле преступления, другой – о несчастии преступника. "Я не могу допустить, – говорил Спасович по делу об убийстве Чихачова, – чтобы в одном человеке совмещались одновременно три намерения: намерение вызвать на дуэль, побить и, наконец, убить". Но, зная жизнь, мы не только допускаем возможность противоречивых движений в душе человека, но и уверенно говорим о них, предсказываем, строим на них свои расчеты, предполагая и то, и другое. А он? Он, может быть, меньше нашего понимает себя; еще менее знает, что сделает.

По каким побуждениям убил свою жену Позднышев? Что сделало его убийцей: ревность, ненависть, оскорбленное самолюбие? То, или другое, или третье? Едва ли; и то, и другое, и третье. Понял он себя только после суда.

Каждый день мы слышим от наших обвинителей: мотив есть душа, так сказать, *animus* преступления; через день слышим от защитников: не было мотива – нет преступника. Пусть так; но я все-таки скажу: не распространяйтесь о мотивах. Если вы дали присяжным верную характеристику подсудимого, простое сопоставление ее с обстоятельствами дела обнаружит и основной мотив: месть, нужду, половую страсть и второстепенные побуждения, увлекавшие человека в том же направлении. Пусть это "главная пружина и центр всего дела" – не теряйте на них лишнего времени. Нельзя, конечно, ограничиться только одним словом. Надо указать, из чего создан мотив, ибо во внешних причинах этих простых чувств бывает не менее разнообразия, чем в последующих преступных действиях человека. Прочтите несколько хороших речей и обратите внимание на то, в какой формуле предложен судьям или присяжным мотив преступления. Здесь волей-неволей приходится ограничиться общим указанием, ибо в каждом отдельном случае в эту формулу входят особенности данного дела, и, чтобы исчерпать предмет в пределах прошлого опыта, я был бы вынужден привести соответствующие места из каждой речи каждого сборника. Это дело читателя. Во избежание неясности я укажу только один пример, который мне кажется превосходным; беру его в одной из защитительных речей по известному делу об убийстве Петра Коновалова. В этом убийстве обвинялись: жена покойного Анна, подруга последней Павлова, жившая на ее счет, мать ее и их родственник Телегин. Надо было развязаться с мужем, который не хотел выдать жене отдельного паспорта. Была сделана последняя попытка: его щедро напоили, он обещал, и жена повела его в участок. Защитник

Телегина говорил:

"В то время, когда Коновалов с женой отправлялся в участок, Павлова переживала тяжелые и тревожные минуты: не в ее интересах было, чтобы он дал отдельный вид своей жене. Она знала Ольгу (Анну Коновалову); – о, это капризное и неблагодарное существо! Павлова вспоминает те благодеяния, которые она ей оказала: не она ли ей указала на ее настоящее призвание, не она ли первая вывела ее на улицу? А между тем – о, эта Ольга! – получи она отдельный вид, ей никого уже больше не нужно, не нужно даже Павловой!.. А ведь счастье было так близко! Своим практическим умом Павлова понимала, что, убей она Коновалова, она убивает двух зайцев: во-первых, она устраняет человека, который всегда мог встать между нею и Коноваловой и между Коноваловой и улицей, а с другой стороны, убивая Коновалова с согласия Коноваловой, она этим самым связывает с собой эту женщину навсегда, на всю жизнь по самый гроб, вечной неразрывной тайной, тайной страшного преступления" *(86) .

Мотив, который оратор приписывает Павловой, называется обыкновенным словом – корысть, но опытный оратор не ограничился этим словом, а точно выразил присяжным, что именно заключало в себе это чувство Павловой.

Бывают дела, в которых никакие старания не могут обнаружить мотива преступления. В таких случаях надо уяснить себе два вопроса: а) или мотива вовсе не было; в таком случае подсудимый и не совершал преступления или совершил его в невменяемом состоянии; б) или он есть, но те, кто знает его, не хотят выдать тайны. В этом последнем случае длинные рассуждения могут быть только пустословием. Двое рабочих поссорились из-за какого-то пустяка; немного спустя один сказал другому: пойдём-ка сюда на расправу! – и всадил ему нож в сердце. Встретившись со мною через несколько дней по окончании сессии, один из присяжных жестоко упрекал и следователя, и судей. "Спрашивают, какая была рана, какой нож, мог ли раненый дойти до сарая; спрашивают о том, что для всех очевидно, а о том, что важно, что необходимо, никто и не думает: как мог человек ни с того ни с сего зарезать человека? И прокурор нам ничего не сказал о мотиве. Мы ужасно возмущались". Присяжные были по-своему правы, но *ex nihilo nihil fit* *(87) , и их собственные вопросы были так же безуспешны, как и незаметные для них попытки следователя разъяснить дело. В таких случаях прокурор может только сказать, что, скрывая настоящую причину преступления, виновный берет на себя всю ответственность за то, что сделал. Что касается двух первых случаев – предположение о невменяемости и сомнение в личности, то там спор идет уже не о мотиве преступления, а о фактах; длина или краткость рассуждений зависит не от оратора, а от обстоятельств дела.

От первой преступной мысли, мелькнувшей в голове, до рокового поступка проходят иногда долгие дни, недели, месяцы. Как проследить за помыслами и чувствами человека, скрывающего их, не договаривающего, часто неспособного даже вспомнить их, тем менее – верно рассказать о них следователю или защитнику? Все тем же путем. Его расчеты, надежды, страдания сквозят в его словах и поступках; кроме того, мы изучили его характер и знаем, чем он кончил; мы можем читать в его душе. Между первой мыслью и последним актом мы знаем ряд отдельных значительных событий или мелких происшествий; нам нетрудно отличить те, которые должны были отразиться на его душевной борьбе. Злой намек искусителя, неосторожное слово соперника, мелькнувшая возможность достигнуть цели помимо преступления, заманчивый случай мнимой безопасности его – все эти эпизоды оратор отметит себе и, как неразлучный двойник, передумает, перечувствует их с обреченным на преступление человеком. Обращение подсудимого к совету друга, мысль о самоубийстве, несколько слов в письме откроют ищущему новый уголок в его сердце, и опять оратор без труда проследит за усиленным биением этого сердца. С. А. Андреевский как-то сказал, что дар чтения в чужой душе принадлежит немногим, да и те немногие ошибаются. Последнее не подлежит сомнению, но с первым я не могу

согласиться и отвечаю тонкому знатоку дела его же словами: "Роман дворника и кухарки ничем не отличается от всех романов в мире".

Судебное следствие укажет вам, какие из ранее отмеченных переживаний в душе подсудимого заслуживают более подробного разбора перед присяжными и представляются удобными для этого. Остановитесь на двух-трех таких моментах и расскажите присяжным в немногих словах то, что пережил бы каждый из нас в такую минуту.

Защищая Веру Засулич, Александров сказал:

"Что был для нее Боголюбов? Он не был для нее ни родственником, ни другом, он не был ее знакомым, она никогда не видела и не знала его. Но разве для того, чтобы возмутиться видом нравственно раздавленного человека, чтобы прийти в негодование от позорного глумления над беззащитным, нужно быть сестрою, женою, любовницею? Для Веры Засулич Боголюбов был политический арестант, и в этом слове было для нее все. Политический арестант не был для подсудимой отвлеченное представление, вычитываемое из книг, знакомое по слухам, по судебным процессам представление, возбуждающее в честной душе чувство сожаления, сострадания, сердечной симпатии. Политический арестант был для Веры Засулич – она сама, ее горькое прошлое, ее собственная история, история безвозвратно погубленных лет, лучших и дорогих в жизни каждого человека, которого не постигает тяжкая доля, перенесенная подсудимой. Политический арестант был для нее горькое воспоминание ее собственных страданий, ее тяжкого нервного возбуждения, постоянной тревоги, утомительной неизвестности, вечной думы над вопросами: что я сделала? что будет со мной? когда же наступит конец? Политический арестант был ее собственное сердце, и всякое грубое прикосновение к этому сердцу болезненно отзывалось в ее возбужденной натуре".

Может быть, среди присяжных, судивших Веру Засулич, не было ни одного скрытого крамольника; может быть, все они были безмятежные отцы семейств, чуждые политики; но нет сомнений в том, что, слушая оратора, каждый из них узнавал себя в его словах, сознавал, что, будь он на месте подсудимой, он испытал бы те же чувства и не краснел бы за них, а мог бы гордиться ими. А самые чувства? Были они необыкновенны, исключительны, особенно сложны и тонки? Трудно было догадаться о них внимательному человеку? Нет, заглянув себе в душу, всякий из нас нашел бы их в себе и без чужой помощи, как сумел их найти Александров.

Если вы серьезно и беспристрастно продумали душевную борьбу подсудимого, вы не ошибетесь. Но это надо сделать в немногих словах; не забывайте, что там, где истинный художник может дать волю своей фантазии, нам с вами нельзя ни на минуту выпускать ее из своей власти. Обвинитель, который, не обладая большим талантом, попытался бы воспроизвести перед присяжными рассуждения и колебания Раскольниковца или Позднышева перед убийством, мог бы только утомить присяжных, ничего не сделав для их убеждения; защитник, который стал бы толковать им процесс их душевного обновления, был бы еще менее интересен и, пожалуй, оказался бы смешным. Я помню речь одного товарища прокурора, обвинявшего девушку в крайне жестоком детоубийстве; это был холостяк, не поэт и не романист; судя по возрасту, и житейского опыта большого у него быть не могло. Однако он говорил о том, что чувствовала и думала, чего не почувствовала и о чем не вспомнила подсудимая; говорил и требовательно, и верно. *Ipse mini utero gessisse videtur* [*\(88\)](#), сказал один кандидат другому.

Мужу и жене были нужны деньги; они знали, что их знакомый имел несколько сот рублей; муж зазвал его в гости, выслал жену из квартиры и зарезал приятеля. Когда жена вернулась домой, на полу была лужа крови, а на постели – труп. Кто из нас не понимает, что баба стала мыть пол так же неизбежно, как если бы была пролита миска щей; а затем, кому трудно представить себе и просто, без чрезвычайных тонкостей передать другим, что испытывала она в течение двух-трех последующих суток как укрывательница – законная [*\(89\)](#) – убийцы-мужа и –

преступная – вещей убитого. Не потому ли нам так трудно понять Гамлета, что мы слишком выделяем его из числа обыкновенных людей? Если бы мы приблизили его к себе, мы, может быть, убедились бы, что сходства больше, чем принято думать. Нет сомнения, что по уму и сердцу Гамлет – исключительная натура *(90), но по характеру он – обыкновенный человек; его нерешительность есть нерешительность всякого нравственно развитого человека перед преступлением. Мы забываем, что убийство короля Гамлетом есть такое же убийство, как те, которые нам приходится судить. Гамлету так же трудно убить, как и всякому из нас, то есть чрезвычайно трудно, несмотря на гнусное преступление Клавдия. Мне кажется, это – естественное объяснение его колебаний.

В судебном споре нравственная оценка сводится к одному вопросу: шел ли подсудимый навстречу преступлению или оно гналось за ним, хотел или не хотел он своего злого дела. Если защитнику удастся доказать, что он боялся крови, его манившей, боролся с искушением, искал иного пути, что ряд несчастных совпадений толкнул его, что он не раз отказывался от рокового поступка, прежде чем совершил его, этим будет достигнуто многое. Несмотря на свои злодеяния, Гамлет остается для нас "нежным принцем с благородным сердцем"; это не только потому, что мы знаем его возвышенную натуру, но и потому, что видим, как влекли его к крови низости и преступления окружающих.

Выше было сказано, что в характеристике краткость не есть достоинство; наоборот, в объяснении мотивов преступления и в изображении роста умысла следует остерегаться подробностей и длинных рассуждений. Гораздо лучше недоговорить, чем сказать лишнее. Здесь в особенности применимо и другое правило искусства: сказать немного так, чтобы присяжные от себя добавили недоговоренное; оставить простор их воображению и догадливости, чтобы не вызвать их недоверия и не разойтись с ними в толковании дела.

Юридическая оценка деяния

В содержание всякой судебной речи входит двоякая оценка деяния, вменяемого в вину подсудимому: юридическая и нравственная.

Прежде всего судебный оратор обязан установить перед судьями, есть ли преступление в том, что было совершено, и какое именно. Это – уголовная задача, решение которой всякий без труда найдет в Уложении о наказаниях. Ясно, что эта оценка, то есть законное определение преступления, составляет чисто рассудочную деятельность, подчиненную исключительно формальным требованиям логики. Уголовная задача должна быть решена прежде этической. Хотя бы человек совершил величайшее нравственное злодеяние, он должен быть освобожден от суда, если не нарушен закон. Это безусловное требование, обязательно одинаковое для представителей обеих сторон в процессе. Но эта задача относится не к искусству речи, а к обязанностям обвинения и защиты. Поэтому мне не приходится говорить о знании и толковании закона. Это отнюдь не значит, что красноречие важнее юридического разбора дела. Напротив того. Сравните самые слова: риторика, красноречие – это как-то расплывчато, недокончено; закон – это звучит твердо, неумолимо. В этом случайном оттенке созвучий есть правда. Бывают случаи, когда решение задачи по статьям закона устраняет судебные прения. Установите, что в деянии нет одного из законных признаков преступления, что миновал срок давности, что совершивший неосторожное преступление не достиг совершеннолетия и т. п., – и кто бы вы ни были, обвинитель или защитник, – "речи" не нужно. Первая, главная аксиома уголовного оратора: в основании обвинения и защиты лежит юридическая оценка события. Кто не сумел доказать факта или убедить судей, тот может быть достоин жалости, но не заслужил осуждения; тот, кто не сумел найти нужный закон, тот не исполнил долга, тот виновен. Незнание закона – преступление.

Правда, в наши обычаи вкралось лукавое правило: признайте факт; остальное дело Судебной палаты и Сената. Но с этим никогда не примирятся истинные судебные деятели.

Итак, читатель, мы предполагаем, что здесь пропущена длинная глава, заключающая в себе Уложение о наказаниях и Устав уголовного судопроизводства от первой до последней статьи, и вы не станете читать эту книгу, если не знаете тех наизусть.

Надо знать не только законы; надо знать сенатские решения и изучать их по подлинному тексту, а не по тезисам стереотипного сборника. В 1837 году в Англии некто Стоксдаль возбудил против Гансарда уголовное преследование за помещение в парламентских отчетах сведений, оскорбительных для доброго имени обвинителя. Гансард был комиссионером палаты общин по изданию ее официальных отчетов, и спор о составе преступления затрагивал права самого парламента. Поэтому защитником подсудимого, хотя и в частном порядке, выступил не кто иной, как генерал-атторней, знаменитый сэр Джон Кемпбель. В своей автобиографии он пишет по этому поводу следующее: "Я готовился к этому делу в течение многих недель. Главная трудность заключалась в том, чтобы справиться с материалом и ввести мои объяснения перед судом в разумные границы. Я перечитал все, что могло иметь малейшее отношение к спорному вопросу, от древнейших ежегодников до последнего памфлета, не ограничиваясь специальными исследованиями, но тщательно просматривая сочинения по истории и по общим вопросам права, английские и иностранные. Джозеф Юм сказал в палате общин, что мое вознаграждение в триста гиней было чрезмерно велико; но если бы эта плата была определена по потраченному мною времени и труду, я получил бы по крайней мере три тысячи. Я перечел каждое из тех дел, на которые ссылался в своей речи, и собственноручно сделал из них нужные выборки. Я написал

и переписал все, что должен был сказать. Но на суде все, за исключением цитат из книг, я говорил по памяти. Моя речь продолжалась ровно шестнадцать часов" [*\(91\)](#) .

Вот что значит быть во всеоружии закона. И вы должны знать, читатель, что пошехонец Иван Сидоров имеет право на такую же защиту в русском медвежьем углу, как британский подданный перед судом королевской скамьи в Лондоне.

Нужно ли пояснять, как важно знание всех тонкостей закона в делах, решаемых всякого рода коронными и смешанными судами, например, у нас в делах политических?

Нравственная оценка преступления

Нравственная оценка не заносится в писанные кодексы; благодаря бесконечным оттенкам действительной жизни она в большинстве случаев только приближается в большей или меньшей степени к законной, а часто и прямо противоречит ей. Она, так сказать, носится в воздухе; оратор должен уловить ее и выразить ее перед судьями.

"Когда расследуется преступление,— говорит Э. Ферри [*\(92\)](#), вызвавшее особое внимание общества по искусному ли выполнению его или по чрезвычайной жестокости, то в общественном мнении сразу устанавливаются два течения: одно из них создается обществом в широком смысле слова; оно стремится выяснить, как, почему, по каким побуждениям совершил этот человек такое преступление. Об этом спрашивают себя все не причастные к судебной стороне дела. Те же, кто служит уголовному правосудию, образуют другое течение; они стремятся изучить самое "деяние"; деятельность общественного сознания происходит здесь только в области юридической оценки. Прокурор, судьи, полицейские чиновники рассуждают о том, как назвать преступление, совершенное известным человеком при данных обстоятельствах: есть ли это убийство, отцеубийство, оконченное или неоконченное покушение на убийство, составляет ли оно кражу, мошенничество или присвоение. Служители правосудия совсем забывают о главном вопросе, с самого начала поставленном в общественной совести: как? отчего? и погружаются всецело в технические подробности, представляющие как бы юридическую анатомию деяния виновного. Эти два течения представляют собою классическую и позитивную школу уголовного права".

В этих словах указан основной недостаток наших обвинительных речей. Мы все остаемся классиками, не замечая, как сильно отстаем от жизни. Если бы, по крайней мере, мы были настоящими классиками, если бы мы читали Аристотеля, Цицерона, Квинтилиана! Мы многому научились бы у них. Судебный оратор должен быть бытописателем, психологом и художником, говорит нам опытный защитник. Мы постоянно забываем об этом. Наши прокуроры излагают обстоятельства дела, "представляют улики" и, разъяснив присяжным, что "судебным следствием установлены все признаки законного состава преступления в деянии подсудимого", опускаются в кресло с сознанием исполненного долга. Это иногда бывает правильно в коронном суде, но это совсем не то, что нужно в суде с присяжными. Некоторые защитники знают это и ведут защиту, разбирая бытовые стороны дела. В этой области они естественным образом несравненно чаще соприкасаются с настроением и чувствами присяжных, чем их противники в своих рассуждениях и выводах. Поэтому они имеют и больше влияния на них, чем те.

Молодой крестьянин еще ребенком был отдан отцом в ученье к сапожнику в уездный город. Отец овдовел и, имея для простого крестьянина хорошие средства, о сыне не заботился. Сын сошелся в городе с молодой мещанкой, и она забеременела от него. Любя ее, он решил жениться и просил у отца денег на свадьбу. Отец не дал денег и стал требовать, чтобы сын отказался от брака, угрожая, что иначе сам женится на соседней бобылке и лишит сына наследства. Между тем срок беременности девушки подходил к концу. Сын распорядился свадьбой, позвал гостей на воскресенье и за неделю до свадьбы, в субботу, пробрался в хату к отцу и зубилом от бороны забил его насмерть. На крики умирающего сбежались крестьяне и задержали отцеубийцу. Он во всем сознался. Обвинитель будет доказывать присяжным, что "в настоящем деле не может быть сомнения в наличности обдуманного заранее намерения в деянии подсудимого, что никак нельзя говорить о запальчивости и раздражении, ниже о простом умысле", и напомним присяжным о нарушении всех законов божеских и человеческих. Защитник не станет тратить

времени на спор с прокурором: он со всем согласится, признается, что преступление ужасает его еще больше, чем самого обвинителя, но поговорит о семейных отношениях, скажет и докажет, что отец был развратник и жестокий самодур, а сын находился в безвыходном положении и совершил убийство не из корысти или иного низменного чувства, а из благородного побуждения, с безрассудной мыслью спасти от позора девушку, которую сделал матерью. И за это приходится карать его самым строгим бессрочным наказанием, установленным в нашем законе после смертной казни!.. Кто будет виноват, если присяжные оправдают?

Те, кому приходилось беседовать с присяжными, знают, что они спорят не о том, какое преступление совершил подсудимый, а о том, какой он человек. Интересно сопоставить эту точку зрения с рассуждениями чисто философского характера. Шопенгауэр говорит, что, несмотря на безусловную необходимость наших поступков по закону причинности, всякий человек считает себя нравственно ответственным за свои дурные поступки и считает так потому, что сознает, что мог бы не делать их, если бы был иным человеком; таким образом, основанием нравственной ответственности служат не отдельные преходящие поступки человека, а его характер; он сознает, что должен нести ответственность именно за свой характер. Так же относятся к этому и другие люди: они оставляют в стороне самое деяние и стараются только выяснить личные свойства виновника: "он дрянной человек, он злодей", или "он мошенник", или "это мелкая, лживая, подлая натура"; таковы их суждения, и упреки их обращаются на его характер. Едва ли можно сомневаться, что присяжные, оправдавшие Позднышева, руководились именно соображениями этого рода.

В своей статье о Шекспире [*\(93\)](#) Толстой говорит, что содержанием искусства служит определенное мировоззрение, соответствующее высшему в данное время религиозному пониманию общества; это мировоззрение бессознательно для оратора проникает все его произведение. Религиозное понимание в том смысле, как о нем говорит Толстой, есть не что иное, как нравственное сознание общества, и определение, выраженное им по отношению к драме, вполне подходит и к ораторскому искусству. Судебная речь должна заключать в себе нравственную оценку преступления, соответствующую высшему мировоззрению современного общества; в этой оценке, несомненно, есть доля бессознательного, хотя, конечно, значительно меньшая, чем в чисто поэтическом произведении.

Ни одно явление в жизни общества не бывает вполне независимо от современной ему действительности; напротив, оно обыкновенно находится в самой тесной связи с нею. Мы живем солнечным светом и теплом, кислородом воздуха, телесной пищей и духовным воздействием на нас окружающих и наших книг; в свою очередь мы сами оказываем физическое и нравственное влияние на людей и события, с коими соприкасаемся. И каждое преступление, как определенное общественное явление, бывает связано тысячью нитей со всей современной ему обстановкой. Оратор, призванный наряду с законной оценкой этого преступления дать и нравственную, должен считаться с этим. Как же сделать это? Введите ваше дело в современные условия общественной жизни; пусть станет оно для вас центром, в котором, как отдельные нити и круги в паутине, сосредоточится все научное и нравственное сознание, все практические и высшие стремления того общества, среди которого жил и совершил свое преступление подсудимый, а затем пусть все это отразится в вашей речи и найдет в ней свою равнодействующую по отношению к этому делу.

Чтобы не быть превратно понятым, я должен оговориться: я намечаю перед вами практическое правило в идеальной, недостижимой в действительности формуле; но всякий оратор, по моему убеждению, должен, насколько может, приближаться к ней. При этом, когда я говорю: пусть все отразится в вашей речи, я отнюдь не хочу сказать: пусть будет и все высказано; и здесь необходима та разборчивость, о которой я уже говорил: не пытайтесь

сплестать перед вашими слушателями всего узора этих кругов и нитей жизненной паутины, умеете выбрать две, три из них, но так, чтобы они воспроизводили всю сеть перед умственными взорами судей.

Но это не все. Нравственные воззрения общества не так устойчивы и консервативны, как писанные законы; в нравственном сознании людей всегда происходит то медленная, постепенная, то иногда резкая, неожиданная переоценка ценностей; глубоко вкоренившиеся, казалось бы, взгляды иногда со дня на день изменяются и часто сталкиваются между собой. Требование нравственности всякий понимает и толкует по-своему, и всякий вполне свободен в своих суждениях при этом толковании. Поэтому в рассматриваемой мною части своей речи оратор имеет выбор между двумя ролями. Он может быть послушным и верным, уверенным выразителем господствующих воззрений; такая уверенность часто высказывается в прокурорских речах. Но бывает и другое: оратор вовсе не обязан всегда быть глашатаем господствующего или подчиненного большинства. Он может выступить перед судьями в качестве изобличителя распространенных заблуждений, предрассудков, косности или слепоты общества, идти против течения, отстаивать свои собственные, новые, неслыханные взгляды и убеждения.

О творчестве

Главный нерв речи есть нечто, факт или вывод, заключающееся в деле или вытекающее из него; главный спорный вопрос, следовательно, и главное положение оратора – также. То и другое надо искать в деле. Но иногда обдумывание речи не ограничивается этим. Прочтите любую речь истинного оратора, и вы убедитесь, что, будучи обвинением или защитой, она есть вместе с тем художественное произведение. Это объясняется тем, что творчество в судебной речи по существу своему соответствует творчеству человека в области искусства вообще. Многие люди, особенно судьи-практики, держатся другого взгляда; иные решительно отрицают творчество на суде в прямом смысле слова. Остановимся на этой точке зрения.

В окружном суде предстоит разбор дела о совершенном преступлении; назначаются обвинитель и защитник. Тот и другой обязаны основательно изучить дело, выяснить все установленные факты и все сомнительные обстоятельства, взвесить и проверить значение каждого из них в отдельности и затем изложить их в логическом порядке, указав их относительную важность с точки зрения своего положения в процессе; другими словами, оратор должен взять из дела все, что в нем есть, и передать это судьям или присяжным заседателям. Обвинитель должен указать им все, что изобличает подсудимого, защитник – все, что доказывает его неприкосновенность к делу или извиняет его преступление. Для этого, конечно, сырой материал дела должен подвергнуться известной обработке со стороны оратора; необходимо также, чтобы судьи без труда могли следить за его мыслями, усвоить их и запомнить, чтобы затем обдумать их в совещательной комнате; содержание обвинения или защиты должно быть передано изящными и сильными словами, а самая речь должна быть произнесена с внешней выразительностью и красотой; этим приспособлением и целесообразным изложением данных дела и ограничивается обязанность оратора, и такая речь, хотя бы сказанная по незначительному поводу, будет образцом судебного красноречия.

Такое представление об ораторском искусстве на суде представляется мне глубоким заблуждением. Работа этого рода, несомненно, требует умения и имеет большую ценность; она необходима, и я готов признаться, что это есть в некоторой мере и созидательная работа, но это не есть творчество. Глядя на рабочего, который копает длинный ряд ям, укрепляет в них высокие столбы на определенных расстояниях, соединяет их несколькими пучками проволоки, я не могу отрицать целесообразности и пользы его труда; я, однако, не назову это творчеством. Но по этой проволоке пробегает электрическая искра; она с мгновенной быстротой соединяет людей, живущих на разных концах земного шара, в их чувствах и помышлениях, радостях и горести; эти столбы и проволока представляются мне как узлы и волокна колоссальной нервной системы, объединяющей в одно целое все живущее человечество; воображение рисует мне образ ученого, склонившегося над рабочим столом и силой мысли своей создавшего эти чудеса, и я не могу не сказать, что если труд того рабочего был достойный и полезный, то труд этого ученого есть нечто несравненно более высокое и ценное, есть действительно творчество, настоящее, могучее, чудодейственное. Что такое уголовное дело, которое прокурор или адвокат получает из рук секретаря суда? Это несколько десятков часто очень неопрятных, а иногда и чересчур чистых протоколов, постановлений, полицейских справок, нанизанных на толстый шнур со скрепою и печатью; это – та же цепь бездействующего телеграфа; когда через этот шнур, как электрический ток, пробежала искра вашей живой мысли и горячего чувства, одухотворяющая и оживляющая эти серые листы, тогда начинается творчество ваше как судебного оратора.

Можно возразить, что это – задача, уже решенная: всякое уголовное дело, как отрывок

человеческой жизни, имеет известное законченное идейное содержание, воплощает в себе известную мысль, которая сразу видна всякому; и эта основная идея, выражение непосредственного смысла совершенного преступления, бывает в большинстве случаев слишком проста, ограничена в своем значении и потому бесплодна. Действительно, значительное большинство наших уголовных дел имеет именно такое упрощенное до грубости содержание. Однако настоящие мастера и художники слова умеют, когда хотят, создавать образцы искусства из этих незначительных дел. Это несомненное наблюдение всякого, часто бывающего в суде, и это есть убедительное подтверждение близкого сродства ораторского и поэтического искусства. Но вы скажете: что же можно найти возвышенного и прекрасного в наших заурядных уголовных делах? Они представляют собой самые мелочные, будничные побуждения и поступки людские. Ведь это все те же кражи со взломом, кражи без взлома, те же грабежи с насилием и грабежи без насилия. Я отвечу вам: та же детская люлька, та же азбука, те же венчальные кольца и та же гробовая доска. А какое бесконечно разнообразное, бесконечно богатое содержание влагает жизнь в эти бессменные рамки!

Работайте над небольшими сюжетами, говорил Гете: пишите обо всем, что представится вам темой для стихотворения, пишите смело, не откладывая, и вы будете производить нечто хорошее, и каждый день будет приносить вам радость. Свет велик и богат, жизнь столь многообразна, что в поводах к стихам недостатка не будет. Не следует думать, что действительность не представляет поэтического интереса: поэт именно тем и может доказать свое дарование, что умеет открыть интересную сторону в самом обыкновенном сюжете. Надо только обладать глазами, знанием людей и проницательностью, чтобы в малом видеть великое. Вы найдете эти замечания в книжке Эккермана [*\(94\)](#).

Все, что высказывал Гете о поэзии, вполне справедливо и по отношению к ораторскому искусству. Чтобы сделаться судебным оратором, надо учиться творчеству у самой жизни. И надо быть торопатым и щедрым, как жизнь. Не только взять все из дела должен оратор-художник, но и все вложить в него, все то, что в настоящую минуту хранится в его уме и сердце. И это должно делаться не так, как бывает в гражданских сделках: *do, ut des*, – нет, за все, что берет, оратор должен платить вдесятеро.

Молодая помещица дала пощечину слишком смелому поклоннику. Для нас, сухих законников, это 142 статья Устава о наказаниях – преследование в частном порядке, три месяца ареста; мысль быстро пробежала по привычному пути юридической оценки и остановилась. А Пушкин пишет "Графа Нулина", и мы полвека спустя читаем эту 142 статью и не можем ею начитаться. Ночью на улице ограбили прохожего, сорвали с него шубу... Для нас опять все просто, грубо: грабеж с насилием, 1642 ст. Уложения – арестантские отделения или каторга до шести лет; а Гоголь пишет "Шинель" – высокохудожественную и бесконечно драматическую поэму.

В литературе нет плохих сюжетов, в суде нет таких дел, по которым человек образованный и впечатлительный не мог бы найти основы для художественной речи. Что может быть грубее и, так сказать, менее поэтично, чем преступление, предусмотренное 2-й частью 1484 ст. Уложения о наказаниях, то есть нанесение смертельных ран или повреждений в запальчивости или раздражении? А вот происшествие, разбиравшееся у нас в суде в конце прошлого года: молодой рабочий в пьяном виде забил насмерть поленом старуху, с которой жил в одной квартире; это 2 ч. 1484 статьи; но старуха была его родной бабкой, они искренно любили друг друга, и он кормил ее своим заработком; такая тема – находка для оратора-художника.

Кузьма Коротков, пьяница и вор, женился на публичной женщине; у него оказался скромный талант: он хорошо играл на гармонике; они стали ходить по трактирам; он играл, она плясала с бубном; воровать он перестал. Свидетели, простые люди, просто говорили, что они

любили друг друга. Оба жили в непрерывном дурмане: вечером – от водки, утром – с похмелья. Кто-то из пьяных покровителей Короткова снялся с проституткой в фотографии; на эту карточку попал и Коротков; сожительница приревновала его. В пьяном споре он убеждал ее, что его нечего ревновать; она отвечала: люблю и буду ревновать. Он достал револьвер и сказал: молись, сейчас с тобой покончу. Она ответила: сначала себя, потом меня! Он выстрелил и убил ее наповал.

Такая находка – клад.

Исходная точка искусства заключается в умении уловить частное, особенное, характерное, то, что выделяет известный предмет или явление из ряда других ему подобных. Пока нет обособления, нет художественной обработки. Мещанин Иванов украл пару сапог. Сколько ни думать, из этого ничего иного нельзя выдумать, кроме того, что Иванова надо посадить в тюрьму. Отметьте одну характерную черту, скажите: старик Иванов украл пару сапог, мальчишка, пьяница, вор Иванов украл пару сапог, и вам уже дана канва для бытового очерка, вы уже на пути к художественному творчеству, уже готовы от себя вложить в дело нечто, вам лично присущее. Для внимательного и чуткого человека в каждом незначительном деле найдется несколько таких характерных черт; в них всегда есть готовый материал для литературной обработки. А судебная речь есть литература на лету.

Надо старательно отличать общее от единичного, своеобразного. Для общего у каждого оратора может оказаться давно обработанный материал; если нет, он найдется в изобилии в сборниках. Единичное же, исключительное, то, что впервые встречается в данном деле, есть источник вполне самостоятельной, творческой разработки всей темы или отдельных эпизодов. Примерами таких характерных черт изобилуют сборники: спаивание опасного сообщника Карганова в деле Мясниковых [*\(95\)](#), бракосочетание ради развода и объяснение за утренним чаем в деле Андреева и т. п. Каждую из этих особенностей дела надо обсудить внимательно, как тему для интересной картины.

А. Ф. Кони говорит, что Спасович в своих речах являлся не только защитником, но и мыслителем; частный случай служил для него поводом затронуть общие вопросы и осветить их с точки зрения политика, моралиста и публициста. Не надо думать, что это возможно только в больших процессах. По самому ничтожному делу можно затронуть выдающееся современное событие или общий вопрос из области религии, нравственности, политики. У московской заставы поздно вечером стоит городской; с одной стороны к нему приближается пьяный мастеровой, с другой – навстречу пьяному идут три местных хулигана; городской знает их давно, потому что местные обыватели каждый день жалуются на их нападения: заведут человека в глухой двор, разденут и идут пропивать награбленное; до сих пор ни разу не попадались. В это время проходил вагон конки; городской стал на площадку и поехал вслед за своими ненадежными знакомцами; они поравнялись с пьяным, потолкались с ним и пошли дальше; городской подошел к нему и спросил, все ли у него цело; мастеровой хватился за карман и сказал, что пропал портсигар; городской погнался за грабителями и задержал одного из них с поличным в руках. Портсигар был жестяной и стоил двенадцать копеек. За этот грабеж согласно 3 разд. 1643 ст. Уложения установлено заключение в арестантские отделения на срок от четырех до пяти лет с лишением всех особых прав. Само собой разумеется, это дело попало на суд по недоразумению; на судебном следствии выяснилось, что ограбленный просил не составлять протокола о грабеже и отпустить и его, и виновника с миром; но в Судебной палате состоялось определение о предании суду. Нетрудно представить себе незавидное положение прокурора между этими двенадцатью копейками и лишением всех особенных прав; но раз уж это неловкое дело попало ему в руки, что мешало ему затронуть очень интересную современную тему: городской сделал свое дело?

Мне пришлось прослушать речь одного из лучших ораторов нашей столичной прокуратуры по делу, очень благодарному для обвинителя. Парень, еще не достигший совершеннолетия, сошелся с молоденькой певицей ресторанного хора; через несколько месяцев он надоел ей, и она отказалась от любовных встреч с ним; он улучил минуту и одним ударом ножа заколол ее. Я с уверенностью приготовился выслушать сильную и красивую речь и был жестоко разочарован. Обвинитель говорил о преступности, ножевой расправе, о неприкосновенности человеческой жизни, о необходимости наказания, чтобы образумить или устрашить других. Какие безнадежно общие места! Он ни разу не встревожил во мне ни рассудка, ни сердца. Когда он кончил, я спросил себя: почему? и сейчас же нашел ответ: эту самую речь от слова до слова можно было бы сказать по поводу всякого другого убийства, совершенного не по корыстным побуждениям. Оратор, вероятно, не успевший ознакомиться с делом, не отметил ни одной черты характера убийцы и погибшей девушки, ни одной особенности в несложной цепи событий, приведших к трагическому исходу: вместо яркой картины получился геометрический чертеж, без света, тени и красок. Скажу с уверенностью, что эта речь не оказала никакого влияния на строгий ответ, вынесенный присяжными. Неужели не нашлось в этой драме ни одной характерной черты? Я просмотрел дело и в показании обвиняемого нашел признание, что девушка была невинна, когда он сблизился с нею. Это была драгоценная подробность. Этот бездельник начал с того, что соблазнил девушку, а кончил тем, что зарезал ее. Припомните слова Мефистофеля о Гретхен: "Она не первая..."

И страстные, негодующие возгласы Фауста:

"Собака! Отвратительное чудовище!.. Не первая! – Ужас! Ужас! Человеческая душа не в силах постигнуть, что в пучину этих терзаний повергнуто более одного-единственного существа! Что первая своими смертельными страданиями не искупила вину всех прочих перед взором вечно прощающего! Я содрогаюсь до мозга костей при мысли о гибели этой одной; ты равнодушно усмехаешься над судьбою тысяч!"

Какую речь сказал бы обвинитель, если бы захотел вспомнить этот отрывок!

Художественная обработка

Нет, скажут те, кто всегда все знает лучше других; судебная речь – трезвое логическое рассуждение, а не эстетика и никогда не будет эстетикой.

Посмотрим.

Биржевой маклер убил жену, которая требовала от него развода. Убийца – самый обыкновенный человек; прожив тринадцать лет с первой женой, он влюбился в другую женщину и вступил с нею в связь; потом бросил семью и поселился с любовницей. Прошло четырнадцать лет; она познакомилась с богатым человеком, который слепо полюбил ее, забросал золотом и бриллиантами. Уверенный, что она замужем, он просил ее развестись и сделаться его женой. Чтобы сохранить уважение будущего мужа, ей нельзя было открыть ему глаза: надо было обвенчаться и потом требовать развода от мужа. Со своей стороны ее давний друг хотел брака, чтобы узаконить их дочь, а может быть, и для того, чтобы прочнее привязать к себе любовницу. Брак состоялся, но спустя некоторое время жена сообщила мужу о своей связи и потребовала свободы. Последовал ряд тяжелых семейных сцен, которые кончились убийством [*\(96\)](#).

Это – хорошая тема для фельетонного романа; но спросим себя, есть ли в этом что-либо интересное в художественном смысле, можно ли внести что-нибудь возвышенное в этот пошлый роман?

Человек бросил жену и живет с любовницей. Очень обыкновенная история. Но художник много думает над ней, вглядывается в нее с разных сторон, ищет и, наконец, останавливается на определенной точке зрения: он избирает ту, которая выдвигает вперед все светлые черты этого безнравственного и непрочного союза и оставляет в тени все другие; он дорожит найденной картиной, ласкает ее в своем воображении; эта напряженная работа и эта заботливость не остаются без награды: у него является необычайная мысль, до дерзости смелая: внебрачное сожитительство может быть воплощением идеала брака. Он выражает ее так: "Андреев имел полное право считать себя счастливым мужем. Спросят: "Как мужем? Да ведь Левина почти 14 лет была у него на содержании..." Стоит ли против этого возражать? В общечитии, из лицемерия, люди придумали множество фальшиво-возвышенных и фальшиво-презрительных слов. Если мужчина повенчан с женщиной, о ней говорят: "супруга, жена". А если нет, ее называют: "наложница, содержанка". Но разве законная жена не знает, что такое "ложе"? Разве муж почти всегда не "содержит" свою жену? Истинным браком я называю такой любовный союз между мужчиной и женщиной, когда ни ей, ни ему никого другого не нужно, – когда он для нее заменяет всех мужчин, а она для него всех женщин. И в этом смысле для Андреева избранная им подруга была его истинною женою".

Идеал супружества – во внебрачном сожительстве. Если бы другой оратор, выступая обвинителем или защитником в уголовном процессе, решился бы под влиянием минуты высказать присяжным столь рискованное положение, он, конечно, произвел бы самое невыгодное впечатление; председатель на основании 611 ст. Устава уголовного судопроизводства немедленно остановил бы его за неуважение к религии и закону. Но художник, выносивший и претворивший в себе этот дерзкий протест против требований формальной нравственности, подходит к нему постепенно, незаметно подготавливая слушателей, говорит спокойно, с искренностью в тоне, легко и изящно играет словами... и слушатели покорно глотают приятную отраву.

Я думаю, что эта мысль не сразу пришла в голову оратору; я уверен, что он много раз менял свои выражения, пока не нашел этих изящно простых слов. А чтобы оценить эту мысль по

достоинству, заметьте, как легко разрешает она указанную мною задачу: внести возвышенное в обыкновенную безнравственную историю. Духовный идеал художника так высок, что обрядовая сторона брака действительно теряет значение; он требует, чтобы этот идеал осуществлялся людьми независимо от церковного венчания, требует такой чистоты любовных отношений не только от законного супруга, но и от всякого, связавшего с собою судьбу женщины. Заметьте еще, что если бы все это не было обработано самым тщательным образом, малейшая оплошность, неосторожное слово и возвышенная мысль обратилась бы в апологию разврата.

За блестящим парадоксом следует блестящая картина. В деле было одно совсем необыкновенное и потому не сразу вполне понятное обстоятельство: чтобы выйти замуж за генерала Пистолькорса, Сарре (христианское имя Зинаида) Левиной надо было сначала выйти за Андреева. Пистолькорс считал ее замужней женщиной; узнав о ее действительных отношениях с Андреевым, он мог бы отказаться от женитьбы. Таким образом, Левина обвенчалась с Андреевым не для того, чтобы стать его женою, а чтобы начать с ним процесс о разводе. Высказав это соображение, можно было повторить его в виде метафоры: брак с Андреевым и развод с ним были первые ступени; на третьей она уже видела себя перед аналогом не с Андреевым, а с Пистолькорсом. То же самое можно было выразить в виде антитезы и притом двояким образом. Можно было сказать: не всякий решится жениться на чужой любовнице, но браки с разведенными женщинами – самое обычное явление в нашем обществе, или: Левина понимала, что Пистолькорс готов жениться на порядочной женщине, но, может быть, отвернется от содержанки. Утонченный художник, защитник Андреева пренебрег этими грубыми приемами. Он выразил приведенные выше соображения таким образом:

"Религиозный, счастливый жених, Андреев с новехоньким обручальным кольцом обводит вокруг аналога свою избранницу. Он настроен торжественно. Он благодарит бога, что, наконец, узаконяет перед людьми свою любовь. Новобрачные в присутствии приглашенных целуются... А в ту же самую минуту блаженный Пистолькорс, ничего не подозревающий об этом событии, думает: "Конечно, самое трудное будет добиться развода. Но мы с ней этого добьемся! Она непременно развяжется с мужем для меня..." Неправда ли, как жалки эти оба любовника Сарры Левиной?"

Откуда явилось это поразительное, изящное, злое, а главное, беспощадно верное сопоставление двух одураченных людей? Поверьте, что и оно не даром далось художнику. Долго носил он в себе эти три фигуры, вглядывался в них, приближал их к себе и отходил от них, бичевал и идеализировал, пока не претворил в себе их драмы, пока они вдруг встали перед ним в этой удивительной, неотразимой картине. Накануне судебного заседания мы встретились с С. А. Андреевским в коридоре суда; я спросил его о деле. "Вы не можете себе представить, как оно меня увлекает; я люблю их всех", – сказал он. В этих словах вполне выразилось то отношение оратора к своим героям, которые представляются мне надежнейшим залогом успеха. Он, действительно, сроднился с ними.

После картинки брачного обряда следует характеристика жены в дополнение к уже сделанной в самом начале характеристике и биографии мужа. Он был изображен как обыкновенный, "скромный и добрый человек", она – как существо чрезвычайно легкомысленное, бессознательная эгоистка, совершенно не способная к бескорыстному чувству. В этом портрете нет ни одного резкого слова. Но какой сейчас будет беспощадный удар фактом! Подождите минутку. Она живет то на даче, то за границей, дружески переписывается с мужем, ни словом не намекая ему на свой новый роман, и, наконец, возвращается в Петербург, чтобы скорее сделаться генеральшей. На другой же день после самого нежного свидания жена без всяких вступлений и обвиняков заявила мужу, что они должны расстаться. Трагический смысл этого факта выражен одним словом: "На следующий же день, за утренним чаем, развязно

посмеиваясь, она вдруг брякнула мужу: "А знаешь, я выхожу замуж за Пистолькорса..." "

Оратор продолжает: "Все, что я до сих пор говорил, походило на спокойный рассказ. Уголовной драмы как будто даже издалека не было видно".

"Однако же, если вы сообразите все предыдущее, то для вас станет ясно, какая страшная громада навалилась на душу Андреева. С этой минуты, собственно, и начинается защита".

Здесь необходимо одно замечание. Оратор говорит это *cum grano salis*, с иронией, ибо на самом деле защита почти закончена; все сочувствие присяжных на стороне подсудимого, во всем виноватой кажется жертва; остается сказать уже немногое. То, что оратор называет началом защиты, представляет разбор душевного состояния подсудимого после признания жены. Оратор спрашивает себя, что должен был пережить, о чем думал Андреев в течение следующих двенадцати дней после неожиданного заявления его жены, и читает ответ в сердце подсудимого *a livre ouvert* [*\(97\)](#) с уверенностью и неотразимой убедительностью.

"Весь обычный порядок жизни исчез! Муж теряет жену. Он не спит, не ест от неожиданной беды. Он все еще за что-то цепляется, хотя и твердит своей дочери: "Я этого не перенесу"... Пока ему все еще кажется, что жена просто дурит. Соперник всего на один год моложе его. Средств у самого Андреева достаточно. А главное, Зинаида Николаевна даже не говорит о любви. Она, как сорока, трещит только о миллионах, о высоком положении, о возможности попасть ко двору, Оставалась невольная надежда ее образумить".

"Между тем раздраженная Зинаида Николаевна начинает бить дочь за потворство отцу. Андреев тревожится за дочь, запирает ее от матери и все думает, думает... О чем он думает? Он думает, как ужасно для него отречься от женщины, которой он жертвовал всем; как беспросветна будет его одинокая старость, а главное, он не понимает, ради чего все это делается... Андреев начинает чувствовать гибель. Он покупает финский нож, чтобы покончить с собой... Ему казалось, что если он будет иметь при себе смерть в кармане, то он сможет еще держаться на ногах, ему легче будет урезонивать жену, упрасивать, сохранить ее за собой..."

Остается еще один момент – последнее столкновение между супругами. Грубая сцена убийства не нужна художнику и не выгодна для защитника: ее и нет в речи. Но случайное совпадение дало здесь оратору возможность сильного эффекта, и уж, конечно, он не упустил ее. Задолго до убийства, еще в первые годы сожительства Андреева с его будущей жертвой, его первая жена выхлопотала распоряжение градоначальника об административной высылке своей соперницы. Подсудимый добился того, что это распоряжение было отменено, и спас свою сожительницу от высылки. В минуту последней ссоры несчастная женщина, опьяненная представлением о положении и связях своего нового друга, крикнула мужу: "Я сделаю так, что тебя вышлют из Петербурга!" "Эта женщина, – говорил защитник, – спасенная подсудимым от ссылки, поднятая им из грязи, взлелеянная, хранимая им, как сокровище, в течение шестнадцати лет, – эта женщина хочет истребить его без следа, хочет раздавить его своей ногой!.."

Нужно ли пояснять вывод? Он уже сложился сам собой у присяжных, так же как задолго ранее сам собой сложился у оратора: убийство, совершенное под влиянием сильнейшего раздражения, доходящего до полной потери самообладания, было роковым исходом всего предыдущего.

– Что здесь было? – спрашивает оратор, и отвечает: – если хотите, здесь были ужас и отчаяние перед внезапно открывшимися Андрееву жестокостью и бездушием женщины, которой он безвозвратно отдал и сердце, и жизнь... В нем до бешенства заговорило чувство непостижимой неправды. Здесь уже орудовала сила жизни, которая ломает все непригодное без прокурора и без суда... Уйти от этого неизбежного кризиса было некуда ни Андрееву, ни его жене...

"Не обинуюсь, я назову душевное состояние Андреева "умоисступлением" – не тем

умоисступлением, о котором говорит формальный закон (потому что там требуется непременно душевная болезнь), но умоисступлением в общежитейском смысле слова. Человек "выступил из ума", был "вне себя"... Его ноги и руки работали без его участия, потому что душа отсутствовала..."

"Какая глубокая правда звучит в показании Андреева, когда он говорит: "Крик жены привел меня в себя!.." Значит, до этого крика он был в полном умопомрачении..."

Итак, два портрета, две бытовые картины и две страницы психологии. Оратор ни в чем не уклонился от действительности, ничего не прибавил к фактам дела. Но все, что в нем было, он так переработал, что как бы заново создал все от начала до конца. Он понял дело по-своему и свое понимание усвоил в совершенстве. Оно, может быть, не вполне справедливо, может быть, далеко не верно. Но его толкование так просто, так понятно и так согласовано с фактами; притом, отчетливо сложившись в его представлении, оно с такой ясностью выразилось в его устной передаче, что и присяжные, и обвинитель, и беспристрастный председатель бессильны перед оратором. Они не могут заменить его толкование преступления другим объяснением такого же достоинства, и они волей-неволей подчиняются ему.

Допустим то, чего не могло быть в этом процессе; предположим, что состоялся обвинительный вердикт. Я думаю, что каждый из присяжных сказал бы одно и то же: мы обвинили подсудимого потому, что не можем оправдывать убийства; но речь защитника верна от начала до конца.

Мне могут возразить, что присяжный, сказавший: да, виновен, не может назвать верной речь защитника, требовавшего оправдания: это явная нелепость. Я этого не думаю. Абсолютная истина для нас недостижима. Речь Андреевского безукоризненно верна своей художественной правдой независимо от судебного приговора.

Говоря, что присяжным нечем заменить толкование защитника, я не хочу сказать, что иного объяснения преступления и не может быть. Они только что слышали речь обвинителя. Что такое Андреев? Человек как все, не добрый и не злой. Он был добр к своим дочерям и к своей второй жене, в которую был влюблен, но был жесток с первой женой, которую разлюбил. Некоторым из свидетелей под влиянием чувства жалости к человеку, которому грозит каторга, он мог казаться жертвой. Они вполне искренно говорили, что он всем своим счастьем пожертвовал для своей любовницы и второй жены. Но это было явное самообольщение свидетелей. Андреев не думал жертвовать своим счастьем; он не остановился перед правами своей законной семьи в угоду своему благополучию. Он разбил жизнь своей жены и дочери от первого брака, пожертвовал их счастьем, чтобы наслаждаться жизнью с женщиной, которая составляла его счастье. А когда пришло время доказать, что он действительно добрый человек, способный к самопожертвованию, когда он должен был вспомнить о великодушии своей первой жены и вернуть свободу второй, он не пожертвовал собой, а убил. Обвинитель не упустил из виду этих простых и убедительных соображений. Однако речь его не произвела впечатления. Я думаю, это произошло от того, что он не успел достаточно поработать над делом, а потому и не нашел ни оригинальных слов для своей мысли, ни эффектных образов, чтобы закрепить ее. А защитник, отдавший делу больше досуга и труда, не только не отошел от этих опасных ему доводов, а еще сумел воспользоваться ими в пользу подсудимого. Он потребовал от убитой – от жены того, чего не хотел сделать убийца-муж.

"Если бы госпожа Андреева имела хоть чуточку женской души, если бы она в самом деле любила Пистолькорса и если бы она сколько-нибудь понимала и ценила сердце своего мужа, она бы весьма легко распутала свое положение... Она бы могла искренно и с полным правом сказать ему: "Миша, со мной случилось горе. Я полюбила другого. Не вини меня. Ведь и ты пережил то же самое. Жена тебя простила. Прости же меня и ты. Я тебе отдала все свои лучшие

годы. Не принуждай меня быть такою же любящею, какою ты меня знал до сих пор. Это уже не в моей власти. Счастья у нас не будет. Отпусти меня, Миша. Ты видишь, я сама не своя. Что же я могу сделать?" "

"Неужели не очевидно для каждого, что такие слова обезоружили бы Андреева окончательно? Все было бы ясно до безнадежности. Он бы отстранился и, вероятно, покончил с собой".

"Но госпожа Андреева ничего подобного не могла сказать именно потому, что вовсе не любила Пистолькорса".

"И ты пережил то же самое. Жена тебя простила... Отпусти меня..." Это все вполне справедливо. И именно потому, что он "пережил то же самое", Андреев должен был вспомнить прошлое. Он тогда потребовал, чтобы жена отреклась от своих прав в угоду его новому счастью; теперь он должен был уступить свое место новому жениху своей другой жены. Нетрудно вложить ему в уста такой же простой, сердечный монолог, такие же простые рассуждения, как приведенные выше, и прибавить: он ничего подобного сказать не мог, потому что любил Зинаиду Николаевну не возвышенным чувством любви, а низменным чувством страсти.

Разве это софизмы? Отнюдь нет. И тут и там правда. Но на стороне защитника, кроме правды, было еще искусство.

Я полагаю, нет нужды в других доказательствах права оратора быть художником.

Какую основную мысль вы выберете: общественное возмездие во имя справедливости, идею бессознательного правосудия жизни, слепую, жестокую и несправедливую власть случая над судьбой человека – это в значительной степени зависит от основного вашего мирозерцания, а также от временного, иногда минутного настроения. Остановившись на общей идее, заключающейся в отдельном событии, художник передает это событие не как нечто самодовлеющее, а именно как выражение этой идеи. Для зрителя, читателя, слушателя должно сделаться ясным, как велика, как могущественна идея, каким ничтожным, мимолетным, но вместе с тем и сколь ярким может быть ее отражение в житейских случайностях. Классическим образцом этого служит "Медный всадник".

Нетрудно заметить, какие выгоды представляет такая обработка судебному оратору, в особенности защитнику, если, например, ему удастся найти идею, не только объясняющую факт, но и оправдывающую преступление. В наших судебных сборниках есть блистательное этому доказательство – одна из речей Н. П. Карабчевского. Основную мысль можно высказать так: судьба связала двух человек и с неумолимой быстротою стремится их к гибели; обоих спасти невозможно; лучше вырвать у судьбы одного, чем отдать обоим ее бессмысленной жестокости; два брата борются на краю обрыва; ослепленный ненавистью, один обнял другого, чтобы увлечь его за собою; ужели не вправе тот сдавить горло врагу и столкнуть его в бездну?

Николай Кашин, сын петербургского купца, женился восемнадцати лет на Валентине Чесноковой, девушке не безупречного поведения; он имел от нее двух детей; первый ребенок родился еще до брака. Уже на втором году после женитьбы жена сошлась с дворником. Кашин поссорился с нею и, уехав из дому, поселился в провинции у своих родных. Спустя два года он свиделся с женою, примирился с нею и возобновил супружескую жизнь. Но не надолго. Жена пьянствовала, посещала прежнего любовника. Пьянствовал и он и кончил тем, что убил ее. Кажется, трудно придумать более прозаическое происшествие. Вот начало защитительной речи.

"Господа присяжные заседатели. Кашин убил жену и, убив ее, среди ночи, кинулся к близким. Пришел прежде всего к тетке Чебровой, которую в почтении величал "бабушкой", на Белозерскую улицу. Ей он, плача, крикнул: "Прощай, бабушка!" – и прибавил: "Я, бабушка, жену зарезал; не стерпел больше!" Оттуда метнулся на Широкую улицу – к матери своей Анне Кашиной, напугал ее своим видом до обморока, так что она тут же лишилась чувств, и успел ей только крикнуть: "Я Валечку зарезал!" – и побежал дальше. Затем он отправился в участок, отозвал в сторону дежурного околоточного Куксинского и "по секрету" рассказал ему, что в эту ночь случилось. По его рассказу выходило так, что он ран двадцать или даже тридцать нанес своей жене и резал до тех пор, пока нож не сломал, и все-таки жену зарезал (у покойной было на самом деле четыре раны). Околоточный уже не заметил в нем ни особого волнения, ни особой растерянности. По-видимому, сознание, что хотя и сломанным, почти негодным для целей убийства ножом, а дело сделано, его отрезвило и успокоило. Когда его привели обратно в квартиру, где на полу в задремавшей кверху сорочке лежала убитая, он, по показанию всех свидетелей, стоял уже "бесчувственно", не проронив ни одного слова, и только руки, которые только что окровавил при убийстве, он почему-то прятал в карманы".

Небрежный слог оратора в этом коротком, правдивом и неприкрашенном рассказе как будто намеренно подчеркивает неприглядную прозу жизни. Но художник видит в ней нечто значительное и, сразу меняя тон, обращает слушателей к более широкому ее пониманию.

"Дело было сделано. Дело кровавое. Дело, требовавшее не только физической силы, но и

огромного подъема душевного. Он сам стоял перед ним, бессильный и жалкий, точно перед созданием чьего-то могучего духа, чуждого ему самому. По отзыву всех знавших его, он – натура пассивная, мягкая, дряблая, почти безвольная. Он всегда и всем уступал. Жена была его по щечкам, когда хотела".

– Как же это случилось? – спрашивает оратор и в немногих простых словах рассказывает печальную историю супружества; она заканчивается безотрадным описанием. По удостоверению свидетелей, покойная Кашина уже так втянулась в свою пьяную и развратную жизнь, что не в силах была изменить ее.

"С утра он напивался; дети остаются весь день на руках случайной няньки, она же шатается по квартире без дела, шумит, ругается, иногда бежит куда-то. Прислуга подозревает, что в дворницкую. Подчас она еще дразнит мужа: "А я к Ваське пойду!" Он отвечает ей: "Вот дура", за что с ее же стороны следуют пощечины и ругательства. Она увлекает его пьянствовать вместе, и он начинает попивать".

Оратор напоминает, что супружеская жизнь требует взаимных уступок, и признает это естественным и неизбежным.

"Все можно стерпеть и все можно вынести во имя любви, во имя семейного мира и благополучия: и несносный характер, и воинственные наклонности, и всякие немощи и недостатки. Но инстинктивно не может вынести человек одного: нравственного принижения своей духовной личности и бесповоротного ее падения. Ведь к этому свелась супружеская жизнь Кашиных. Мягкость, уступчивость мужа не помогли. Наоборот, они все ближе и ближе придвигали его к нравственной пропасти. Он уже стал попивать вместе с женою, дети были в забросе. Еще немного, и он, пожалуй, делился бы охотно женою с первым встречным, не только с Василием Ладугиным... Он бы стал все выносить. Мрачная, неприглядная клоака, получавшаяся из семейной жизни благодаря порокам жены, уже готова была окончательно засосать и поглотить его".

"Но тут случилось внешнее событие, давшее ему новый душевный толчок. Умер любимый отец, предостерегавший его от этого супружества. Кашин почувствовал себя еще более одиноким и жалким, еще более пришибленным и раздавленным. В вечер накануне убийства он плакал, а жена пьяная плясала. Ночью случилось столкновение с женой, новая пьяная ее бравада: "Я к Ваське пойду!" – и он не выдержал, "не стерпел больше": он зарезал ее".

"Господин товарищ прокурора отрицает здесь наличность "умоисступления", подлежащего оценке психиатров-экспертов; я готов с ним согласиться. Тут было не исступление ума, не логическое заблуждение больного мозга, тут было нечто большее. Гораздо большее! Тут было исступление самой основы души – человеческой души, нравственно беспощадно приниженной, растоптанной, истерзанной! Она должна была или погибнуть, или воспрянуть хотя бы ценою преступления; она отсекала в лице убитой от самой себя все, что мрачило, топтало в грязь, ежеминутно и ежесекундно влекло к нравственной гибели. И совершил этот подвиг ничтожный, слабовольный, бесхарактерный Кашин..."

Художественная сила этой речи не требует пояснения; технический расчет заключается в том, что защита проведена в высоте, настолько приподнятой над обвинением, что прокурору не дотянуться до защитника, а присяжные, увлеченные в "пространство холодное", где захватывает дух и сжимается сердце, не захотят отрезвиться, не захотят действительности. Логически возразить на эту защиту очень легко: убийство – не подвиг, а преступление. Как поэт, как художник, оратор волен говорить, что жена тянула мужа в бездну. Но ведь тянула не рукой, не веревкой, не цепью; ведь и бездны никакой не было; это – устарелые общие места; Кашину стоило уйти или прогнать жену, и он освободился бы от ее растлевающего влияния, очистился бы истинным подвигом души, а не чужой кровью. Обвинитель мог сказать все это; но

присяжные не стали бы слушать его и во всяком случае не пошли бы за ним.

Охотник спускает сокола с цепи; сокол летит под облака, вьется над полем, гонясь за испуганной дичью, и после стремительного удара послушно возвращается на плечо хозяина. Оратор ведет свою мысль по страницам дела, вчитываясь в каждую строку, пригибаясь к сумеркам жизни, где идет работа в поте лица своего и "ползет окровавленное злодейство", но временами он поднимает голову, и смелая мысль его в свободном полете несется ввысь, к самому солнцу. Но она не уйдет от человека; он опустил голову, и она опять в его власти, он господин ее.

Года три тому назад мне пришлось прослушать в нашем окружном суде одно дело об угрозе полицейскому чиновнику при исполнении им служебных обязанностей. Где-то на Кировской улице, на заднем дворе, в подвале, была иноверческая молельня; дворник сообщил об этом в участок; закон о свободе вероисповеданий еще не существовал; помощник пристава отправился на место, чтобы составить протокол. Когда он постучался в квартиру, хозяин, мелкий ремесленник, показался на пороге с топором в руке и грубо крикнул, что никого не впустит к себе и зарубит всякого, кто попытается войти. Полицейские ушли и в участке составили акт по поводу этой угрозы. Происшествие, как видите, самое заурядное; наказание за проступок по 286 ст. Уложения о наказаниях – тюрьма до четырех месяцев или штраф не более ста рублей. Товарищ прокурора сказал: поддерживаю обвинительный акт. Заговорил защитник, и через несколько мгновений вся зала превратилась в очарованный, встревоженный слух. Защитник говорил нам, что люди, оказавшиеся в этой подвальной молельне, собрались туда не для обычного богослужения, что это был особо торжественный, единственный день в году, когда они очищались от грехов своих и находили примирение со Всевышним, что в этот день они отрешались от земного, возносясь к божественному; погруженные в святая святых души своей, они были неприкосновенны для мирской власти, были свободны даже от законных ее запретов. И все время защитник держал нас на пороге этого низкого подвального хода, где надо было в темноте спуститься по двум ступенькам, где толкались дворники и где за дверью в низкой убогой комнате сердца молившихся уносились к Богу... Я не могу передать здесь этой речи и впечатления, ею произведенного, но скажу, что не переживал более возвышенного настроения. Заседание происходило вечером, в небольшой тускло освещенной зале, но над нами расступились своды, и мы со своих кресел смотрели прямо в звездное небо, из времени в вечность.

Вы назовете меня софистом, вы скажете, что этот пример никуда не годится: полицейский протокол совпадал с исключительным религиозным торжеством. Я отвечу, что ремесленник не заметил бы этого совпадения или, заметив, ничего не сумел бы извлечь из него; а оратор-художник вложил в него одну из высших идей, доступных уму человека. Хотите другой пример? Вспомните, что кардинальный вопрос о границах законной власти присяжных заседателей, вопрос о возможности оправдания сознающегося подсудимого при отсутствии законных оснований невменения, был недавно разрешен не по делу о каком-нибудь страшном убийстве, не в важном политическом процессе, а по делу мещанина Семенова, обвинявшегося в краже.

Каждое уголовное дело может быть для оратора желанным случаем проявить всю присущую ему творческую силу, дав в нем отражение своей личности, наложив на него свой отпечаток. Но чтобы речь его была истинно художественным произведением, необходимо еще одно условие: оратор должен обладать живой фантазией. Это драгоценное свойство в детстве есть у каждого из нас; с годами мы, к сожалению, часто теряем его. Но без этого дара, хотя бы в малой доле, мы не можем создать ничего в области искусства. В книжке сказок Андерсена есть рассказ о маленьком домовом, который жил в мелочной лавке. Он видел однажды, как студент, покупавший колбасу, выпросил у лавочника старую рваную книжку, служившую для обертки

товара, и бережно унес ее к себе на чердак. Ночью, когда все в доме улеглись спать, домовый пробрался наверх к двери студента и заглянул в щелку. Студент сидел за столом и читал книгу, взятую у лавочника. Обыкновенно у него в комнате бывало очень темно; но на этот раз – о чудо! – из книги огненным стволом выросло роскошное дерево с золотыми ветками; они поднимались до самого потолка и протянулись над головой юноши; на них сверкали цветы невиданной красоты и качались райские птицы, распевая неслыханные песни; вся убогая каморка была залита светом, благоуханиями и дивной музыкой...

Вы любите людей, вы чувствуете поэзию жизни, вы хотите быть оратором-художником. Возьмите у секретаря ваше дело в истрепанной синей обложке, положите его у себя на столе и вечером, в тиши своего кабинета, прочитайте его не спеша; прочитайте раз, другой, третий. На каждой странице, где-нибудь в уголке, вы заметите несколько букв: это называется скрепою следователя. Читайте дело, и пусть на каждой странице его явится ваша скрепа, загорится и засветится ваша мысль и ваше чувство; и если перелистывая его измятые страницы, вы на минуту станете поэтом, если раскинутся над вами пламенные ветки волшебного дерева, распахнутся крылья божественной фантазии, не бойтесь этой минуты! – придя на суд, вы скажете вашим слушателям настоящую речь.

В учебниках риторики придается большое значение порядку изложения оратора. Квинтилиан указывает, что речь должна быть составлена с тщательным расчетом. Надо обдумать, нужно вступление или нет, следует ли излагать обстоятельства дела в непрерывной связи или отрывками; начать ли с начала или с середины, как Гомер, или с конца; не лучше ли совсем обойтись без пересказа фактов; выдвигать ли вперед свои соображения или предварительно разобрать доводы противника; когда бывает выгоднее сразу показать свои лучшие доводы, когда лучше приберечь их к концу; к чему заранее расположены судьи и что может быть внушено им лишь с осторожной постепенностью; опровергать ли улики в их совокупности или каждую отдельно; следует ли избегать пафоса прежде заключения или вести всю речь в повышенном тоне; предпослать ли юридическую оценку нравственной или наоборот; о чем говорить раньше: о прошлом подсудимого или о том, что теперь вменяется ему в вину. Все это, несомненно, имеет значение, но мне представляется, что трудность в распределении материала не так велика. Я ограничусь поэтому здесь немногими краткими замечаниями.

В общем плане речи необходимо соблюдать логическую последовательность, в изложении каждого раздела – последовательность времени. Это не требует пояснений.

Составные части речи должны быть отграничены резко друг от друга; здесь изящество уступает целесообразности. Незаметный переход от одного предмета к другому бывает часто достоинством в письменном изложении; в речи это большая ошибка, если только это не риторический прием для того, чтобы обойти предрассудок или смягчить нерасположение слушателей. В виде общего правила можно посоветовать оратору перед каждым новым отделом речи указывать в немногих словах его содержание, ибо надо сделать все, чтобы слушателям было легко следить за мыслью говорящего. Это можно сделать и по отношению ко всей речи в виде вступления и затем напоминать указанное заранее при переходе от одного раздела к другому. Приступая к защите Варвары Диттель, Лохвицкий сказал: "Когда мать обвиняется в убийстве единственного сына, то чтобы понять такое страшное преступление, нужны непременно три вещи: во-первых, чтобы эта женщина была чудовище; во-вторых, чтобы интересы, которые руководили ею, были такой чрезвычайной важности, что без удовлетворения их ей нельзя было существовать, она сама погибла бы, и, наконец, в-третьих, чтобы обвинить в таком преступлении, нужны доказательства самые твердые, самые точные" *(99).

Читатель, желающий изучить подразделения речи по правилам классической риторики, найдет их у Цицерона и Квинтилиана. Я сказал бы: не ищите плана; он найдется сам, пока вы будете думать о деле. Это будет плод бессознательной, а потому и безыскусственной работы; следовательно, будет естественный план; когда же он найдется, попробуйте переставить его части. Возможно, что этим путем вы создадите более интересную схему изложения. Чем меньше составных частей в речи, тем лучше. Речь должна быть краткой; краткость же заключается не в том, чтобы она была непродолжительна, а в том, чтобы в ней не было ничего лишнего. Оратор, который решится предупредить слушателей, что речь его разделяется на двенадцать частей, погубит себя, хотя бы речь в целом и не была длинной. Его противник скажет: дело должно быть для вас понятно, господа присяжные заседатели, я коснусь только двух-трех обстоятельств, которые остались не вполне разъясненными на судебном следствии. У слушателей, естественно, сложится представление, во-первых, что оратор убежден в своей правоте, во-вторых, что то, о чем он будет говорить, имеет особенное значение для дела и, в-третьих, что он не скажет ничего лишнего. Этим самоограничением и уважением ко вниманию слушателей оратор выговаривает

себе право разобрать поставленные им вопросы так подробно, как найдет нужным, и обязывает присяжных относиться внимательно к каждому его слову. Может быть, первая речь скажется гораздо короче; они все-таки охотнее прослушают вторую.

Надо иметь в виду две задачи: во-первых, составить речь как можно короче и, во-вторых, вести судебное следствие так, чтобы еще более сократить ее.

Если после судебного следствия самое лучшее из всего продуманного вами окажется лишним, будь то половина вашего труда, вы должны выбросить ее из речи со всеми роскошными мелочами. Когда можно купить землю за тысячу червонцев, к чему платить две? Если надо доказать, что дважды два – четыре, нужно ли прибавлять, что трижды три – девять? Да, жаль! Там были такие остроумные мысли, такие блестящие картины! – Может быть. Но суд не выставка роскоши, а суровое дело.

О допросе свидетелей

Участие сторон в судебном следствии не входит в непосредственное содержание этой книги. Но всякому судебному оратору необходимо иметь в виду одно основное соображение: судебная речь есть дополнение судебного следствия, а не наоборот; поэтому, как я сейчас говорил, все, что возможно, должно быть сделано до прений.

Это правило должно бы стоять во главе заповедей судебного красноречия. Идеальная обвинительная речь – это поддерживаю обвинение; идеальная речь защитника – требую оправдания. Что означала бы такая речь? Что дело решено фактами, а не словами, что устранено влияние случайности – превосходства ораторского таланта на решение судей или присяжных.

В нашей судебной среде признается бесспорно, что успех оратора в уголовном процессе зависит не столько от его речи, сколько от умения "вести" судебное следствие, то есть выяснять перед судьями и присяжными обстоятельства дела, доказывающие и подтверждающие справедливость того или иного решения. И старейшие люди, и совсем юные обвинители, и защитники охотно повторяют это указание; в устах молодежи оно даже звучит некоторым притязанием на быстро усвоенную опытность и знание судебного дела. Мне кажется, трудно привести более твердо установленное положение и, говорю с уверенностью, еще труднее найти правило, которое с такой бессознательной, но настойчивой последовательностью забывается нашими прокурорами и защитниками на практике.

До судебного следствия каждый свидетель представляет из себя сомнительную величину. Он может подтвердить сказанное у следователя, усилить свое показание или отречься от него, может быть изобличен во лжи или вынужден подтвердить факты, которые хотел скрыть. В недавнем процессе было сказано, что перекрестный допрос есть то искусство, посредством которого можно заставить человека отречься от всего, что он знает, и назвать себя не своим именем. Это справедливо; но для людей честных и умелых это средство раскрыть то, что без него осталось бы недоступным для суда; притом это средство положено в основание уголовного судопроизводства, установленного у нас законом, и до сих пор лучшего не найдено. Обвинитель и защитник должны обладать как искусством красноречия, так и искусством вести судебное следствие, и надо помнить, что второе важнее первого. Если на судебном следствии стороной установлены факты, изобличающие или оправдывающие подсудимого, и представитель этой стороны не сумеет сказать речи, судьи или присяжные могут сами сделать логические выводы из фактов. Напротив того, речь, не основанная на фактах, то есть на данных судебного следствия, никого убедить не может. Но искусство вести судебное следствие до сих пор находится у нас в самом жалком положении, и нам надо учиться ему у англичан, давно достигших в нем поразительного умения. Я должен повторить здесь то, что говорил выше об Уложении о наказаниях и Уставе уголовного судопроизводства: прежде чем изучать искусство речи, надо изучить книжку, заключающую в себе правила искусства допроса свидетелей. Эти правила заключаются в названном выше сочинении Г. Гарриса "Hints on Advocacy". Там вы найдете указания к тому, чтобы научиться извлечь из судебного следствия все, что может служить к раскрытию истины; но это умение столь тесно связано с задачами судебной речи, что я должен сказать о нем здесь несколько слов.

Живая основа процесса заключается в показаниях свидетелей и экспертов; в их словах загадка и разгадка дела. Поэтому наиглавнейшая, почти единственная заслуга сторон в ведении судебного следствия состоит в умении вести допрос. Повторяю, в нашем суде его нет, и никто не заботится о его развитии. Можно сказать, во-первых, что большая половина вопросов,

задаваемых у нас в уголовном суде с присяжными заседателями, суть вопросы праздные; можно сказать, во-вторых, что из другой, меньшей половины большая часть состоит из вопросов, вызывающих неблагоприятные ответы для спрашивающих; и я утверждаю, в-третьих, что в большинстве этих последних случаев неблагоприятный ответ бывает заранее предreshен неудачным вопросом.

Все искусство наших обвинителей и защитников ограничивается выпиской показаний, данных свидетелями на предварительном следствии, скучными вопросами по этой указке и задорным требованием оглашения протокола ввиду "явного противоречия" при малейшей неточности или ошибке свидетеля или следователя.

Может быть, это преувеличение? Начнем с первого положения и будем терпеливы.

Мы в суде. Подсудимый обвиняется в краже верхнего платья из передней. Допрашивается кухарка потерпевшего. Защитник спрашивает:

– У вас квартира постоянно отперта бывает?

– Нет, заперта бывает.

– Кто же мог отворить подсудимому дверь?

– Не знаю.

– Когда входят в квартиру, то первая комната прихожая?

– Прихожая и кухня.

– Ваше пальто висело?

– Висело.

– На вешалке?

– Да.

– Какое пальто?

– Зимнее, ватное.

– Когда он вошел в квартиру, вас в передней не было?

– Нет, я была в кухне; хозяин был в передней.

– Хозяин увидел вошедшего из кухни или из другой комнаты?

– Не знаю.

– А вы были в кухне?

– Да, я была в кухне. Я вышла и увидела, что он стоит, хозяин его держит, а пальто на полу лежит.

– На ваших глазах он брал пальто?

– Его держали, а пальто лежало на полу; хозяин видел, как он бросил пальто.

– Пальто это осталось в ваших руках?

– Да.

– Оно и теперь у вас?

– Да.

– Так что он не воспользовался им?

– Нет.

– Он оправдывался? Он отрицал свою виновность?

– Нет.

Чтобы оценить все значение последнего вопроса, надо иметь в виду, что подсудимый на суде признал себя виновным.

– Так что он еще на месте сразу говорил, что не брал пальто?

– Да, он это говорил.

Другой пример.

Дворник обокрал хозяйский магазин. Происшествие было 22 ноября 1908 г.; дело слушается

23 июля 1909 г.

Допрашивается хозяин; защитник спрашивает:

– В каком месяце поступил к вам на службу Каблуков?

– В конце октября или начале ноября.

– Какого года?

– Того же года.

– Тысяча девятьсот восьмого или тысяча девятьсот девятого?

– Тысяча девятьсот восьмого.

– А какого числа совершена кража?

– Не помню точно; около двадцатого.

– А когда его взяли в сыскное отделение?

– Не помню точно; кажется, через день, около двадцатого.

– Значит, сколько времени он жил у вас?

– Около месяца.

– За какую плату?

– Двадцать пять рублей.

– А сколько вы ему заплатили?

– Не помню.

– Вы сказали на вопрос председателя: не 8 рублей, а несколько более; все 25 рублей или нет?

– Не помню.

– Вы сам хозяин; вы должны знать, сколько платите своим людям.

– Я не помню; я могу соврать; иногда даю деньги я, иногда старший дворник.

– Сколько дали вы, сколько старший дворник?

– Не помню; я этого не записывал; я могу соврать.

Защитник просит огласить показание свидетеля ввиду запямятования. Председатель заявляет, что в протоколе допроса те обстоятельства, о которых спрашивал защитник, не упоминаются.

Третий случай.

Потерпевший шел по лестнице большого петербургского дома. К нему подошел незнакомый человек, сорвал с него часы и вбежал в квартиру пятого этажа, где уютится по комнатам рабочая беднота. Прислуга видела, что кто-то вбежал в комнату, где спали несколько человек. Ограбленный пошел к старшему дворнику. Тот провел его наверх; они осмотрели спавших в первой комнате при свете лампы или спичек; ограбленный не узнал похитителя; дворник повел его в другие комнаты, и там виновного не нашли. По догадкам прислуги один из спавших в первой комнате был предан суду.

Допрашивается старший дворник. Можно думать, что он не проявил достаточного усердия при осмотре жильцов первой комнаты, по крайней мере таково мнение товарища прокурора. Он расспрашивает свидетеля о том, как показывали спавших ограбленному, как приподнимали их с постели, как поворачивали к нему их лица и т. п.; на все эти ответы свидетель, несмотря на видимое желание, ответить не может. Это не удовлетворяет обвинителя. Он уже с раздражением спрашивает:

– Почему ограбленный не мог узнать грабителя?

Так как на этот вопрос уже совсем невозможно ответить, то свидетель в недоумении молчит. Недовольному обвинителю это молчание кажется злонамеренным упорством. Он повторяет вопрос, повышая голос. Свидетель, наконец, произносит несколько неопределенных слов. Обвинитель с негодованием спрашивает:

– Для чего вы водили задержанного по другим номерам, зря будить людей?

Человека ограбили, он пожаловался дворнику, тот предъявляет ему всех жильцов квартиры, в которой скрылся похититель, и прокурор заявляет, что это делается зря. Что должны думать присяжные?

Если читатель сомневается в арифметической верности моего первого положения и не жалеет времени, пусть высчитает, сколько из приведенных выше вопросов могут быть названы не пустословием. А если принять во внимание, что примеры взяты из числа тех преступлений, которые составляют подавляющее большинство наших уголовных дел, и признать то, что знает всякий, а именно что это примеры типичные, а отнюдь не исключительные, то вывод будет очень неутешительный.

Обратимся ко второму положению: если вопрос не ведет к ответу бессодержательному, то в большинстве случаев вызывает ответ, невыгодный для спрашивающего. Ограничиваюсь пока одним примером; ниже найдутся другие.

Происшествие было не совсем обыкновенное. Днем на Волковом поле, на расстоянии несколько десятков шагов от обитаемых домов, две женщины, мать и дочь, собирали щавель. К ним подошел мальчишка 17 лет, расстегнутый, и, не говоря ни слова, схватил девушку за грудь, опрокинул ее на землю и бросился на нее с движениями, не оставлявшими сомнения в его намерении. Мать ухватила за него и отбросила его в сторону; между ними началась борьба. Он запустил себе два пальца в рот и свистнул; из-за ближнего забора выбежали трое-четверо парней; женщины с криком побежали в сторону жилья; подсудимый и его товарищи с угрозами пустились за ними в погоню, но догнать не могли, и те спаслись. Через два часа мальчишка, по прозвищу Судьба, был задержан; в участке женщины опознали его; он признался в покушении на изнасилование дочери, прибавив: я бы сам не пошел, меня послали.

В суде на вопрос председателя подсудимый сказал: виновен – и расплакался, по-видимому, искренно, но на предложение рассказать подробности ответил, что его напоили товарищи и он был настолько пьян, что не может вспомнить ничего.

– Кто же были эти товарищи? Как их зовут? – спросил председатель.

– Не знаю.

Свидетели подтвердили факты, установленные предварительным следствием. Девушка говорила робко и вяло; мать, напротив, дала необыкновенно яркую картину нападения и произвела сильное впечатление. Почувствовалось, что нападение, сначала нелепое, с появлением товарищей подсудимого сделалось страшным; кроме того, она решительно заявила, что подсудимый совсем не был пьян, а его товарищи грозили ножами. Подсудимый сказал, что его избили в полиции.

Защитник спросил свидетельницу:

– Почему у подсудимого уши оказались в крови?

– Да он там, в деревне, после этого (после нападения) задрался с кем-то.

– То есть как это задрался? Вы знаете, что это было на самом деле, или нет?

– Да говорили, что он человека какого-то пырнул ножом три раза.

Следующий свидетель, местный житель, давал показание очень неохотно и нерешительно, но на вопрос прокурора сказал, что подсудимый был дурного поведения. Защитник спросил:

– Почему вы думаете, что он был дурного поведения?

Свидетель отвечает уклончиво. Защитник настаивает:

– Вам известны какие-нибудь его предосудительные поступки?

– Нет, поступки неизвестны, а только его тогда на улице с ножом видели; он то в стену его воткнет, то на людей замахнется.

Остается подтвердить третье положение. Справедливо ли, что в большинстве случаев

невыгодный ответ бывает предрешен самим вопросом? Отвечаю опять примерами.

Допрашивается дворник, поймавший подсудимого у взломанной двери с узлом украденных вещей. Защитник спрашивает:

– Не произвел ли он на вас впечатление робкого человека?

Свидетель отвечает:

– Да; он испугался и хотел бежать.

Через пять минут оглашаются справки о судимости, и присяжные узнают, что робкий человек был осужден за убийство в драке и судился за нанесение своей бабке тяжких побоев, повлекших смерть.

Перед присяжными двое подсудимых. Один из них два раза был осужден за кражи и раз за грабеж. Допрашивается сыщик; защитник спрашивает:

– Скажите, вы раньше знали Романова?

Свидетель делает короткую паузу и веско произносит:

– Да, знал. Он известный вор.

Какого другого ответа мог ожидать защитник? Допрос переходит к его товарищу. Несмотря на полученное предостережение, он повторяет тот же вопрос:

– Скажите, пожалуйста, а Матвеева вы знаете?

Агент отвечает:

– И его, и всех его братьев знаю. Известные воры; только, к сожалению, они до сих пор не попадались.

Матвеев ранее не судился; если бы не защитник, его прошлое было бы безупречно в глазах присяжных.

Подсудимый обвиняется по 2 ч. 1484 ст. Уложения о наказаниях в ножевой расправе. Защитник спрашивает ночного сторожа:

– Вам приходилось когда-нибудь отправлять в участок Степанова?

– Как помнится, много раз.

Nabet *(100) .

Что все эти ответы были неизбежны или в высшей степени вероятны, понятно всякому. Но здесь невольно приходит в голову мысль: вопросы защитников клонились к выяснению истины; следовательно, защитники служили правосудию. Так. И выходило, что у подсудимых по два изобличителя и ни одного защитника. Если бы приведенные вопросы раздавались с прокурорской кафедры, это было бы правильно; но когда они раздаются со стороны защиты, состязательный процесс превращается в нечто совершенно недопустимое. Нельзя признать нормальным такой порядок вещей, при котором наряду с обвинителем, назначенным государством, суд назначал бы подсудимому еще казенного потопителя под видом защитника. Между тем, если спросить опытных судей и товарищей прокурора, они скажут, что в большинстве случаев для подсудимого было бы лучше, если бы у него не было казенного защитника. По следующему примеру можно видеть, что эти медвежьи услуги подсудимым не ограничиваются неловкими вопросами свидетелям.

Крестьянин Васильев ударом ножа нанес жене старшего дворника Андреевой тяжкую рану в живот. На суде он признал себя виновным и рассказал, что ударил женщину сгоряча, в ответ на полученную от нее пощечину, ножом, случайно подвернувшимся ему под руку в квартире дворника. Прокурор отказывается от допроса свидетелей; защитник требует допроса.

Прошу читателя остановиться на минуту и спросить себя, правильно или нет это требование с точки зрения интересов подсудимого. Свидетели: раненая женщина, ее муж и ее племянник. Могло ли быть у защитника разумное основание рассчитывать, что их показания будут выгодны для подсудимого?

На вопросы защитника женщина объясняет, что лечилась три месяца и до сих пор страдает от раны, принуждена носить бандаж; о поводе преступления она не упоминает. Ее муж показывает, что в день происшествия Васильев был отправлен им, как старшим дворником, в участок за буйство, а будучи выпущен оттуда, зашел в железную лавку и купил там нож; поведение его было настолько подозрительно, что свидетель предупредил своих подручных, чтобы они остерегались его, а лавочнику сказал, что нож куплен со злым умыслом. Заметим, что все эти факты были удостоверены свидетелем и на предварительном следствии: защитник не мог о них не знать.

После этих показаний для присяжных оставались невыясненными два обстоятельства: что вызвало нападение подсудимого на Андрееву и куда девался нож. Товарищ прокурора заявил, что не нуждается в показании неявившихся свидетелей; защитник просил огласить показание свидетеля Платонова, подручного дворника. Присяжные услышали следующие отрывки: "Мы отвели Васильева в участок по распоряжению старшего дворника; мы его пальцем не тронули, да он нам и не сопротивлялся, а спокойно шел, только по пути твердил, что "попомнит старшему"... Я готов удостоверить под присягой, что перед тем, как Васильев ударил ножом Андрееву, она его по лицу не била... Когда мы везли его на извозчике через Обводный канал, он просил меня освободить ему руку, чтобы высморкаться; я освободил ему немного руку, он сунул ее в карман пиджака или брюк и сейчас же выдернул ее, не вынув платка. Впопыхах мне это было ни к чему, но потом, когда в участке при обыске у Васильева не нашли ножа, я подумал, что он в эту минуту выкинул бывший у него нож".

Можно ли здесь сказать, что защитник только помог подсудимому попасть в яму? Если выражаться прямо, надо сказать, что он своими руками затянул на нем петлю. Так что же? Подсудимый заслуживал каторги, и мы опять должны признать, что грубая ошибка, нравственно преступный промах защитника послужили справедливости, открыли глаза правосудию. Но разве ошибся только защитник, сделавший то, что в его обязанности не входило? Разве не было грубого промаха со стороны прокурора, долг которого заключался в полном изобличении преступника? Или обвинитель не читал дела, или отнесся к своим обязанностям с непростительной небрежностью. А последствие? Справедливый уголовный приговор, основанный на двух грубых ошибках. Это не слишком успокоительно.

В другом процессе, окончившемся столь же неудачно для подсудимого, судебный пристав спросил защитника, зачем он требовал допроса свидетелей. Защитник ответил: на всякий случай; я думал, что-нибудь выяснится.

Мне кажется, я мог бы от имени многих будущих сидельцев на скамье подсудимых принести глубокую благодарность сказавшему эти слова. True words are things, говорит Байрон [* \(101\)](#), а я никогда не нашел бы столь верных слов, чтобы высказать будущим защитникам мое предостережение. На всякий случай, то есть и на случай, если кому из свидетелей удастся потопить подсудимого. Орел или решка. Надеюсь, читатель, что, если вы не достигли еще совершенства в искусстве, вы запомните эти три словечка и не будете играть в орлянку на шкуре подсудимого.

Привожу некоторые выдержки из книги Гарриса. Сопоставление их с наблюдениями в русском суде представляется мне в высшей степени назидательным. "Надо быть очень искусным адвокатом, чтобы в длинном перекрестном допросе ни разу не натолкнуть свидетелей на ответы, невыгодные для спрашивающего, не обнаружить фактов, подкрепляющих обвинение. Мне приходилось видеть людей, осужденных только вследствие ошибок их защитников, и несомненных преступников, уходивших на свободу только вследствие неумелости обвинителей. Бывают вопросы неудачные, бывают и неправильные. Нужна величайшая осмотрительность, чтобы решить, следует ли предложить известный вопрос или нет. Правительству нет нужды

заботиться о государственных обвинителях, пока существуют начинающие защитники, ибо эти юные господа могут задавать свидетелям вопросы по таким обстоятельствам, о которых обвинители спрашивать не имеют права; мало этого, они имеют еще и возможность опросить обвиняемого наедине, а потом под видом вопросов свидетелям рассказать во всеуслышание все, что узнали от него с глаза на глаз. Я не могу отказаться от грустной мысли, что немало невинных людей погибло от последствий таких перекрестных допросов".

Я привел этот отрывок потому, что это говорит не прокурор, не судья, а адвокат, бывавший и обвинителем, и защитником, и говорит о защите в Англии, где устное судопроизводство существует не пятьдесят лет, как у нас, а шестьсот [*\(102\)](#) . Может быть, некоторые самонадеянные люди задумаются над этими словами.

Мне кажется, из сказанного выше уже можно вывести несколько практических указаний, которые при всей своей очевидности должны быть признаны полезными и существенными, ибо до сих пор не усвоены нашими судебными деятелями:

1. Не следует спрашивать свидетелей об обстоятельствах самоочевидных или бесспорно установленных. Это потеря времени.

2. Не следует спрашивать об обстоятельствах безразличных. Это тоже потеря времени.

3. Каждый вопрос должен быть основан на разумном расчете.

Из этого правила вытекают следующие три:

4. Не следует задавать вопросов, когда шансы благоприятного ответа незначительны. Неразумно защитнику спрашивать добросовестного свидетеля о занятиях профессионального вора; разумно спросить обокраденного человека, не преувеличена ли оценка похищенного, когда украденные вещи оценены в 320 рублей; неразумно, когда он оценил их в 500 рублей; если здравый смысл допускает спор о действительной стоимости предмета кражи, то соображения защитника будут казаться более убедительными, если оценка, сделанная на дознании или предварительном следствии, не подтверждена живым присяжным показанием свидетеля.

5. Следует быть осторожным, спрашивая об обстоятельствах неизвестных или сомнительных.

Пока есть сомнение, обе стороны могут толковать его в свою пользу; устранив его, вы можете выиграть, но можете и проиграть. А если принять во внимание, что в суде, особенно в суде с присяжными, самое незначительное по виду обстоятельство может иногда решить дело [* \(103\)](#) , то логический вывод как для обвинителя, так и для защитника: in dubio abstine [*\(104\)](#) .

Товарищ председателя одного столичного суда, хорошо знающий условия судебного состязания и по прежней прокурорской службе, высказал мне однажды такой афоризм: строго говоря, вопрос следует задавать, только зная заранее ответ. Конечно, это такое правило, которого нельзя не нарушать, но я советовал бы каждому начинающему товарищу и никогда его не забывать.

Обвинение по 1612 ст. Уложения о наказаниях; допрашивается сельский староста деревни, в которой был пожар; он дает решительное показание против подсудимого. Защитник спрашивает:

– Свидетель! Вы говорили, что у вас в деревне ждали пожара. Это вы ждали или кто другой?

– Да и я, и все местное население ждало.

Свидетель показывает, что видел, как подсудимые брали вещи из его повозки, но побоялся остановить их. Защите надо быть тише воды, ниже травы. Увы! защитник спрашивает:

– Почему же вы боялись?

– А потому, думаю: лучше пусть вещи возьмут, чем ножа получу.

Следующее правило звучит, может быть, несколько странно, но я не могу умолчать о нем.

6. Не следует предлагать... детских вопросов.

Свидетельница показывает: Александр ухаживал за Антоновой; гражданский истец спрашивает:

– Скажите, пожалуйста, что вы понимаете под словом: ухаживал?

Остается недоумение: понимаем ли мы русские слова или нет.

Свидетель заявляет, что, когда подсудимого вели в участок, он извинялся перед потерпевшим. Защитник спрашивает: скажите, свидетель, в чем извинялся подсудимый? – Я полагаю, что в совершенном грабеже.– Вы так полагаете. Что же, он так и говорил ограбленному: простите, что я вас ограбил? – Нет, он этого не говорил.– Что же он говорил: простите, что я вас обокрал? – Нет.– Что же, собственно, он говорил? Припомните его точные выражения.– Да он извинялся.– Я вас спрашиваю, в чем? – Не знаю. Вы не знаете; вы знаете только, что он извинялся; может быть, он извинялся в том, что нечаянно толкнул потерпевшего? – Может быть. Защитник чувствует себя победителем, но присяжные отлично понимают, что извинение подсудимого было признанием.

Свидетельница удостоверяет, что узнала некоторые важные обстоятельства в разговоре с мужчиной, которого не называет. Защитник спрашивает:

– А кто был этот человек?

– Не знаю.

– Ну, как его имя, фамилия?

– Не знаю.

– Как же вы, свидетельница, сейчас удостоверили под присягой, что более получаса говорили с этим человеком, а теперь оказывается, вы даже не знаете его имени. Как это объяснить? Мне это представляется непонятным.

– Что же тут непонятного? Вот я с вами целый час говорю, да не знаю, как вас зовут.

Короткое молчание, во время которого все присутствовавшие, за исключением одного, испытывают легкое нравственное удовлетворение. Защитник заявляет, что более вопросов не имеет.

Другое дело. Разгром квартиры во время отлучки хозяев. Допрашивается дворник; его спрашивают:

– Отчего вы так заботились об этой квартире в отсутствие хозяев?

– Да как же не заботиться? Если дворник не будет заботиться, кто же будет смотреть?

Непродолжительное молчание, причем все присутствующие, за исключением одного, испытывают некоторое удовольствие. Защитник заявляет, что более вопросов не имеет.

Дело о разбое. Нападавших было пять человек; допрашивается потерпевший; он упоминает, что один из виновников имел маленькие усики и что дверь запиралась на крючок. Защита спрашивает:

– Отчего у вас дверь запиралась на крючок? Что вы называете маленькими усиками?

Свидетель "глупо молчит".

– Отчего вы толкнули злоумышленника, когда открылась дверь?

– Оттого, что увидал, что их трое.

– Но ведь это могли быть гости или люди, пришедшие по делу; почему же вы подумали, что это злоумышленники?

Свидетель продолжает "глупо молчать", но защитник и без ответов успел повредить себе.

Дело об убийстве.

Оглашен протокол вскрытия задушенной женщины; там сказано: "в полости матки вполне доношенный плод", и затем следует описание этого плода. К допросу приглашается эксперт, врач, производивший вскрытие; товарищ прокурора спрашивает его:

– Скажите, пожалуйста, покойная была беременна?

Другое убийство. Обвинитель спрашивает:

– Отчего вы подняли труп? Что, живой еще был человек?

– Никак нет.

– Мертвый?

– Мертвый.

– Совсем мертвый?

– Совсем мертвый.

Подобные вопросы сторон заражают и других участников судебного заседания. В недавнем громком процессе нам пришлось наблюдать крайне тяжелую сцену этого рода.

Тринадцатилетняя девочка показывала, что подсудимый подвергал ее циническим ласкам. Допрос ее продолжался около трех часов. Девочка говорила правдиво, но нерешительно, стыдилась, робела, несколько раз принималась плакать; словом, видимо страдала. Ее допрашивали, каждый в свою очередь, председатель, прокурор, гражданский истец, пятеро защитников; после этого она поступает в распоряжение эксперта. Профессор академии обратился к ней со следующими вопросами:

– Сколько времени занимался он вами?

– Не было ли у него в это время красное лицо? А глаза блестели? Было ли вам страшно? Объясните точнее, насколько вам было больно.

На все это девочка сквозь слезы шепчет: не знаю, не знаю, не знаю. Но эксперт как будто ничего не слышит или не понимает этих слов. Считаю долгом удостоверить, что благоприятная для подсудимого экспертиза этого ученого была разорвана в клочья блестящей речью обвинителя.

Все сказанное выше представляет элементарные требования, необходимые, чтобы удовлетворить основному правилу Цицерона: *prima virtus est vitio carere* [*\(105\)](#) . Но мало воздерживаться от ошибок; чтобы быть не только безвредным, но и полезным, надо выработать в себе и некоторую долю умения. Р. Гаррис приводит в другой своей книге "Illustrations in Advocacy" некоторые остроумные указания в этом отношении.

Предположим такой случай, говорит он. Подсудимый обвиняется в том, что несколько лет тому назад на деревенской ярмарке купил лошадь и заплатил за нее подложным чеком. Защита отрицает тождество подсудимого с настоящим виновником. Обвинитель, считаясь с крайней шаткостью обвинения, был очень осторожен в своей вступительной речи, и показания выставленных им свидетелей заключают в себе ровно столько улик, сколько требуется для обвинительного вердикта, если защитник не опровергнет их. Но в действительности он сделал больше этого: он любезно предоставил вам на выбор спасти или погубить подсудимого. Волей-неволей вам придется приступить к перекрестному допросу, иначе подсудимый будет осужден. Предлагаю вам семь вопросов, изложенных в известном порядке; эти семь вопросов должны решить судьбу человека.

– Первый вопрос: Были вы раньше знакомы с тем человеком, который купил у вас лошадь?

Ответ: Нет.

2. Долго ли вы были с ним в день покупки?

– Несколько часов.

3. При этом были и другие люди?

– Да, было много народу.

4. Когда вам после того пришлось в первый раз увидеть этого человека?

– Когда он был задержан; я видел его в полицейском участке.

5. Вы сразу узнали его среди всех арестованных при участке или нет?

– Я сейчас же признал его.

6. Как вы узнали его?

– По лицу, по росту, по сложению...

7. И вы готовы здесь, на суде, утверждать под присягой, что это был подсудимый?

– Без всякого сомнения.

Не узнаете ли вы, читатель, те самые вопросы, которые ежедневно повторяются у нас по всей России в уездных и мировых съездах, перед единоличными судьями, перед особым присутствием судебной палаты, в окружных судах с присяжными и без присяжных?

По таким вопросам, продолжает Гаррис, подсудимый неизбежно должен быть осужден и вот почему.

Первый вопрос был правильный. Вы знали по дознанию, какой будет ответ, но надо было, чтобы это узнали присяжные. Это важный пункт для защиты.

Второй вопрос был неправильный: во-первых, потому, что вы не могли знать, что ответит свидетель, а во-вторых, потому, что вы не могли не знать, что потерпевший постарается показать, что имел возможность хорошо приглядеться к покупателю лошади, и отлично поймет цель вашего вопроса. Потому он и сказал: несколько часов, то есть так долго, что можно потом опознать не только каждого рядового в целом эскадроне, но и каждую лошадь. Я не хочу сказать, что потерпевший должен был непременно солгать; но вы должны исходить из предположения, что перед вами может оказаться не только вполне добросовестный, но и совсем ненадежный свидетель.

Но подумайте на минуту о том, как нетрудно было при некоторой находчивости достигнуть цели вопроса, избежав вместе с тем самого вопроса. Пять-шесть незначущих и по виду не относящихся к существу дела вопросов могли бы посредством ряда отдельных подробностей выяснить, что продавец и покупатель провели вместе не несколько часов, а всего несколько минут. Это обстоятельство имело для защиты огромное значение; оно было сметено из дела одним неловким вопросом. Ошибка заключалась в самой форме его. Вы хотели получить ответ благоприятный для подсудимого, а на самом деле подвели его под убийственный удар.

И третий вопрос был неправилен по форме; он сразу давал свидетелю ключ к своему скрытому смыслу и тем самым лишал вас права рассчитывать на благоприятный ответ. Цель вопроса заключалась в том, чтобы показать, что потерпевший не мог узнать человека, которого видел среди множества других людей. Вы могли бы доказать это, если бы действовали иначе. Свидетель сказал то, что сказал, для того, чтобы дать прямой и решительный ответ и вместе с тем показать, что у него никаких сомнений в личности виновного нет, сколько бы народу на ярмарке ни было.

Четвертый вопрос был правильный, ибо не допускал иного ответа, кроме данного свидетелем, а равно и потому, что им устанавливалось, что между встречами на ярмарке и в участке прошел большой промежуток времени.

Пятый вопрос был неправильный во многих отношениях, но главным образом потому, что в той форме, в которой он был предложен, он совсем не допускал ответа, благоприятного подсудимому. Ответ, конечно, был против него; при этом свидетель ответил так, как будто бы сказал: "Я не сразу указал на него, а я внимательно присмотрелся к нему и тогда признал его безошибочно".

Еще хуже был вопрос: как вы узнали его? Неправильность этого вопроса заключается в том, что всякий ответ на него должен был оказаться неблагоприятным для защиты; этот вопрос давал потерпевшему желанный случай представить основания его уверенности в тождестве подсудимого с виновником и придать этой уверенности вид не личного суждения, а факта. Ни один свидетель не укажет на соображение, подрывающее достоверность его собственного

показания.

Седьмой вопрос был также неправильный по всяческим основаниям. Это уже был не перекрестный допрос, а торжественное подтверждение всех губительных для подсудимого показаний потерпевшего; в сущности, защитник спрашивал свидетеля, готов ли он сделать то, что уже сделал.

Попытайтесь действовать с расчетом.

Первый вопрос останется без изменения.

Вместо второго вопроса спросите свидетеля, где виделся он с подсудимым. Это может избавить нас от необходимости задавать третий вопрос. Свидетель скажет, что встреча произошла на ярмарке, вернее всего, в трактире, где толкается куча народу, барышники и всякий подозрительный сброд.

Вслед за тем вы можете предложить вполне безопасный вопрос: "В котором часу?" Свидетель не может угадать вашей мысли и говорит: "Около двенадцати". Допустим, что это так и было.

Следующий, то есть четвертый, вопрос ваш развеет их через несколько минут после встречи, вместо того чтобы оставить их вместе на несколько часов (чего быть не могло): продавец лошади сел за обеденный стол в трактире в половине первого, а подсудимый расстался с ним до обеда.

Пятый вопрос установит, что с той минуты, когда он вручил чек потерпевшему, они не видались ни разу до того дня, когда последний признал его в полицейском участке.

Два-три вопроса об одежде покупателя, о цвете его глаз, о том, был ли у него платок на шее, был ли поднят или опущен воротник, поставят свидетеля в тупик, и, если только он не одарен терпением Иова, он начнет терять хладнокровие и кончит воплем отчаяния: "Мыслимо ли помнить все это через несколько лет?"

Еще один-два вопроса о бороде незнакомца, о том, были ли у него выбриты щеки или нет, и изблечитель подсудимого убедится, что гулять на ярмарке гораздо приятнее, чем стоять за свидетельской решеткой.

И присяжные могут только сказать: нет, не виновен.

Мы можем вывести из этого отрывка английского юриста общее положительное правило:

7. Каждый вопрос должен иметь определенную цель.

Следующее правило является дополнением предыдущего:

8. Следует остановиться вовремя.

Парикмахер Шульц облил жену серной кислотой; она ослепла на оба глаза. В числе свидетелей защиты был маленький человечек, заявивший, что он вызван по собственному желанию показать то, что он по совести считает себя обязанным удостоверить в пользу подсудимого. За этим последовал рассказ о дурном поведении жены и жестоком разочаровании подсудимого, мечтавшего о семейном счастье. Прокурор предложил один вопрос:

– Все это известно вам со слов Шульца?

– Да.

– Я не имею более вопросов.

Гражданский истец спросил:

– Он вам не рассказывал, что бил ее?

– Нет.

– Не рассказывал, что выгонял ее по ночам на улицу?

– Нет.

Вопросы гражданского истца были уже ошибкой потому, что ответы на них были логическим выводом из ответа на вопросы прокурора. Но они были и рискованной ошибкой, ибо

свидетель мог сказать: да, рассказывал; и я сам сделал бы то же самое, если бы моя жена изменяла мне и издевалась надо мной.

Свидетель видел двух убийц, вышедших из квартиры убитой женщины; он признает первого из подсудимых; защитник второго подсудимого спрашивает:

– Вы помните другого человека, который был с рыжими усами?

– Помню.

Защитник указал на второго подсудимого и спросил:

– Это был не этот?

– Не этот.

Довольно. Это все, что требуется для защиты. Но защитник спрашивает:

– Вы ясно и решительно утверждаете: не этот?

Преступная неосторожность? Свидетель может ответить или да, или нет. Ответив "да", он нимало не усилит своего показания; защитник и без последнего вопроса имел полное право сказать, что свидетель говорил ясно и решительно. Если свидетель ответит: нет, решительно утверждать не могу, – показание, спасавшее подсудимого от каторги, сведено к простому предположению: стальная броня превращена в тряпку.

Рецидивист, самовольно вернувшийся в столицу после высылки, обвиняется в краже. Свидетель-дворник показывает:

– Заглянули под мост; там лежит вот этот человек, вроде как спросонок; он прикинулся пьяным.

Коротко, картинно, определенно.

Товарищ прокурора спрашивает:

– Вы говорите, он притворился пьяным. Значит, он был трезв?

– Не могу знать, вроде как пьяный.

– А потерпевший был выпивши?

– Так точно; тоже был выпивши.

Вот образец быстрого, решительного, самого искусного опровержения факта, установленного ясным свидетельским показанием: трезвый человек оказался пьяным. Защитник мог бы позавидовать своему противнику.

Свидетель может быть фанатиком правды; может быть циничным лжецом; возможно, что он просто плохонький человек: соврет – недорого возьмет. Вы не знаете его; не вводите его в соблазн.

9. Не задавайте вопросов, толкающих на ложь.

Подсудимый обвиняется в грабеже. Он утверждает, что признался в участке, потому что был сильно избит. Улики слабы; заявление может иметь значение. Спросите сторожа, дворника, городского, задержавших подсудимого:

– Правда, что его сильно били?

Ответ можно подсказать заранее:

– Никак нет.

Спросите:

– Кто-нибудь поблагодарил его?

Свидетель не расслышит вопроса.

– Поучили его немножко?

Если задержанного действительно били, свидетель в большинстве случаев ответит без лукавства:

– Маленько поучили.

– Самую малость?

– Да, так, немного.

– А может быть, кто-нибудь и покрепче толкнул его?

Если побои были сильные, свидетель в большинстве случаев опять скажет правду. После утвердительного ответа уже нечего спрашивать его, что он называет: толкнуть. Присяжные, "как судьи совести, как люди жизни", сами разберутся в этом. У нас в суде вопрос обыкновенно задается зловещим, угрожающим тоном и в самой неудачной, почти противозаконной форме (722 ст.):

– А скажите, свидетель, вы не били его, когда вели в участок?

Если свидетель скажет: толкнул, его пять раз из десяти спрашивают:

– Скажите, свидетель, что вы называете: толкнуть?

Помните, что вам нужно не только получить благоприятный ответ, но и получить его в наиболее благоприятной форме.

Когда свидетелю предъявляются вещественные доказательства, прокурор неизменно спрашивает его: это та самая фуражка? тот самый нож? Естественный ответ разумного свидетеля отрицательный: не знаю. Спросите: похож ли этот нож, эта фуражка на отобранные у подсудимого? – получите утвердительный ответ: очень похожи, точь-в-точь такие; в большинстве случаев на осторожный вопрос свидетель отвечает решительно: те самые и есть.

Спросите свидетеля: вы пьянствуете? – он едва ли ответит так, как бы вы хотели. Спросите его добродушным тоном:

– А, что, свидетель, вы иногда около монопольки не ходите?

Он ответит:

– Сколько угодно!

Я это слышал и жалею, что вы не слышали радостной убежденности ответа.

Существует и другой прием.

Чтобы вызвать эффектный ответ свидетеля, надо предложить ему вопрос так, чтобы ему казалось, что от него ждут не только ответа, который он должен и хочет дать.

10. Следует остерегаться опрометчивого заключения о недобросовестности свидетеля.

Лжесвидетельство на суде всегда было и, вероятно, всегда останется не слишком редким явлением. Но в значительном большинстве случаев свидетели добросовестно хотят исполнить свою обязанность. Если они часто не умеют этого сделать, то это обязывает суд и стороны помочь им, а не запугивать их. Между тем у нас обыкновенно и судьи, и стороны болезненно склонны подозревать каждого чем-либо небезупречного человека в злонамеренном искажении истины. Стоит свидетелю прибавить к своему показанию у следователя новую подробность, неблагоприятную для обвинения или защиты, как в голосе спрашивающего уже слышится раздражение, а иногда и угроза. Это тем менее допустимо, что следственные акты у нас далеко не отличаются точностью; следователь в большинстве случаев записывает показания телеграфным стилем, свидетель же говорит простым разговорным языком; следователь опускает "ненужные подробности", а свидетель простодушно повторяет их, не подозревая, что они могут быть неудобны той или другой стороне. "Скажите, свидетель, отчего вы не говорили этого у следователя?" – спрашивает недовольный обвинитель или защитник, разумея такую подробность.– "Я и у следователя то же говорил",– отвечает свидетель, разумея существо своего показания.

– На основании 627 ст. Устава уголовного судопроизводства прошу огласить показание свидетеля ввиду его явного противоречия!

Показание читается.– Вот, оказывается, вы ни слова не сказали следователю о том, что у подсудимого был красный платок (или что подсудимый плохо слышит, или что он накануне был пьян). Свидетель тщетно пытается объяснить, что его не спрашивали об этих обстоятельствах

или что следователь не записал всего, что он говорил. Его спрашивают, было ли показание оглашено следователем, предъявляют его собственноручную подпись под протоколом и окончательно сбивают его с толку. Если даже в конце этого истязания он и отречется от сказанного или подтвердит то, чего раньше не говорил, в обоих случаях показание его теряет достоинство непосредственности и противнику торжествующего вопрошателя ничего не стоит вторично сбить его с толку. В результате суд теряет правдивое и, может быть, важное показание.

Если бы судьи и стороны помнили, что здесь происходит простое недоразумение, а отнюдь нет лжесвидетельства, то, несомненно, в каждом отдельном случае было бы нетрудно привести свидетеля к прямым и верным ответам. При спокойном внимании нетрудно заметить, что свидетель застенчив, озлоблен, плохо слышит, заикается, бессознательно пристрастен, отвечает, не выслушав вопроса, и т. д.; и столь же легко устранить все эти затруднения ровным и простым обращением с ним. Раз это достигнуто, его показание может целиком войти в речь и противнику придется искать средства опорочить или ослабить его, и искать по большей части напрасно. Напротив того, показание, хотя и самое благоприятное, добытое стремительным натиском, грозой ответственности и очными ставками, теряет почти всю свою ценность: это уже не свидетельское показание, а внушение или насилие стороны.

Свидетель окончил свое показание; вы сравниваете его слова с протоколом следователя: он забыл одно, перепутал другое. Не торопитесь уличать его во лжи; помните, что и следователи часто ошибаются; не возвращайтесь назад, а ведите его дальше; предложите несколько вопросов в сторону от главного вопроса, потом коснитесь его с другой стороны; путем нескольких таких вопросов вы уясните себе причину противоречия и подойдете к истине настолько, насколько знает ее допрашиваемый. Это, повторяю, легко, но запугать, сбить с толку свидетеля еще легче. Выбирайте.

Бывают и такие случаи, когда лицо, обязанное присягою свидетельствовать правду, хотя и не лжет, тем не менее явно уклоняется от своего общественного долга и от обязательного беспристрастия. Всякий согласится, что в этой малопривлекательной роли чаще всего выступают перед судом так называемые "сведущие люди". И если обвинитель или защитник видит перед собой такого упряма, который по самообольщению или тщеславию искажает истину, он имеет право быть безжалостным. Мнимая ученость и опытность бывают часто столь же надежным щитом, как и действительные знания, и в этом случае – может быть, только в этом случае – на суде допустимо то, что называется *le ridicule* [*\(106\)](#) .

Гаррис рассказывает такой случай [*\(107\)](#) .

Эксперт-графолог утверждал под присягой, что подложный документ был написан рукой подсудимого.

– Что бы вы сказали, – спросил адвокат, – если бы тот, кто на самом деле писал этот документ, удостоверил бы это под присягой здесь, на суде?

– Я бы не поверил ему, – отчеканил эксперт.

– Что бы вы сказали, если бы пришел еще свидетель и подтвердил, что был очевидцем того, как тот писал документ?

– Я сказал бы то же самое, что говорю теперь, хотя бы здесь было сто свидетелей, – ответил графолог, трясась от негодования. – Особенности почерка настолько характерны, сэр, что тут ошибки быть не может.

– А что бы вы сказали, сэр... – опять начал защитник.

– Что бы я сказал? Да какое вам дело, до того, что бы я сказал?..

– ...если бы видели, как он писал? – ввернул защитник.

– Я бы не поверил...

– Своим собственным глазам! – засмеялся адвокат.

Но это только одна сторона дела. Свидетели далеко не всегда говорят правду и еще реже говорят всю правду. В делах о мелких кражах и грабежах, когда судятся Васька Бывалый или Сашка Стрелец, свидетелями являются преимущественно потерпевшие, их прислуга и случайные прохожие, то есть люди, склонные выяснять, а не затемнять дело. Возьмите более важные преступления: умышленные и предумышленные убийства, поджоги, посягательства против женской чести, вытравление плода, ложный донос и лжесвидетельство, всякие мошенничества. По таким делам в столицах, в губернских городах и по уездам часто среди свидетелей бывают и подкупленные лжецы, и бессознательно пристрастные люди. Защитники, избираемые и назначаемые с большим разбором, реже помогают своим противникам; обвинителям приходится собственными силами бороться со лживыми и заблуждающимися свидетелями. И в этих случаях слишком часто приходится убеждаться, что ложь и ошибка свидетелей приводит к безнаказанности вопиющих преступлений. Обычный случай – алиби. И судьи, и присяжные чувствуют, что свидетели лгут, но чувствовать мало; надо доказать, надо изобличить лжесвидетелей, а они оказываются сильнее прокурора, они неуязвимы. Присяжные идут совещаться; судьи рассуждают между собою. – Будь я присяжный, я бы обвинил. – Да, а в коронном суде? Как же обвинить? Чувствуется, что лгут, но ведь ни один ни разу не проврался. Может быть, и правда. – Разве присяжные свободны от этой возможности? Они решительнее в уезде, чем в больших городах, но в таких случаях для обвинения нужна уже не решительность, нужно легкомыслие. Нет, не виновен – и поджигатель, убийца, изнасилователь идет на все четыре стороны.

Уменье изобличить лжесвидетеля его собственными словами составляет для большинства наших обвинителей неведомое искусство. Иной раз нельзя не удивляться их беспомощности перед самой незатейливой ложью, и по странной случайности кажется, что председатели и присяжные искуснее, чем прокуроры, в уменье допроса.

Разбиралось дело, помнится, о разбое. Один из свидетелей утверждал, что в июне 1908 года заехал в мясную лавку уездного города и слышал там разговор, несомненно доказывавший алиби подсудимого. Он, видимо, лгал, но надо было доказать, что он лжет. После нескольких безуспешных вопросов со стороны обвинителя товарищ председателя спросил:

– Для чего вы заехали в лавку?

– За товаром.

– Каким?

– За солью и прочим разным товаром.

– Каким прочим?

– Да разным. За алебастром для клевера; мы клевер алебастром удобряем.

– Когда сеете клевер?

– Весной.

– Зачем же вы покупали алебастр в июне, после посева?

Молчание.

– Может быть, это не в июне было, а в марте?

– А кто знает? Может быть, в марте; выпивши были.

Подсудимый обвинялся в краже венка и иконы с могилы. Он признал себя виновным, сказал, что пришел на кладбище в годовщину смерти отца посетить родную могилу и соблазнился на кражу с голоду. После нескольких вопросов председателя и сторон старшина присяжных спросил, есть ли родня у подсудимого. Тот ответил: родни нет, отец умер. Старшина спросил: в какой день? Подсудимый после минутного колебания ответил: в декабре. Вопрос требовал точного ответа; подсудимый заметил это и, вероятно, подозревая опасность, постарался уклониться от нее, ответив не слишком точно. Это удалось ему, но отвлекло его

внимание от западни: кража была совершена в мае.

Мать обвинялась в истязании ребенка. Отец-крестьянин, мягкий человек, давал уклончивое показание; мальчик, явно запуганный, лгал, всячески расхваливая мать, утверждая, что отец иногда больно бил его в пьяном виде, безо всякой причины, мать – никогда не была, всегда "жалела". Как ни старался обвинитель, он не мог добиться правды от ребенка. Старшина присяжных спросил:

– Кого больше любишь, тятку или мамку?

– Тятку!

– Да, виновна.

Старайтесь задать несколько таких вопросов, чтобы вместо обвинительной или защитительной речи вы могли сказать присяжным: решайте.

В книге "Hints on Advocacy" приведен такой рассказ.

Подсудимый обвинялся в краже лошади. Он был задержан полицейским в ту минуту, когда верхом на чужой лошади въезжал в провинциальный городок, где происходила ярмарка. Это было на расстоянии трех или четырех миль от того места, где паслась лошадь. На суде было установлено, что в изгороди, окружавшей выгон, был пролом, выходивший на большую дорогу. Лошадь шла крупной рысью, когда полицейский остановил ее. Свидетель говорил, что подсудимый ехал "страшно скоро". На шее лошади был недоуздок, за который держался похититель. Он не остановился, когда его окликнул полицейский.

– Не остановилась ли лошадь?

– Нет, сэр.

– А лошадь, кажется, знала город? Хозяину приходилось оставлять ее там на постоялом дворе для корма?

– Не могу знать, сэр.

– Не можете знать; вы никогда об этом не слыхали?

– Слышать слыхал, а наверное не знаю.

– Вы сказали, что подсудимый не объяснил вам, каким образом при нем оказалась лошадь?

– Никак нет.

– А не говорил ли он, что с утра долго шел пешком?

– Это говорил.

– Не говорил ли он, что ходил с утра искать работы в городе Г.?

Свидетель улыбается и, поглаживая подбородок, отвечает:

– Этого, кажется, не говорил.

– Кажется, не говорил; вы уверены, что не говорил?

– Наверное сказать не могу, сэр. Он как будто упоминал, что ходил искать работу.

– Так; и что работы не было?

– Так точно.

– И что идет обратно в В.?

– И это сказал, сэр.

– А куда он ходил за работой?

Полицейский колеблется и опять берется за подбородок, на этот раз с большим успехом.

– Помнится, он, действительно, сказал, что ходил в Г., сэр.

Присяжные улыбаются и покачивают головами.

– Как велико расстояние между городом Г. и городом В.?

– Около четырнадцати миль, сэр.

– Не говорил ли он, что шел все время пешком?

– Так точно.

- И что устал?
- Может быть, и это говорил.
- Говорил или нет?
- Кажется, говорил.
- И что лошадь паслась на дороге?
- Да, кажется, сказал.
- Кажется; а вы не помните, что сказал?
- Ну, сказал.
- И что у лошади был недоуздок на шее?
- Кажется, что-то в этом роде говорил; наверное только я этого не могу сказать.
- Почему же нет? Попробуйте-ка. Надо правду говорить.
- Ну, сказал.
- И что сел верхом, чтобы немного проехать?

Свидетель видит, к чему клонится допрос, и улыбается; за ним улыбаются присяжные, улыбается и судья.

Судья:

- Сказал он это или нет, свидетель?
 - Пожалуй что и сказал, милорд.
 - А конь его и увез?
- Общий хохот; блюститель порядка качает головой.
- Ведь он ускакал, вы сами сказали?
 - Ускакал, это верно.
 - Кто ускакал?

Свидетель погружается в размышления и долго поглаживает подбородок.

Хохот продолжается.

- Должно быть, конь.

– А не сказал ли вам подсудимый, что он не мог остановить лошадь, потому что недоуздок был у нее на шее, а не на морде?

- Кажется, говорил, только не наверное.
- Отчего же не наверное? ведь сказал?

Свидетель (с силой): Ну, сказал, коли вам нужно.

Волей-неволей присяжные признали, что лошадь украла всадника.

Из этого примера видно, что несколько простых вопросов могут разогнать грозную, низко нависшую тучу. Но бывает и другое. Сэр Генри Гокинс, лорд Бремpton, рассказывает в своих воспоминаниях [*\(108\)](#) такой случай. Некий стряпчий обвинялся в подлоге завещания одной женщины, в силу коего он являлся одним из крупных ее наследников. Можно было догадаться, что завещание было написано подсудимым после смерти покойной и подписано ее именем и что вслед за тем он вложил сухое перо ей в руку и водил им по подложной подписи в присутствии другой женщины, которая и удостоверяла на суде под присягой, что покойная собственноручно сделала подпись у нее на глазах. Повторяю, можно было догадаться, что в этом показании была ложь, но как было доказать это?

Обвинителем был адвокат Чарльз Мэтьюс. Он спросил:

- Где было подписано завещание?
- В постели.
- Был кто-нибудь около покойной?
- Был, подсудимый.
- Близко?

- Совсем близко.
 - Так, что мог подать ей чернила?
 - Да.
 - И перо?
 - Да.
 - Подал он ей перо?
 - Да.
 - И чернила?
 - Да.
 - Кроме его и вас, никого при этом не было?
 - Никого.
 - Он вложил ей перо в руку?
 - Да.
 - И помогал ей, пока она писала?
 - Да.
 - Как он ей помогал?
 - Он приподнял ее на постели и поддерживал ее.
 - Не водил ли он ее за руку?
 - Нет.
 - А не тронул ли он ее за руку?
 - Кажется, тронул.
 - Когда он тронул ее за руку, она была мертва?
- Свидетельница побледнела, зашаталась и, потеряв сознание, грохнулась на пол...
- После такого допроса разве нужна обвинительная речь?

О достоверности свидетельских показаний

Правила для оценки свидетельских показаний, как и всяких человеческих поступков, могут быть разнообразны до бесконечности. Я привожу некоторые из них не в виде законченной системы, а в виде примеров, взятых из наблюдений в судебной зале, своих и чужих.

1. Свидетель говорит правду, когда передает то, чего не мог выдумать.

По отношению к содержанию свидетельских показаний, говорит Уэтли, следует иметь в виду, с одной стороны, вероятность или невероятность сообщаемых фактов, с другой – вероятность сознательного или бессознательного измышления их теми, кто их удостоверяет. Чем менее вероятно известное обстоятельство само по себе, тем менее вероятна и возможность того, что оно было сознательно вымышлено или ненамеренно сложилось в чьем-либо представлении. Случается, что свидетель передает такие факты, которые для него непонятны и которым он поэтому затрудняется верить, между тем как для других они представляются и правдоподобными, и вероятными. Он приводит следующий пример. "Один древний историк сообщает, что некоторые путешественники добрались до отдаленной страны, где солнечная тень ложится в направлении противоположном тому, в котором они привыкли видеть ее; историк считает этот рассказ неправдоподобным, потому что он не в состоянии объяснить себе то, о чем пишет; мы, однако, узнавая явление, свойственное южному полушарию, и сознавая, что он не мог выдумать того, о чем пишет, относимся к передаваемому им факту с тем большим доверием. Это можно сравнить с тем случаем, когда человек переписывает рукопись на незнакомом ему языке". В уголовной психопатологии известны случаи преступлений, совершенных в состоянии скрытой эпилепсии (так называемый психологический эквивалент); болезненное душевное напряжение преступника нередко разрешается сном, наступающим почти мгновенно после преступления. Один врач описывает случай, когда убийца был найден другими людьми заснувшим рядом с убитой женщиной [*\(109\)](#). Медик сразу признает в этом болезненный сон эпилептика; для человека, не сведущего в психиатрии, это явление не только необъяснимое, но и вполне невероятное; ясно, что свидетели, удостоверявшие этот факт, говорили правду: они не могли выдумать того, что говорили.

2. Незначительные подробности в рассказе свидетеля могут подкреплять, его показание о важных обстоятельствах.

В деле об убийстве генеральши Болдыревой была свидетельница Борисова, удостоверявшая крайне важное для защиты обстоятельство, а именно: что перед самым убийством по переулку, соседнему с усадьбой Болдыревой, пробежал мужчина. Обстоятельство это противоречило выводам обвинения, но М. Ф. Громницкий прямо заявил присяжным, что не может не верить этому показанию: "Оно взято из жизни; Борисова рассказывает, как собачка волновалась, как встревоженные женщины устроили совет среди ночи, и т. п."

3. Если свидетель удостоверяет факт, сам по себе безразличный, не подозревая о его значении для дела, показание заслуживает доверия.

Когда Митя Карамазов сказал, что, ударив старого Григория пестом по голове, он наклонился к упавшему, чтобы убедиться, жив ли он, ни прокурор, ни защитник не усомнились в действительности факта, хотя каждый и дал ему свое толкование.

Чем незначительнее удостоверяемое свидетелем обстоятельство как факт, чем менее оно заметно само по себе, тем оно надежнее как улика, ибо тем менее вероятно, чтобы оно было вымышлено.

Бывает, что свидетель, передавая слышанный им разговор, скажет такую фразу, которая

сама по себе служит речательством правдивости его показания; фраза эта, во-первых, так своеобразна, во-вторых, так подходит к обстоятельствам, что сомневаться нельзя; слушатели сразу чувствуют, что иначе нельзя было сказать, что именно это, этими именно словами и сказал говоривший. "Смотри, Егор,— заметил сосед крестьянину, высказавшему угрозу против своего отца,— отвага мед пьет, она же и кандалы трет".— "Не мешок с деньгами — не пропадешь",— сказала баба мужику, который просил ее успокоить при свидании его жену (в рассказе потерпевшей о разговоре со свидетелем, который отрицал свою встречу с нею).

Крестьянин Сгибнев обвинялся в зверском истязании жены, умершей от побоев. Свидетельница-соседка передавала слова двух малолетних детей подсудимого: "Они говорили: сами видели; он матку бил сначала палочкой, потом веревочкой, потом полешкой". Председатель перебил свидетельницу: "Да что вы все так нежно говорите? Разве полено у него в руках меньше стало?" — "Да я, батюшка, так говорю, как дети говорили",— ответила баба.

Мелочи вообще часто дают возможность с уверенностью судить об искренности свидетелей.

Допрашивается старичок-крестьянин, относящийся к суду с большим почтением; обращаясь к присутствию, он начинает словами: "Ваше превосходительство и господа мировые судьи" — и повторяет этот возглас много раз с видимым удовольствием и со степенной расстановкой. Но председатель вынужден остановить его: "Позвольте, свидетель, как же могли вы видеть драку, когда вы лежали на печке?" Мужичок сразу переменяет тон и заговорил скороговоркой: "Да вишь ты, братец ты мой, с печи-то прямо в окно за угол видно; так мне, братец ты мой, и видно..." — Так не лгут.

4. Неопределенность фактов, передаваемых свидетелем, не есть доказательство неточности его показания.

Свидетель говорит: подсудимый подбивал меня на этот поджог. Стороны накидываются на него с вопросами: что же сказал подсудимый? что именно сказал? точно ли вы помните его выражение? Повторите его подлинные слова, это крайне важно для суда, и т. д. Прокурор во что бы то ни стало хочет заставить его сказать: подсудимый говорил: пойдя, подожги; защитник готов признать все другое, только бы свидетель удостоверил, что подсудимый не сказал: пойдя, подожги. Как будто не знают они, что так не бывает, что, сговариваясь на убийство, люди не называют этого слова, потому что слишком хорошо его понимают, слишком знают, что оно постоянно у каждого в голове и всякий намек будет для каждого прежде всего намеком на убийство. Сегодня, что ли? — Сегодня нельзя: жильцы будут дома.— Топор-то взял? — Зачем топор? Веревка есть.— Хоть стара, а сильная, и т. п. Грубые, прямые выражения употребляются тогда, когда еще о преступлении говорится полушутя, как о предположении, более или менее отдаленном; когда надо завлечь новичка, привычные люди говорят: дело и понимают друг друга.

5. Косвенное указание на факт может быть более убедительно, чем прямое его удостоверение; оно может даже быть доказательством не только справедливости сообщаемого факта, но и его общеизвестности. Геродот описывает прорытие Ксерксом канала через перешеек у горы Атоса, и Ювенал смеется над этим; Фукидид упоминает мимоходом о местности, "где еще можно видеть некоторые остатки канала", и этими словами выражает больше, чем сделал бы, сказав, что вполне верит рассказу Геродота (Уэтли).

Товарищ прокурора спросил:

— Не предостерегали ли вы хозяина от Данилова?

Свидетель ответил:

— Никак нет. Я только сказал: приопаситесь, хозяин.

Этот ответ убедительнее всякого другого.

Двое деревенских парней, Максимов и Матвеев, убили и ограбили старика-эстонца; первый

сознался в убийстве, второй отрицал свое соучастие. На судебном следствии было установлено, что при первом опросе Максимова урядником, как только обнаружилось убийство, он также отрицал свою виновность; урядник оставил его на свободе; в ту же ночь Максимов со своим братом пошел в соседнюю деревню, где жил Матвеев, и виделся с ним. На суде брат Максимова показал, что они ходили к Матвееву совет держать – сознаваться или нет. Этот свидетель не назвал Матвеева убийцей и не говорил о его виновности, но факт, им удостоверенный, вполне изобличил виновного: если бы Матвеев не участвовал в убийстве, совещание Максимова с ним не имело бы смысла. Это – неопровержимое соображение. Если ясно высказать такой довод, на него нечего возразить. Наши судебные прения не доказывают, чтобы мы умели извлекать из подобных фактов все, что в них заключается.

К указанному правилу близко подходит следующее:

6. Ненамеренное не может быть лживым. Поэтому надо ловить те случаи, когда свидетель сказал больше того, что хотел сказать, и этим выдал то, о чем сам не догадался или что хотел скрыть. Следует при этом различать два случая: 1) когда, проговорившись, свидетель выдал свою оценку факта и 2) когда он выдал факт; в первом случае его слова подкрепляют однородные соображения оратора, во втором – они могут служить основанием к самостоятельным и иногда очень важным выводам. Ложь не может быть бессознательной; кто лжет, тот знает, что говорит неправду. Поэтому то, что свидетель высказал нечаянно, случайно, не может быть ложью; оно может быть ошибкой, но только добросовестной.

7. Упущение несомненного, хотя бы и существенного обстоятельства в показании свидетеля не есть признак его недобросовестности.

Человек, удостоверяющий известный факт и утверждающий, что был его очевидцем, говорит правду, или лжет, или просто заблуждается, но пробел в его показании может явиться и по другой причине: он мог просто не заметить факта, бывшего у него на глазах, а заметив, мог забыть о нем. Это слишком известно.

8. Совпадение в показаниях нескольких свидетелей, особенно если между ними есть друзья и враги подсудимого, создает полную нравственную достоверность факта.

Если бы даже каждый из этих свидетелей казался в высшей степени подозрительным, мы не можем допустить случайного совпадения их объяснений. Но если два свидетеля удостоверяют факт, а двое, трое, шестеро или, пожалуй, хоть целая сотня других повторяют то, что слышали от первых двух, то ясно, что на самом деле все прочие не дают никаких показаний. В деле бывшего околоточного надзирателя Буковского, застрелившего студента Гуданиса, перед судом прошло не менее двадцати человек, утверждавших, что Гуданис не раз грозил убить Буковского, не раз нападал на него из засады и что Буковский боялся встречи с ним. Между этими свидетелями были *laudatores* [*\(110\)](#), были и несомненно правдивые люди; но на вопрос, откуда это известно им, каждый рано или поздно должен был сказать: от Буковского. Многие из этих свидетелей и не подозревали, что, давая добросовестное показание, они удостоверяют под присягой ложные сведения. Заметим в подтверждение одного из предыдущих правил, что в этих ошибочных прямых показаниях в пользу подсудимого заключалась верная косвенная улика против него: жалобы Буковского на угрозы Гуданиса могли быть справедливы или лживы, но они неопровержимо доказывали то, чего не выражали прямо, а именно: что подсудимый был озлоблен против убитого; если жалобы были справедливы, озлобление было естественно и неизбежно; если нет, одно очевидно: клеветает только враг.

Вот пример другого порядка.

Трое свидетелей удостоверяли под присягой, что подсудимый был одним из участников разбоя; каждый решительно заявлял, что узнает его в лицо. Защитник сказал: первый свидетель смотрел на грабителя, держа перед собою свечу, не поднимал и не опускал ее; второй держал

фонарь в опущенной руке и не поднимал его; третий видел грабителя на дворе дома в ноябрьский вечер; из этого надо заключить, что ни один из трех не мог рассмотреть лицо преступника. Если же Кузенталь действительно участвовал в разбое, могло ли случиться, что полиция, давно следившая за ним как за подозрительным человеком, идя по верному следу, не обнаружила бы ни одного из пяти его соучастников? Кузенталь был оправдан, несмотря на сильные улики.

Итак, количество свидетелей имеет значение только при равенстве прочих условий. Измените одно из них, и вывод может оказаться иной.

В 1840 году во Франции, в имении Chamblas, близ города Puys, был убит землевладелец Louis de Marcellange. Подозрения пали на его жену и тещу, живших отдельно от убитого, в давней вражде с ним, как на подстрекательниц и на их управляющего Бессона как на непосредственного убийцу. Некоторые из местных обывателей видели его с ружьем в руках в парке близ фермы, где было совершено убийство, на пути туда и обратно. Он отрицал это. Благодаря связям жены и тещи и их влиянию в округе следствие шло крайне медленно. Бессон был, однако, предан суду. Обе женщины бежали из Франции, но, по-видимому, издали поддерживали своего сообщника. На суд явилось множество новых свидетелей; все они решительно удостоверяли алиби подсудимого; определенных указаний на их недобросовестность в деле не было. Что можно было возразить против их показаний? Представитель семьи убитого молодой адвокат Du Vas сказал: "Приводите сюда еще новых свидетелей; пусть идут они отовсюду; каждому из них я отвечу теми же словами: отчего вы так долго молчали? Человека вели на плаху, и вы не подумали спасти его. Он был ваш друг. По дружбе и по человечеству вы обязаны были поднять голос за него, а вы молчали. Или вы не знали, что его обвиняют в убийстве? Нет, во всем городе только и было разговора об этом деле... Чем больше вас, тем непонятнее ваше молчание. Как? Вся округа знала о непричастности Бессона к преступлению, и его невинность оставалась тайной для властей в течение двух лет. Как могло случиться, что после ареста весь город не поднялся как один человек на его защиту, не сказал: этот человек не виновен; в то время, когда совершилось преступление, он был между нами. Нет, нет; такие алиби не остаются во мраке; они выясняются сами собой, с самого начала..." Смелая мысль? Чем более доказательств невинности, тем очевиднее их несостоятельность. Такое соображение, конечно, подойдет не ко всякому делу; в этом процессе оно устраняло самые главные сомнения.

О разборе свидетельских показаний

1. Основное правило в отношении оратора к свидетельским показаниям заключается в том, чтобы как можно реже спорить против них. Если же оратор признает необходимым оспаривать свидетеля, его возражения должны быть неотразимы. У нас, по-видимому, думают, что, сказав кое-что по поводу показания, можно уже поколебать доверие к нему; поэтому возражения часто выделяются больше своей безвредностью, чем остроумием. Вот несколько примеров того, что можно назвать поединком на картонных мечах.

Спор идет о важном свидетельском показании. Свидетель отвечал на вопросы быстро и решительно. Он говорил правду, – заявляет прокурор. – Нет, он думал только о том, чтобы скорее отделаться от допроса, – возражает защитник. – Свидетель говорил вяло и нерешительно. Он не уверен в своем показании и боится ошибиться, – указывает защитник. – Совсем нет; он понимает значение своих объяснений и взвешивает каждое слово, – отвечает обвинитель. – Свидетель ничего не говорит. Ясно, что он все позабыл... или что все помнит, но хочет все скрыть. – Свидетель дает точное и подробное показание. Очевидно, он хорошо знает и твердо помнит обстоятельства дела. – Да... или что он твердо выучил ложное показание.

Как я уже говорил, наши обвинители и защитники готовы по малейшему поводу изобличать свидетелей во лжи. Чуть что-нибудь не по вкусу им в показании, они уже раздражаются, настаивают на оглашении письменного показания и призывают внимание присяжных на "явное противоречие". Свою ошибку они повторяют и в речи. Они напоминают мне Язона [*\(111\)](#), который посеял зубы дракона, чтобы потом сразиться с поднявшейся жатвой – войском. Поступок Язона объясняется просто: во-первых, он никогда его не совершал, во-вторых, он иначе поступить не мог. Но я не могу понять, с какой целью наши ораторы стремятся создавать себе затруднения, в деле не существовавшие. Притом эти мнимые трудности, коль скоро за них взялся оратор, превращаются в действительные: как изобличить во лжи человека, который не лжет?

Сами по себе общие рассуждения о недостоверности свидетельских показаний не имеют никакого значения на суде. Присяжные не хуже нас знают, что женщина более впечатлительна и более лжива, чем мужчина; но они знают также, что бывают женщины рассудительные и правдивые и, сколько бы вы ни распространялись о недостатках женской натуры вообще, одними словами вы ничего не сделаете. Вы докажете, что женщинам нельзя верить ни на грош, а присяжные скажут: старуха правду говорит – и ответят на вопросы суда без колебания. Но если при перекрестном допросе вам удалось доказать присяжным, что старуха лгала хоть одним словом или что она была готова солгать, тогда общие рассуждения о женской лживости, основанные на факте, будут вполне убедительны для присяжных.

Не могу не вспомнить здесь один поучительный пример в пояснение этого общего правила. На судебном следствии об убийстве в Галерной гавани защитник, между прочим, возбудил вопрос о расстоянии между двумя определенными пунктами в черте расположения большого завода и просил суд установить это расстояние допросом кого-либо из рабочих, вызванных в качестве свидетеля.

"Я только прошу спросить об этом не женщину, а мужчину, – прибавил он, – для меня очень важен точный ответ. Кого угодно, только мужчину".

Защитнику очень важно установить точное расстояние, и он боится ошибки, если будет спрошена женщина. Как, однако, надо быть осторожным с бабами-то! – думают присяжные и слушают дальше. Есть улики, есть и доказательства в пользу подсудимых. Но в обвинительном

акте, помнится, говорилось, что свидетели видели их у самого места убийства; значит, почти очевидцы есть; слушаем.

А очевидцы-то – две женщины.

– Видели?

– Видели.

– Они?

– Они.

Обе свидетельницы показывают добросовестно; это несомненно. Но ведь это женщины. Что как они ошибаются?

Защитник сумел подготовить почву для соответствующего отрывка своей речи и те соображения, которые могли бы представляться книжными отвлеченностями, оказались непосредственно связанными с происходившим на суде.

В одном протоколе мне пришлось прочесть такое показание свидетеля: "Показания, данные мною на предварительном следствии в июле месяце и прочитанные тогда мне господином судебным следователем, мною не были достаточно поняты; если в тех показаниях есть противоречие с настоящими показаниями, то я это объясняю тем, что мы с господином судебным следователем не поняли друг друга". Думаю, что большинство наших судебных деятелей, знакомых с судебными заседаниями, признают, что подобные недоразумения представляют не исключительные, а слишком обыкновенные случаи. Этого, конечно, сказать присяжным нельзя. Но во многих случаях в деле найдется возможность говорить о небрежности следователя не по общим соображениям, а по фактам. Посмотрите на обложку дела. Какой это номер по настольному реестру следователя? Может быть, сотый, может быть, сто пятидесятый, как в том деле, из которого взята приведенная выписка (оно началось 23 июня 1909 г.), может быть, двухсотый. Долго ли продолжалось предварительное следствие? Сколько времени прошло между событием преступления и допросом свидетеля? Каким слогом записаны показания допрошенных лиц? Посмотрите на обложку дела суда. Там, может быть, окажется еще больший номер. В моем деле – N 350. Долго ли дело лежало без движения? Будьте внимательны во время судебного следствия. Не обнаружилось ли какой-нибудь неточности в формальных актах или сообщениях? Не было ли ошибки в именах, числах и т. п.? Если вам удастся уловить две-три таких черточки, вы уже хозяин положения.

Вы скажете: у следователя свидетель говорил – ударил, здесь – хотел ударить. Что верно? Он говорит, что прежде лучше помнил дело, чем теперь, но настаивает на том, что и у следователя говорил то же, что здесь, на суде, утверждает, что ошибся не он, а следователь. Возможно ли это? Вы знаете, что дело возникло у следователя в июне текущего года и было записано сто пятидесятым номером. Значит, в месяц возникает около тридцати дел; по каждому делу приходится допросить не одного или двух, а многих свидетелей; это нелегкая работа; дела, как вы сами видите, почти без исключения арестантские. Как вы думаете, может ошибиться следователь, обремененный работой? Ведь мы все ошибаемся. Вот в обвинительном акте, написанном и утвержденном, конечно, без всякой поспешности, грабитель назван именем ограбленного и наоборот. Свидетель мог ошибиться, но возможно, что ошибся не он, а следователь, неверно понявший его слова. Как бы то ни было, здесь под присягой он утверждает: хотел ударить. Судите сами, какое показание можете признать более надежным.

2. При разборе свидетельских показаний не теряйте из виду афоризм генерала М. И. Драгомирова: род занятий определяет склад понятий и характер отношений. Это общее правило может объяснить и подтвердить многое.

Почему дворник большей частью груб, а газетчик всегда вежлив? – По роду занятий. Почему говорится: не обманешь, не продашь? – По роду занятий купца и приказчика. Почему сложилось

у умного и благородного адвоката убеждение, что "нет более сладкой победы, как выигрыш дела, которого не следовало выиграть?" – По роду занятий. После слов: "...в каторжные работы на двенадцать лет" впечатлительный защитник может заболеть, а судьи идут к закуске. Казненный болтался под виселицей; товарищ прокурора услышал негромкий голос: "Господин прокурор, вы играете в карты?" – "Нет. А что?" – невольно спросил он.– "Говорят, веревка счастье приносит", – задумчиво произнес голос.

"Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний" [*\(112\)](#) проходит перед нами в суде! Чтобы дать присяжным точку опоры для оценки наблюдательности и правдивости этой вереницы, часто бывает достаточно указать ту или иную особенность в личности свидетеля. Нечего говорить о том, как склонны бывают люди к намеренной лжи и к бессознательному пристрастию под влиянием сословных предрассудков, корпоративной связи и т. п. Люди, объединенные общим знаменем, иногда только общим названием, с крайней неохотой изобличают товарища в недостойном или противозаконном поступке.

3. В словах свидетелей следует различать удостоверение фактов от их оценки.

Когда свидетель удостоверяет действительность события, верность его показания зависит от его добросовестности, от условий, при коих у него создалась уверенность в фактах, и от точности в их передаче; но в оценке события необходимо принять в расчет и то, насколько свидетель способен к правильному суждению о нем. Под влиянием предубеждений, увлечения, повышенной впечатлительности человек может искренно верить, что знает то, чего не знает, видел то, чего не видал. Вспомним еще раз дело Ольги Штейн и господина фон Д. Она изобличена вполне; против него улики несравненно меньше, он с негодованием отрицает обвинение. Он – бывший присяжный поверенный, и несколько свидетелей адвокатов повторяют на вопросы его защитника: "Я знал подсудимого за самого честного человека, он всегда пользовался общим уважением в нашем сословии, и все мы в этом деле считаем его жертвой Ольги Штейн". Эти отзывы делаются людьми несомненно правдивыми; присяжные уже прослушали их объяснение о фактах дела и видели, что это добросовестные свидетели; их отзывы о подсудимом получают большое значение. Что можно сказать на это?

Надо указать общую мысль: человеку свойственно желание помочь тому, кто нуждается в помощи; всякий честный человек, который может на суде сказать что-нибудь в пользу подсудимого, исполнив вместе с тем гражданскую обязанность, естественно, склонен сделать это; такое естественное влечение усиливается, если подсудимый – не вполне чужой для свидетеля; усиливается еще более, когда они принадлежат к одной корпорации: добросовестно заступаясь за подсудимого, свидетель охраняет и собственное доброе имя. Итак, все эти люди верят искренности господина фон Д.; вопрос в том, могут ли они ошибаться? Чтобы не отдаляться от дела, посмотрим вокруг подсудимого. Разве нет у вас убедительного примера того, как ошибаются люди? А все обманутые Ольгой Штейн, разве они не верили в ее честность, так же как товарищи фон Д. верят ему? Что открыло им глаза? То, что их обманули. Если бы она не обманула их, они добросовестно и охотно подтверждали бы здесь, на суде, ее безукоризненную честность. Никто из товарищей подсудимого не был обманут им, никто и не считает его обманщиком. Сравните с этим разбор показаний доктора Португалова в речи Плевако по делу Александры Максименко.

4. Чем хуже нравственная роль свидетеля, тем меньше страстности должно быть в разборе его показания оратором.

Возьмем крайний пример.

В числе свидетелей, присутствующих или отсутствующих, – провокатор; его отношение к делу установлено или почти установлено. Вот случай обрушиться на возмутительный факт и, выдвинув вперед негодяя-свидетеля, показать, что подсудимый был игрушкой в его руках,

выполнить гражданский долг перед обществом... Это так соблазнительно и, главное, так легко.

Не торопитесь, защитник. Подумайте. Вы не знаете судей. Если они относятся к происходящему перед ними с полным сознанием, они возмущаются не меньше, а больше, чем вы; они чувствуют оскорбление, брошенное им в лицо. Но если провокация представляется им как право правительства, освященное необходимостью, то слова, направленные вами на изобличение свидетеля и его руководителей, будут попадать в судей. Если бы вы стали говорить неумело, вас остановят; если будете говорить так, что не дадите повода остановить вас, и выскажетесь до конца, подумайте, вызовете ли вы к себе расположение судей, и припомните, что отношение их к защитнику отражается на подсудимом.

Но возмутительное преступление! Но мой гражданский долг! – Да, преступление возмутительное. Но в настоящую минуту ваш долг – защита подсудимого, а не обвинение свидетеля или кого-либо другого. Пока шло судебное следствие, вы должны были следить за тем, чтобы все указания на соучастие свидетеля и попустительство должностных лиц были записаны в протокол; по окончании процесса вы должны сообщить о них знакомому члену Государственной думы. Но теперь у вас нет другого дела, кроме защиты. Помните, что все сказанное вами против провокатора и провокации будет отброшено в сторону при совещании судей о виновности подсудимого. И только величайшая сдержанность и искусство ваше могут достигнуть того, чтобы слова ваши были приняты ими в соображение при определении меры наказания.

Если ваш противник пытался подорвать доверие к добросовестному свидетелю с вашей стороны, не заступайтесь за него. Скажите присяжным, что факты, им удостоверенные, так значительны и сильны, что противнику ничего другого не остается, кроме старания набросить тень на человека, исполняющего свой долг перед судом.

Гаррис говорит: "Два человека идут по улице; один показывает на другого и кричит: вот честный человек! смотрите на этого честного человека! Вы подумаете, что оба мошенники. Нет худшей рекомендации для человека, как чрезмерные похвалы, и нет худшей ошибки на суде, как старание сделать из него воплощенное совершенство". Не подражайте этим ошибкам; предоставьте присяжным справиться собственными силами с тем, что не заслуживает серьезных возражений.

Если свидетель удостоверяет обстоятельства явно несообразные или преувеличенные, не теряйте времени на их подробное опровержение; укажите только присяжным на эту очевидную нелепость как на единственное, на что стоит обратить внимание.

5. Старайтесь сделать каждого свидетеля противника своим свидетелем. Почти в каждом показании можно найти что-нибудь пригодное для обеих сторон в процессе.

Во многих делах экспертиза, особенно психиатрическая, бывает необходима; ее отсутствие ведет к жестоким ошибкам, а иногда составляет и ряд судебных преступлений, как, например, в печальном деле крестьян слободы Павловки (дело Моисея Теодосиенко и др). Мне лично известны случаи, когда своевременное обращение судебной власти к истинно ученому психиатру спасло от суровых наказаний душевно расстроенных людей и настоящих параноиков [*](#) (113).

В этом отношении на судебных следователях и на прокуратуре лежит важнейший и, как я думаю, недостаточно сознаваемый долг и чрезвычайная нравственная ответственность. Но, с другой стороны, нельзя не сказать, что слишком часто содействие "сведущих людей" служит не правосудию, а насмешке над ним. Это относится не только к нашим уголовным делам; в Западной Европе, по крайней мере во Франции и в Англии, медицинская и графологическая экспертизы вызывают не меньше нареканий, чем в России. Отдельные уродливые или комические эпизоды, конечно, не доказывают несостоятельности экспертизы как одного из способов судебного расследования, но, к сожалению, общий голос судебных деятелей приводит к отрицательному выводу: заключения "сведущих людей" бывают согласны между собой и убедительны в тех случаях, когда предложенные им вопросы настолько просты, что судьи и присяжные собственным разумом и здоровыми глазами могли бы безошибочно разрешить их. В сомнительных же обстоятельствах эксперты по большей части не устраняют сомнения, а еще больше затемняют дело.

Эксперты бывают:

- a) сведущие и добросовестные;
- b) добросовестные и несведущие;
- c) сведущие и недобросовестные; и
- d) недобросовестные и несведущие.

К недобросовестным экспертам я отношу не только бесчестных, которых почти не видал на суде, но и бескорыстно пристрастных, а также легкомысленных, которых видал множество; к несведущим – не только невежд, но и людей умеренных познаний, которых также встречаю на каждом шагу.

Серьезное заключение ученого имеет, конечно, право на уважение сторон; но так как людям свойственно ошибаться, то всякий вправе сомневаться в выводах самых знающих специалистов и вправе передать свои сомнения судьям и присяжным, если они имеют основания.

Сведущие люди редко бывают вполне согласны между собою; если в суд вызван не тот эксперт, который производил первоначальное исследование, то обыкновенно оказывается, что оно сопровождалось бесчисленными ошибками и упущениями; их не было бы, если бы работал тот, кто стоит перед судьями, но, к несчастью, его там не случилось, и теперь наука лишена возможности подтвердить первое заключение; остаются одни сомнения. Как скоро эксперт занял эту позицию, никакие усилия оратора не могут разбить его: он огражден неприкосновенностью науки. Столь же неуязвим бывает эксперт в каждом вообще процессе, где он один: если только он умный человек – он хозяин дела. Отсюда вытекает первое главное правило:

Если в процессе есть эксперт со стороны противника и экспертиза имеет значение, оратор должен выставить эксперта не менее сведущего и решительного со своей стороны. Не сделать

этого – легкомыслие непростительное [*\(114\)](#) . Пока эксперт один, он неуязвим, хотя бы говорил вздор. Дайте ему противника, речения оракула превращаются в самолюбивый спор.

Второе правило заключается в том, чтобы вооружиться необходимыми сведениями в данной отрасли науки или техники; это необходимо и для успешного допроса экспертов во время судебного следствия, и для свободного изложения в речи всего относящегося к экспертизе. Примерами этого могут быть речи Лашо по делу ла Поммере, Кокбурна по делу Пальмера, Шидловского по делу Максименко. Надо только помнить, что научная критика по специальным вопросам не может отличаться привлекательностью литературного произведения и потому, оставаясь строго деловитым в этом разделе речи, следует особенно позаботиться о его возможном сокращении; здесь особенно важно соблюдать общее правило: выяснить все возможное во время судебного следствия, оставив для прений только то, чего нельзя было заранее устранить из них.

Об ученой и добросовестной экспертизе я уже упоминал; все прочие эксперты – честные или легкомысленные, невежды и сознательные лжецы, самозванцы науки – не менее вредны для правосудия, чем подкупленные лжесвидетели. Как быть оратору с такими сведущими людьми?

Надо возможно точнее записать все сказанное экспертом и в ближайший перерыв просмотреть написанное, чтобы выяснить следующие вопросы:

- 1) удовлетворяет ли экспертиза требованиям логического умозаключения;
- 2) нет ли в фактах, принимаемых экспертом в основание его выводов, взаимного противоречия или противоречия с другими фактами;
- 3) не переходит ли эксперт за границы своей науки или своего искусства в чужую область специальных знаний или в общие психологические или иные рассуждения;
- 4) предлагает ли эксперт суду научные или технические выводы или высказывает свое суждение о виновности подсудимого.

При недобросовестной экспертизе в большинстве случаев оратор, на стороне которого правда, найдет одну из этих ошибок в вещаниях "сведущего лица". Коль скоро такая ошибка найдена, надо сосредоточить на ней всю силу своей диалектики и изобличить ее, как это сделано, например, в речи обвинителя [*\(115\)](#) по делу об убийстве отставного рядового Белова [*\(116\)](#) .

Обычное преимущество эксперта перед сторонами заключается во всегда готовой ссылке на последние успехи науки. Он вчера прочел новое имя в книжном обзоре своего специального журнала и с полной безопасностью ссылается на там же приведенное извлечение из книжки, которую сам и не открывал. Конечно, ни прокурор, ни адвокат не знают ученого, о существовании которого и сам эксперт узнал только накануне; им приходится уступить эксперту: он следит за последним словом науки, а они все еще ссылаются на Гофмана и Крафт-Эббинга. Однако при желании можно и здесь вывести мнимого ученого на чистую воду. Надо внимательно прочесть несколько серьезных книг по данному вопросу и, не называя авторов, просить эксперта подкрепить его выводы указанием на известных ученых, а затем потребовать передачи их соответствующих тезисов; далее можно спросить, что говорят те, кого эксперт не называет, и я готов поручиться, разумея мнимых ученых, что эксперт или скажет: не помню – это значит: не читал; или ответит наудачу и в большинстве случаев невпопад. Откройте тогда свою книгу и укажите, что в ней сказано.

Как бы то ни было, даже после самого успешного допроса на судебном следствии оратору следует помнить особое отношение присяжных к экспертизе и в своей речи бороться не только наукой, но иногда и искусством, бить не только в грудь, но и в лицо. Если перед судом добросовестный ученый и разумное заключение убеждают вас, что вы ошибались, вы должны преклониться перед правдой. Если можно, ищите других доказательств. Иное дело, когда перед

вами глупый или упрямый человек или, как бывает, наглец. Здесь нежности не к месту. При допросе эксперта, невзирая ни на какие его выходки, держитесь исключительно в границах научного спора; если у вас есть в запасе мнение серьезных ученых по отдельным вопросам, касающимся экспертизы, не вводите всех этих союзников в бой с их ученым собратом; пусть некоторые из них останутся в засаде. Приведите их решительные отзывы в своей речи, когда эксперт уже будет лишен возможности вспомнить еще несколько ему одному известных убедительных научных данных, и, сбросив его с незаконно занятого пьедестала, добейте его сарказмами.

О так называемой графологической экспертизе распространяться не приходится. Наши председатели знают, как надо быть осторожным, вручая сведущим людям подлинные документы для сличения с сомнительными: малейшая оплошность – и подлинный вексель может быть громогласно объявлен подложным, а один из подложных – попасть в число "несомненных образцов". И у нас, и за границей люди, знающие судебную действительность, давно перестали видеть в графологии серьезное средство искания истины. О фотографической экспертизе у нас существует выдающееся исследование Буринского "Судебная экспертиза документов, ее значение и пользование". Книга эта дает то, что составляет основу судебного состязания, – знание; оратор должен изучить ее с не меньшим вниманием, чем учебник элементарной судебной медицины. К ней я и отсылаю читателя.

* * *

Мне кажется лишним останавливаться на объяснениях подсудимого. Логические основания для их оценки те же, что для свидетельских показаний. Скажу только обвинителю: не злоупотребляйте ни словами, ни молчанием подсудимого; защитнику: предупредите его, чтобы он не лгал.

Глава VII. Искусство спора на суде

Изменение правил об уголовных доказательствах в нашем судопроизводстве с введением Судебных уставов имело одно несомненно вредное последствие: упраздненная формальная система поглотила собой и научное, логическое учение о судебных доказательствах. Эта область мышления осталась совершенно чуждой нашим судебным ораторам, и пробел этот сказывается очень определенно: в речах наших обвинителей не видно отчетливого и твердого разбора улик. И хуже всего то, что наши законники не только не знают этой важной отрасли их науки, но и знать не хотят. Между тем эта область давно и старательно разработана на Западе, особенно в Англии. Не все мы знаем английский язык, не все имеем средства выписывать дорогие английские или немецкие руководства. Но несколько месяцев назад в печати появилось третье издание сочинений проф. Л. Е. Владимирова "Учение об уголовных доказательствах". Не говоря о несомненных достоинствах этого труда, ведь одного названия достаточно, чтобы такая книга сделалась настольным руководством каждого товарища прокурора: она представляет единственное систематическое исследование этого рода в нашей литературе. Я спрашивал у некоторых знакомых юристов их мнение о новой книге и, к удивлению, убедился, что ни один из них даже не слышал о ней. Если хотите добрый совет, читатель, отложите эти заметки и, прежде чем идти далее, прочтите книгу проф. Владимирова. Как бы то ни было, я должен предположить, что эта область уголовного права вам достаточно знакома, и перехожу к практическим правилам судебного спора, к искусству пользоваться установленными перед судом доказательствами во время прений.

Некоторые правила диалектики

Argumenta pro meliora parte plura sunt semper [*\(117\)](#) , говорит Квинтилиан. И Аристотель писал: на стороне правды всегда больше логических доказательств и нравственных доводов.

Правду нельзя изобличить в логической непоследовательности или намеренном обмане; на то она и правда. Тот, кто искренне стремится к ней, может быть смел в речах; у него не будет недостатка и в доводах. По свойству нашего ума, в силу так называемой ассоциации представлений и мыслей, оратор в своих догадках о том, что было, в поисках истины находит и логические основания для подтверждения своих заключений о фактах; другими словами, аргументы создаются у нас сами собой во время предварительного размышления о речи: поэтому, чтобы научить читателя находить их, я отсылаю его к сказанному выше в пятой главе. Напомню только, что надо размышлять без конца.

В делах с прямыми уликами основная задача оратора заключается в том, чтобы объяснить историю преступления; в делах с косвенными уликами – доказать или опровергнуть прикосновенность к преступлению подсудимого. Но основное правило в обоих случаях одинаково: meditez, meditez encore, meditez toujours [*\(118\)](#) , говорит современный писатель оратору. То же писал Квинтилиан две тысячи лет тому назад. Не удовлетворяйтесь теми соображениями, которые сами собою напрашиваются. Non oportet offerentibus se contentum esse; quaeratur aliquid, quod est ultra. Лучшие доказательства бывают обыкновенно скрыты в подробностях дела; их не так легко найти. Plurimae probationes in ipso causarum complexu reperiantur eaeque sunt et potentissimae, et minimum obviae [*\(119\)](#) . Это не цветы на летнем лугу, где стоит протянуть руку, чтобы набрать их сколько угодно; это – ископаемые сокровища, скрытые под землей. Долго, упорно трудится искатель, пока найдет драгоценную жилу в горных недрах или слиток под бесконечной песочной гладью. Но находка вознаградит его поиски: у него будет золото. Так и в судебной речи: соображение, почерпнутое в самой сути дела и его особенностях, бывает несравненно убедительнее всяких общих мест.

Курс диалектики и эристики не входит в предмет настоящей книги, и я не могу распространяться здесь о правилах логики и о софизмах. Есть маленькая книга Шопенгауэра "Эристика, или Искусство спора"; в русском переводе она стоит 50 коп., в немецком издании – 20 коп.; каждому из нас должно иметь ее в голове, так же как пятую книгу "Логики" Милля об ошибках. Это необходимо потому, что всякая судебная речь по существу своему есть спор и умение спорить – одно из основных и драгоценнейших свойств оратора. Я привожу ниже некоторые риторические правила из этой области, которые кажутся мне преимущественно полезными в уголовном суде. Это правила тактики судебного боя. Но здесь необходимо отметить особенность, составляющую существенное отличие судебного спора от научного.

Наука свободна в выборе своих средств; ученый считает свою работу законченной только тогда, когда его выводы подтверждены безусловными доказательствами; но он не обязан найти решение своей научной загадки; если у него не хватает средств исследования или отказывается дальше работать голова, он забросит свои чертежи и вычисления и займется другим. Истина останется в подозрении, и человечество будет ждать, пока не найдется более счастливый искатель. Не то в суде; там нет произвольной отсрочки. Виновен или нет? Ответить надо.

В нашем суде существует поговорка: истина есть результат судебного разбирательства. Эти слова заключают в себе долю горькой правды. Судебное разбирательство не устанавливает истины, но оно решает дело. Судебный процесс есть одна из несовершенных форм общественного устройства, судебные прения – один из несовершенных обрядов этого несовершенного процесса. Правила

судебного состязания имеют до некоторой степени условный характер: они исходят не из предположения о нравственном совершенстве людей, а из соображений целесообразности. Наряду с этим сознание того, что последствием судебного решения может быть несправедливая безнаказанность или несоразмерное наказание преступника, а иногда и наказание невиновного, обращает спор между обвинителем и защитником в настоящую бой. Если человек, владеющий шпагой, вышел на поединок с неумелым противником, он волен щадить его, не пользуясь своим превосходством и промахами врага. Но если перед ним равный противник, а от исхода боя зависит участь другого человека, он будет считать себя обязанным пользоваться своим искусством в полной мере. В судебном состязании это сознание борьбы не за себя, а за других извиняет многое и больше, чем должно, подстрекает обыкновенного человека к злоупотреблению своим искусством. Готовясь к судебному следствию и прениям, каждый оратор знает, что его противник приложит все свое умение к тому, чтобы остаться победителем; знает также, что судьи и присяжные, как люди, могут ошибаться.

При таких условиях человек не может отказаться от искусственных приемов борьбы. Поступить иначе значило бы идти с голыми руками против вооруженного.

Р. Гаррис говорит: "Не должно прибегать к искусственным приемам ради того только, чтобы добиться осуждения человека; но никто не обязан отказываться от них только потому, что предметом речи является преступное деяние. Ваша обязанность заключается в том, чтобы доказать виновность подсудимого перед присяжными, если можете сделать, это честными средствами. Чтобы достигнуть этого, следует передавать факты в их естественной последовательности (это искусство), в наиболее сжатом виде (это искусство) и с наибольшей простотой (это также искусство)". На одной продолжительной выездной сессии в Йоркшире адвокат Скарлет, впоследствии лорд Эбингер, прозванный за свои постоянные удачи перед присяжными "грабителем вердиктов", выступал несколько раз против блестящего Брума. По окончании сессии кто-то из их товарищей спросил одного присяжного о впечатлении, вынесенном им из судебных состязаний.

– Брум, замечательный человек, – отвечал тот, – это мастер говорить; а Скарлет ваш немногого стоит. – Вот как! Удивляюсь. Отчего же вы каждый раз решали в его пользу? – Ничего удивительного нет: ему просто везло; он всякий раз оказывался на стороне того, кто был прав. – Удивляться, действительно, было нечему, но причина была другая.

Основные элементы судебного спора суть: *probatio* – доказательство и *refutatio* – опровержение.

1. Во всем, что продумано, различайте необходимое и полезное, неизбежное и опасное. Необходимое следует разобрать до конца, не оставляя ничего недоказанного, объяснять до полной очевидности, развивать, усиливать, украшать, повторять без устали; о полезном достаточно упомянуть; опасное должно быть устранено из речи с величайшим старанием, и надо следить за собой, чтобы случайным намеком, неосторожным словом не напомнить противнику козырного хода; неизбежное надо решительно признать и объяснить или совсем не касаться его: оно подразумевается само собой.

* * *

2. Не забывайте различия между *argumentum ad rem* и *argumentum ad hominem*.

Argumentum ad rem, то есть соображение, касающееся существа предмета, есть лучшее орудие спора при равенстве прочих условий. Суд ищет истины, и потому в идее *argumenta ad rem*, то есть соображения, хотя и убедительные для данного лица или нескольких данных лиц, но не решающие существа спора, не должны бы встречаться в прениях. При нормальных условиях *argumentum ad hominem* есть свидетельство о бедности, выдаваемое оратором его делу или самому себе. Но при ненадежных судьях приходится пользоваться и *argumentis ad hominem*, убедительными для данного состава суда, например, когда подсудимый и судьи принадлежат к разным и враждебным сословиям или к враждующим политическим партиям. В этих случаях предпочтение настоящих доказательств мнимым может быть губительной ошибкой.

Если бы в нашем военном суде невоенный оратор начал свою речь с общего положения, что честь воинская не есть нечто отличное от чести вообще, судьи сказали бы себе: придется слушать человека, рассуждающего о том, чего не понимает. Если, напротив, он начнет с признания предрассудка и скажет: не может быть сомнения в том, что честь воинская и честь, так сказать, штатская суть совершенно различные вещи, судьи-офицеры подумают: этот вольный кое-что смыслит. Ясно, что в том и другом случае его будут слушать далеко не одинаково.

Припоминаю, однако, случай удачного применения аргумента *ad hominem* по общему преступлению перед присяжными. Это упомянутое выше дело околоточного надзирателя Буковского, обвинявшегося в убийстве студента Гуданиса. Мотив убийства, признанный присяжными, был не совсем обыкновенный – оскорбленное самолюбие. Студент давал уроки детям Буковского; последний сознавал умственное превосходство молодого человека и чувствовал, что его семейные видят это превосходство. Но Буковский обладал большой физической силой, и, убежденный, что в этом отношении Гуданис хуже его, он мирился со своим унижением. В один злополучный вечер они вздумали померяться силами, и молодой человек положил богатыря-противника "на лопатки". Этого Буковский простить не мог и спустя несколько времени безо всякого нового повода застрелил его в упор. Он утверждал, что выстрелил потому, что Гуданис бросился на него и душил его за горло. В прекрасной, сдержанной, но убедительной и трогательной речи обвинитель, между прочим, воспользовался аргументом *ad hominem*, чтобы подтвердить свои соображения о мотиве преступления. "Возможно ли вообще убийство по столь ничтожному поводу? – спросил он. – Возможно. По крайней мере, возможно для Буковского. Это не подлежит сомнению; это явствует из его собственных объяснений: он все время твердит, что Гуданис, не выдавший от него никакой обиды, настолько ненавидел его, Буковского, что только и думал о том, как бы убить его, грозил

ему словами: "смою кровью", – и даже семье его: "всем вам смерть принесу".

* * *

3. Остерегайтесь так называемых *argumenta communia* или *ambigua*, то есть обоюдоострых доводов. *Commune qui prius dicit, contrarium facit*: всякий, кто выставляет подобные соображения, тем самым обращает их против себя. "Нельзя не верить потерпевшему, – говорит обвинитель, – ибо невозможно измыслить столь чудовищное обвинение". "Невозможно, согласен, возразит защитник; – но если невозможно измыслить, как же можно было совершить?" (Квинтилиан, V, 96.)

Оратор говорит: "Я спрашиваю, в какой степени вероятно, чтобы человек, имеющий преступное намерение, два раза накануне совершения преступления приходил в то место, в котором может быть узнан и изобличен?" [*\(120\)](#). Ответ напрашивается сам собою: он приходил исследовать местность.

Егор Емельянов сказал своей жене, которую впоследствии утопил: "Тебе бы в Ждановку". Спасович говорил по этому поводу: "Из всей моей практики я вынес убеждение, что на угрозы нельзя полагаться, так как они крайне обманчивы; нельзя поверить в серьезность такой угрозы, например, если человек говорит другому: я тебя убью, растерзаю, сожгу. Напротив, если кто имеет затаенную мысль убить человека, то не станет грозить, а будет держать свой замысел в глубине души и только тогда приведет его в исполнение, когда будет уверен, что никто не будет свидетелем этого, уж никак не станет передавать своей жертве о своем замысле". Это сказано с большим искусством, но это убедительно лишь наполовину. У каждого готов ответ на это рассуждение: что на уме, то и на языке. А по свойству отношений между мужем и женой слова: тебе бы в Ждановку – не были случайной фразой; они выражали озлобление, уже перешедшее в ненависть.

Братья Иван и Петр Антоновы были в давней вражде с Густавом Марди и Вильгельмом Сарр. На сельском празднике в соседней деревне между ними произошла ссора, и Марди нанес Ивану Антонову тяжелую рану в голову. Спустя несколько часов, когда Марди и Сарр поздно ночью возвращались домой, из-за угла раздались выстрелы, и оба они были ранены. Это было уже в их собственной деревне. Поднялась тревога, староста с понятиями пошел к Антоновым для обыска. Они застали всю семью на ногах; Иван Антонов с перевязанной головой сидел за столом; мать, сестра и брат были тут же. Обвинитель указал на это обстоятельство как на улику: семья была в тревожном ожидании. Действительно, на первый взгляд это бодрствование целой семьи среди деревни, погруженной в сон, эта освещенная комната среди темноты зимней ночи казались знаменательными. Защитник указал присяжным, что Иван Антонов не спал потому, что страдал от полученной раны, а его семейные – потому, что ухаживали за ним и боялись, чтобы рана не оказалась смертельной. Это было верное соображение. Но если бы защитник помнил, что *commune qui prius dicit, contrarium facit* [*\(121\)](#), он мог бы прибавить: если бы в семье Антоновых знали, что оба сына только что покушались на убийство, то пришедшие крестьяне, конечно, застали бы в доме мрак и полную тишину; в ожидании обыска преступники и их близкие, вероятно, не могли бы спать, но, наверное, притворились бы спящими. Этот пример, как и предыдущие, указывает на необходимость обсуждать каждый факт с противоположных точек зрения.

Из этого примера также видно, что, объясняя себе факты, надо думать до конца.

* * *

4. Из предыдущего правила вытекает другое: умеете пользоваться обоюдоострыми соображениями. Это правило особенно важно для обвинителя. Бывают обстоятельства, которых нельзя объяснить только в свою пользу и вместе с тем нельзя обойти молчанием, потому что они слишком заметны и интересны, заманчивы.

Многие соображения за и против подсудимого выясняются еще на судебном следствии, преимущественно при допросе свидетелей. Иногда стороны по собственной неосторожности выдают свои соображения, иногда выводы навязываются сами собою из выяснившихся фактов. Если, таким образом, внимание присяжных обращено на какое-нибудь заметное *argumentum ambiguum* [*\(122\)](#) и обвинитель понимает, что они остановятся на нем, ему следует идти им навстречу, не выжидая, чтобы это сделал защитник, особенно, если в устах последнего оно дает возможность произвести впечатление.

"Как? – восклицал защитник в деле Золотова, – богатый купец, миллионщик, подкупает убийц, чтобы разделаться с любовником жены, и он обещает за это не то сто, не то полтора рубля!" Накануне убийства Киреев получил от него десять рублей, Рябинин три рубля или пять. Кто хочет быть правдивым, тот скажет: "Да эти пять рублей – это спасение Золотова, это прямое доказательство, что он поручил Лучину отколотить Федорова, а не убивать его!" Это эффектное соображение; оно было указано данными судебного следствия, и обвинитель мог бы предугадать и вырвать его у своего противника. Он мог сам заметить присяжным: "Можно подумать, что эти полтора рубля – это спасение Золотова" и т. д. Но затем сказал бы: "До убийства и три, и пять рублей – хорошие деньги для пропойцы и хулигана, во всяком случае – осязательная приманка; до убийства Золотов еще важный барин: захочет – даст денег, захочет – прогонит вон; он вне их власти. После убийства он у их ног, его касса для них открыта: от каторги придется откупаться уже не рублями, а тысячами, пожалуй, десятками тысяч рублей" [*\(123\)](#) .

* * *

5. Не доказывайте очевидного. Читая или слушая, говорит Кембель [*\(124\)](#) , мы всегда ищем чего-нибудь нового, чего раньше не знали или, по крайней мере, не замечали. Чем меньше находим такого, тем скорее теряем охоту следить за книгой или за речью. Казалось бы, указание это не требует доказательств; лишним кажется и напоминать о нем; но многие ли у нас соблюдают это правило?

У нас постоянно приходится слышать, как оратор с внушительным видом разъясняет присяжным, что они должны обсудить злосчастную триаду о событии, о совершении преступления подсудимым и о его виновности. Это может быть вполне целесообразно, если существенный материал речи распадается на эти подразделения; но то же самое нередко разъясняется и тогда, когда факт установлен или подсудимый отрицает свою виновность, а не свое деяние. Это делается отчасти по суеверному преклонению перед текстом 754 ст. Устава уголовного судопроизводства, частью вследствие неумелого подражания образцам, а иногда и по привычке следить за своими мыслями.

После протокола, удостоверяющего десяток смертельных ран, и вскрытия трупа присяжные неожиданно слышат, что "во всяком деле они должны прежде всего обсудить, имело ли место событие преступления". За этим, конечно, немедленно следует дополнение спохватившегося оратора, что в данном случае такого вопроса не возникает; но для присяжных ясно, что он говорит не думая. Еще хуже, конечно, когда несомненное или ненужное увлекает оратора в долгие рассуждения.

Говоря о новом, следовательно, об интересном, можно говорить много и подробно; если же приходится повторять уже известное, надо быть по возможности кратким: чем короче, тем

лучше, лишь бы поняли слушатели, что нужно; одно слово, быстрый намек могут с успехом заменить страницу протокола или целое свидетельское показание. Вы помните расположение комнат – это настоящая западня; вы оценили по достоинству этого свидетеля: он помнит все, забыл только свою присягу. Если свидетель действительно лгал неискусно, нет нужды доказывать это: пусть ваш противник защищает его.

* * *

6. Если вам удалось найти яркое доказательство или сильное возражение, не начинайте с них и не высказывайте их без известной подготовки. Впечатление выиграет, если вы сначала приведете несколько других соображений, хотя бы и не столь решительных, но все же верных и убедительных, а в заключение – решительный довод, как *coup de grace* [*\(125\)](#).

* * *

7. Отбросьте все посредственные и ненадежные доводы. Только самые прочные и убедительные доказательства должны входить в речь; важно качество, а не количество. *cum colligo argumenta causarum, non tam ea numerare soleo, quam expendere*, говорит Цицерон. Не следует опасаться, что речь покажется слабой от того, что в ней мало доказательств; практическое правило можно высказать как раз в обратном смысле: чем меньше доказательств, тем лучше, лишь бы их было достаточно. *Si causa est in argumentis, firmissima quaeque maxime tueor, sive plura sunt, sive aliquod unum*. Это в особенности полезно помнить начинающим. Коль скоро есть два или хотя бы одно решительное доказательство, то других и не нужно. Защитник, доказавший алиби, ничего другого доказывать не станет: все прочее, как бы ни было интересно, умно, красиво, будет лишним, а иногда и опасным. Цицерон говорит: "Многие соображения напрашиваются сами собою; они кажутся подходящими для речи; но одни настолько незначительны, что не стоит и высказывать их; другие, хотя в них и есть нечто хорошее, таят вместе с тем в себе и невыгодное для оратора, причем полезное не настолько хорошо, чтобы можно было допустить и связанное с ним опасное" (*De orat.*, II, 76.) Квинтилиан указывает и другое соображение: "Не следует обременять память судей многочисленными доказательствами; это утомляет их и вызывает недоверие: судья не может положиться на наши доводы, когда мы сами напоминаем о их недостаточной убедительности, нагромождая их больше, чем нужно".

Не рассчитывайте на невнимательность противника; помните, что после вас будет говорить опасный враг – судья. Называю его врагом потому, что он обязан зорко следить за каждой вашей ошибкой и ни одной не имеет права вам простить; называю опасным потому, что в большинстве случаев он беспристрастен, а также потому, что он пользуется большим доверием присяжных. Итак, не ошибайтесь! А чтобы не ошибаться, не позволяйте себе ненадежных аргументов.

Имейте в виду, что каждый слабый довод, привлекая внимание, подрывает доверие ко всем другим: один калека испортит целый строй.

* * *

8. Доказывая и развивая каждое отдельное положение, не упускайте из виду главной мысли и других основных положений; пользуйтесь всяким случаем, чтобы напомнить то или другое. В каждой из первых четырех речей Цицерона против Верреса он заранее упоминает о казни Гавия, составляющей главное обвинение в пятой речи. Защищая ла Ронсьера, Ше д'Эст Анж повторяет на каждом шагу: все это обвинение есть ряд невозможностей; все недоразумение объясняется

тем, что Мария Моррель страдает истерией или иной непонятной болезнью.

* * *

9. Не упускайте случая изложить сильный довод в виде рассуждения: одно из двух, то есть дилеммы. Это, может быть, лучшая форма рассуждения перед судьями. Цицерон говорит: *comprehensio, quae, utrum concesseris, debet tollere, nunquam reprehendetur*: никогда не следует возражать на верную дилемму.

Отчего так убедительны для присяжных соображения председателя о силе доказательств? Оттого, что он не имеет права высказывать своего мнения и потому всегда указывает два возможных толкования каждого разбираемого им обстоятельства: наиболее благоприятное обвинению и наиболее благоприятное подсудимому. "Которое из этих объяснений покажется вам более соответствующим логике и вашему житейскому опыту, – прибавляет председатель, – то вы и примите в основание вашего суждения".

Привожу простой пример.

Подсудимая, воровка по ремеслу, жалостно плачет; это явно притворный плач. Если обвинитель сказал: это притворный плач, он сделал ошибку. Если он скажет: возможно, что она плачет искренне, возможно, что притворяется; решайте сами; но ни то, ни другое не имеет значения для решения вопроса о виновности. Присяжные, предоставленные своему непосредственному впечатлению, без колебания скажут: притворство.

Дилеммы встречаются на каждом шагу в речи Демосфена о венце [*\(126\)](#). Он спрашивает Эсхина: "Как прикажешь сказать: кому ты враг: мне или государству? Конечно, мне! Однако, когда тебе представлялись законные поводы возбудить против меня обвинение, если только я был виноват, ты этого не делал. А здесь, когда я огражден со всех сторон и законами, и давностью, и позднейшими постановлениями народного собрания, когда против меня нет ни проступка, ни улики, а вместе с тем государство до известной степени должно нести ответственность за все совершенное с его ведома, ты выступаешь против меня. Смотри, как бы не оказалось, что ты на самом деле враг государства и только прикидываешься моим врагом". В другом месте: "Если ты один предвидел будущее, когда шли всенародные совещания, то тогда же должен был высказаться перед государством; а если ты не предвидел будущего, чем же я виноват больше тебя?" Еще ниже: "Я бы спросил Эсхина: когда все радовались, когда по всему городу распевались хвалебные гимны богам, он радовался с прочими, участвовал в жертвоприношениях или сидел дома, вздыхая и негодуя на общее счастье? Если он был со всеми, не странно ли, что он теперь требует, чтобы вы признали государственным бедствием то самое, что тогда он перед лицом богов называл их величайшим благодеянием? А если он не был со всеми, то не достоин ли тысячи смертей, он, проклиная то, о чем ликовал весь народ?"

* * *

10. Не бойтесь согласиться с противником, не дожидаясь возражения. Это подтверждает ваше беспристрастие в глазах судей; выводы, сделанные из его собственных посылок, вдвойне интересны для слушателей; можно также согласиться с его положением, чтобы затем доказать, что оно ничего по делу не доказывает или доказывает не то, чего хотел противник.

* * *

11. Если улики сильны, следует приводить их порознь, подробно развивая каждую в

отдельности; если они слабы, следует собрать их в одну горсть. Квинтилиан говорит: "Первые сильны сами по себе и надо только показать их такими, какие они есть, не заслоняя их другими; вторые, слабейшие, взаимно подкрепляют друг друга. Лишенные значения качественно, они убедительны количеством – тем, что все подтверждают одно и то же обстоятельство. Предположим, что человек обвиняется в убийстве своего родственника с целью воспользоваться его наследством; оратор скажет: вы рассчитывали на наследство, и наследство богатое, вы были в нужде, вас теснили кредиторы; будучи наследником по завещанию покойного, вы оскорбили его и знали, что он собирается изменить завещание. Взятые в отдельности, каждое из этих соображений не имеет большого значения; соединенные вместе, они производят известное впечатление". Это правило не требует пояснений, а примеры найдутся в любой речи.

Цицерон советует скрывать от слушателей число своих доказательств, чтобы их казалось больше. Это может быть выгодно в политических речах, но это не годится на суде. Как бы ни были взволнованы, увлечены присяжные, в совещательной комнате наступает момент, когда они прямо ставят вопрос: что же есть в деле против подсудимого? Сказать на это: есть многое – значит не сказать ничего; для обвинителя необходимо, чтобы они могли припомнить все приведенные им аргументы, и ему нет оснований опасаться их ограниченного числа, раз он знает, что они разъяснят дело. По тем же соображениям и для защитника, мне кажется, выгоднее отчетливо разграничить свои доводы, чем утаивать их число.

* * *

12. Старайтесь как можно чаще подкреплять одно доказательство другим. Если в деле есть прямое доказательство, оставьте его в стороне и докажите спорный факт косвенными уликами; сопоставление логического вывода с прямым удостоверением факта есть сильнейший риторический прием.

Крестьянин Иван Малик судился в Харьковском окружном суде по 1449 ст. Уложения о наказаниях. Самой сильной уликой против него было показание одной крестьянки, Анны Ткаченковой, проходившей через рощу на расстоянии нескольких шагов от места, где как раз в это время было совершено убийство; она утверждала, что слышала громкий спор и узнала голоса отца и сына. Малик отрицал свою виновность, но все местные крестьяне считали его убийцей отца. Показание Анны Ткаченковой, переданное ею чрезвычайно живо, казалось основным устоем обвинения; но защитник легко мог бы вызвать недоверие к показанию опасной для него свидетельницы, указав, что в нем отражается общее настроение окружающих. Обвинитель сумел предупредить это. Он внимательно, без торопливости, с деловитым бесстрашием разобрал другие данные дела и потом сказал: "Все известные нам обстоятельства указывают, что убийство было совершено не кем иным, как Иваном Маликом, во время ссоры его с отцом, в роще. Наряду с этим мы знаем достоверно, что в это же время около того же места проходила Анна Ткаченкова; поэтому, если бы она сказала, что не слышала голосов ссорившихся, мы не могли бы поверить ей, мы должны были бы заключить, что она лжет". Блестящая мысль!

* * *

13. Не пытайтесь объяснять то, что сами не вполне понимаете. Неопытные люди часто делают эту ошибку, как будто рассчитывая, что найдут объяснение, если будут искать его вслух. Противник бывает искренне признателен этим ораторам. Не следует забывать, что внимание слушателей всегда сосредоточивается на слабейшей части рассуждений говорящего.

* * *

14. Не старайтесь доказывать большее, когда можно ограничиться меньшим. Не следует усложнять своей задачи.

Беглый солдат и проститутка обвинялись в убийстве с целью ограбления; он признал себя виновным, но утверждал вопреки сильным уликам, что женщина не участвовала в преступлении. Во время судебного следствия присяжные очень интересовались взаимными отношениями подсудимых, стараясь выяснить, почему мужчина выгораживал свою явную соучастницу; но это осталось неустановленным. Товарищ прокурора сказал по этому поводу: "В деле нет определенных указаний на те побуждения, по которым Семенухин отрицает соучастие Андреевой в убийстве; я также не знаю их; но я укажу вам общее соображение, которое избавит вас от необходимости искать эти побуждения: избличая ее, он ничего не выигрывает, спасая ее – ничего не теряет".

* * *

15. Не допускайте противоречия в своих доводах.

Это правило постоянно нарушается нашими защитниками. Они подробно и старательно доказывают полную неприкосновенность своего клиента к преступлению, а потом заявляют, что на случай, если бы их доводы не показались присяжным убедительными, они считают себя обязанными напомнить им обстоятельства, могущие служить основанием к отпущению вины или, по крайней мере, к снисхождению. Несколько заключительных слов обращают всю защиту в пепел. Это ошибка в самой схеме речи; то же повторяется и с отдельными аргументами. Вот что пишет мне об этом один присяжный заседатель:

"Обвинению много помогали защитники".

"Сначала, набрасываются на прокурора и следствие, доказывая, что ничего, решительно ничего ими не установлено: ни самого преступления, ни подробностей его... Прокурор выстроил карточный домик. Коснитесь его слегка, чуть-чуть, и он разлетится. Но сам защитник карточного домика не трогал и, как он рассыпается, не показывал, предоставляя присяжным заседателям вообразить себе такое касательство и рассыпание, дойти до него собственным умом. В заключение, должно быть, на случай недостатка в них необходимой сообразительности, он просил нас, присяжных заседателей, проникнуться чувством жалости к своему "клиенту", не забывать его молодости или стесненного положения и дать возможное снисхождение. Таким образом, окончание защитительных речей почти всегда шло вразрез с их началом, подрывая к нему всякое доверие. Естественно, что при такой архитектуре этих речей самые жалостливые присяжные заседатели заключают, что в пользу подсудимого ничего сказать нельзя".

В деле доктора Корабевича один из защитников много говорил о свидетельнице Семечкиной; он горячо доказывал, что ее показание ни в чем не опровергнуто, напротив, подтверждается фактами, он грозно упрекал обвинителя в неумении быть беспристрастным к ней... А кончил он так: "Но оставим Семечкину; она не нравится прокурору. Я согласен. Она опорочена. Хорошо. Оставим ее. У нас есть лучшие доказательства". Возможно, что были такие доказательства, но показания Семечкиной уже обратилось в довод против подсудимого.

Аделаида Бартлет обвинялась в отравлении мужа; с нею вместе в качестве пособника предан был суду пастор Дайсон; было установлено, что смерть Бартлета последовала от отравления хлороформом в жидком виде. Хлороформ был доставлен жене Дайсоном; последний под вымышленным предлогом добыл незначительные дозы яда в трех различных местах и, перелив хлороформ из отдельных пузырьков в одну склянку, тайно передал ее подсудимой. По

его словам, она уверяла его, что пользовалась хлороформом как снотворным средством для больного мужа. На суде представитель короны заявил, что не имеет достаточных оснований поддерживать обвинение против Дайсона, и по предложению председателя присяжные, как это допускается в Англии, немедленно признали его невиновным; судебное следствие продолжалось только над Аделаидой Бартлет.

"Господа присяжные заседатели,— говорил ее защитник Э. Кларк,— я не могу не остановиться на одном обстоятельстве, которое, вероятно, бросилось в глаза и вам с самого начала процесса: если ложное показание есть доказательство вины, то представляется несколько странным, что господин Дайсон явился здесь в качестве свидетеля. Я прошу вас иметь в виду, что не только нимало не осуждаю действие поверенного короны по отношению к господину Дайсону, но, напротив, всецело присоединяюсь к заключению его, что в деле действительно не было оснований предъявить Дайсону какое-нибудь обвинение. Если бы мой почтенный противник считал, что такое основание существует, он никогда, конечно, не отказался бы от его обвинения. Я не говорю, что такое основание есть, я подчиняюсь, могу ли сказать? Я верю в справедливость решения, вынесенного вами по предложению короны; признаю, что господин Дайсон не был участником преступления, если здесь было преступление. Но когда вам предлагают обсудить это дело по отношению к госпоже Бартлет и предлагают вменить ей в улику или допустить, чтобы другие вменяли ей в серьезную улику те ложные объяснения, которые будто бы были ею даны и которые удостоверяются перед вами показаниями господина Дайсона, насколько он их помнит или говорит, что помнит, то не приходила ли вам в голову мысль: какое счастье для господина Дайсона, что он сам не сидит на скамье подсудимых?"

...Господа присяжные заседатели! Я прошу вас помнить, что я не возбуждаю ни малейшего сомнения в его невиновности. Я не хотел бы, чтобы в едином слове моем вы увидели намек — и в моих словах нет такого намека — на какие-либо сомнения по этому поводу с моей стороны. Но предположим, что вы судили бы его. Какие факты были бы перед вами? В воскресенье утром он идет по дороге в церковь для проповеди и на ходу выбрасывает теми движениями, которые он здесь повторил перед вами, три или четыре склянки. Что если бы кто-нибудь из людей, знающих его, увидел его на этой дороге в это утро, заметил, как он бросил эти склянки, и подумал: не странно ли, что преподобный господин Дайсон разбрасывает какие-то склянки по дороге в церковь в воскресное утро? Что если бы этот случайный прохожий из любопытства поднял одну из этих склянок и прочел на ней надпись: "Хлороформ. Яд"? Что если бы с первых шагов дознания выяснилось, что господин Дайсон был постоянным посетителем в том доме, где произошла смерть? Если бы выяснилось, что госпожа Бартлет имела обыкновение выходить вместе с ним из дому, что она бывала у него на квартире? Если бы выяснилось, что его отношение к супругам Бартлет, в особенности к жене, носило исключительный характер? Если бы выяснилось из показания аптекаря — на ярлыке склянки есть название аптеки — что, когда господин Дайсон требовал хлороформа, он солгал, сказав, что хлороформ нужен ему, чтобы вывести пятна с платья, пятна, сделанные на его сюртуке во время его поездки в Пуль? Каково бы было положение господина Дайсона?

Этот суровый человек, Ричард Бэкстер (один из свидетелей), имеет обыкновение говорить, что, видя осужденного, идущего на казнь, он всякий раз мысленно говорит себе: не будь милость божия, вот куда вели бы Ричарда Бэкстера. Я думаю, что в течение всей своей жизни, читая отчеты судебных процессов об убийствах, господин Дайсон будет каждый раз вспоминать, какой страшной уликой было бы против него его опрометчивое, непростительное поведение, если бы обвинение, возбужденное против него, не было прекращено в самом начале процесса".

"Господа присяжные заседатели! Я говорю все это не с целью внушить вам — я сказал и повторяю, что не хотел бы внушить вам — малейшее сомнение в невиновности господина

Дайсона. Я говорю это для того, чтобы показать вам, что если его, невинного человека, можно было уличить здесь в том, что он солгал с исключительной целью добыть этот яд, и это обстоятельство могло бы в глазах присяжных стать для него роковым, то было бы жестоко, чтобы уверениям этого самого человека о том, будто госпожа Бартлет солгала ему, чтобы этой ложью побудить его достать ей хлороформ,— было бы странно, если бы этому показанию придавалось в ваших глазах сколько-нибудь серьезное значение как улике против нее".

Каково первое впечатление от этих слов? Оратор утверждает, что ни в чем не подозревает Дайсона, и всеми силами стремится внушить присяжным заседателям убеждение в его соучастии в убийстве. Это яркий пример того, что мысль недоговоренная сильнее мысли, выраженной прямо. Ясно, что факты и на самом деле навлекали на Дайсона сильные подозрения. Почему же защитник с такой настойчивостью повторяет, что вполне убежден в его невинности? Потому, что знает свое дело и соблюдает другое правило: не допускать противоречий в своих доводах. Его главное положение, главное доказательство невинности подсудимой, которая судится за убийство, это — что убийства не было, а было самоубийство. Поэтому он не может допустить и предположения о виновности Дайсона.

1. Разделяйте обобщенные доводы противника.

Возьмем указанный выше пример Квинтилиана: вы были наследником умершего, вы нуждались, вас теснили заимодавцы; покойный был раздражен против вас, вы знали, что он собирается изменить свое завещание; остановившись с некоторой подробностью на каждом из этих обстоятельств, можно без труда обнаружить их ничтожное значение. Это правило применяется в возражении против так называемых улик поведения.

Иногда бывает уместен и обратный прием – обобщение. Квинтилиан говорит: обвинитель перечислил те побуждения, которые могли толкнуть подсудимого на преступление; к чему разбирать все эти соображения? Не достаточно ли сказать, что, если человек имел основание к известному поступку, из этого еще не следует, что он совершил его?

В речи по делу Максименко Плевако говорил: "Я советую вам разделить ваше внимание поровну между подсудимыми, обдумывая доказательства виновности отдельно для каждого... Совершилось преступление. Подозревается несколько лиц. Мы начинаем смотреть на всех подсудимых, привлеченных по одному делу, на всю скамью как на одного человека. Преступление вызывает в нас негодование против всех. Улики, обрисовывающие одного подсудимого, мы переносим на остальных. Он сделал то-то, она сделала то-то, откуда заключается, что они сделали то и другое вместе. Вы слышали здесь показания, которыми один из подсудимых изобличался в возведении клеветы на врача Португалова, а другая – в упреке, сделанном его соседке Дмитриевой в неосторожном угощении больного мужа крепким чаем, что было на самом деле. И вот в речи господина обвинителя эти отдельные улики объединяются в двойную улику: оказывается, что Максименко и Резников клеветали на доктора, Максименко и Резников упрекали Дмитриеву".

* * *

2. Возражая противнику, не выказывайте особой старательности. Слишком настойчивое возражение против того или иного довода, не сопряженное с безусловным его опровержением, может придать ему новый вес в представлении слушателей, у них слагается собственное соображение, невыгодное для оратора: если он так много говорит об этом, значит, это действительно имеет большое значение. Напротив того, когда оратор лишь мимоходом возражает противнику, как бы пренебрегая его доводами, они часто уже по одному этому кажутся не заслуживающими внимания. Я помню случай, когда обвинителю пришлось возражать двум защитникам; первый из них говорил два часа, второй – почти час. Обвинитель сказал присяжным: "На первую речь я возражать не буду: не стоит; обратимся ко второй". Так можно говорить, конечно, только при уверенности в своей правоте. Если это риторическая уловка, противник смешает с грязью такое легкомыслие.

* * *

3. Не оставляйте без возражения сильных доводов противника. Но, возражая на них, отнюдь не следует развивать их или повторять те соображения, которыми он эти доводы подкреплял. Это, к сожалению, делается у нас слишком часто и почти бессознательно. Оно вполне понятно: повторять то, что уже сказано, легко, и, повторяя, мы отдыхаем, вместе с тем уясняя себе то,

чему собираемся возражать; думаем, что и возражение выиграет от этого. А выходит наоборот. Соображения противника были подготовлены и изложены в наиболее подходящей форме; повторяя, мы немного сокращаем и упрощаем их, делаем, так сказать, конспект этих соображений, уясняем их присяжным, то есть самым искусным образом помогаем противнику: присяжные могли не понять, не вполне усвоить себе его доводы – мы поясняем их; они могли забыть их – мы им напоминаем. Сделав, таким образом, все возможное, чтобы подкрепить положение противника, мы затем экспромтом переходим к его опровержению: возражение не подготовлено и страдает многословием, не продумано, и мы не успеваем развить свои доводы до конца, хватаемся за первые пришедшие в голову соображения и упускаем из виду более важные, излагаем их в неясной, неудачной форме. Многозначность и туманность возражения после сжатой и ясной мысли противника только оттеняют убедительность последней.

* * *

4. Не доказывайте, когда можно отрицать. "Если житейская или законная презумпция на вашей стороне, – говорит Уэтли, – и вы опровергли выставленные против вас доводы – ваш противник разбит. Но если вы сойдете с этой позиции и дадите слушателям забыть благоприятную вам презумпцию, вы лишите себя одного из лучших своих доводов; вместо славно отбитого приступа останется неудачная вылазка. Возьмем самый наглядный пример. Человек привлечен к уголовному делу в качестве обвиняемого без всяких улик; ему надо сказать, что он не признает себя виновным, и потребовать, чтобы обвинитель доказал обвинение; предположим, однако, что он вместо этого задался целью доказать, что не виновен, и приводит ряд соображений в подтверждение этого; во многих случаях окажется, что доказать невиновность, то есть установить отрицательное обстоятельство, невозможно; вместо того чтобы рассеять подозрения, он усилит их".

Приведенное правило допускает исключение. На нем основана защита Карабчевского по делу Скитских; защита Андреевского по делу об убийстве Сарры Беккер представляет его нарушение. Приводя ряд соображений в доказательство того, что убийство не могло быть совершено Мироновичем, защитник доказывает затем, что убийцей была Семенова. Такое исключительное построение защиты объясняется исключительными обстоятельствами дела. Семенова сама утверждала, что убийство было совершено ею, и так как она действительно была в ссудной кассе в роковую ночь, то ее мнимое признание подтверждалось рядом фактов. Было бы ошибкой не воспользоваться этим обстоятельством, и в этом случае схема защиты вполне соответствовала указанию Квинтилиана, что такое построение удваивает аргументацию.

5. Отвечайте фактами на слова.

Мать убитого Александра Довнара называла Ольгу Палем лгуньей, шантажисткой и авантюристкой. Н. П. Карабчевский разбирает эти эпитеты. На слово "шантажистка" он отвечает, что за четыре года сожительства с подсудимой Довнар истратил из своего капитала в четырнадцать тысяч не более одной тысячи рублей и что после убийства в номере гостиницы у убитого оказалось меньше, а у Ольги Палем больше денег, чем надобно было заплатить по счету. Защитник признает, что подсудимая отличалась чрезвычайной лживостью, но доказывает, что это ложь безвредная: простое хвастовство и желание казаться выше своего двусмысленного общественного положения. Остановившись на слове "авантюристка", оратор доказывает, что под этим подразумевалось желание подсудимой выйти замуж за Довнара. Он замечает, что во время их продолжительной связи убитый многим выдавал ее за свою жену, что он посылал ей письма на имя "Ольги Васильевны Довнар", и выводит из этого, что ее желание сделаться

законной супругой любимого человека не представляет ничего предосудительного. Немного далее в той же речи оратор возвращается к отзывам госпожи Шмидт об Ольге Палем, указывает, что в своих письмах мать называет сожительницу сына "милая Ольга Васильевна", подписывается "уважающая вас Александра Шмидт" и напоминает, что она поручила ей надзор за своим младшим сыном, тринадцатилетним мальчиком: "Балуйте моего Виву, заботьтесь о бедном мальчике", – писала госпожа Шмидт. "Сколько нужно доверия, сколько нужно глубочайшего, скажу более – безграничного уважения к женщине, стоящей по внешним условиям в таком щекотливом, в таком двусмысленном положении относительно госпожи Шмидт, как стояла госпожа Палем в качестве любовницы ее старшего сына, чтобы ей же, этой самой женщине, без страха, без колебаний доверить участь младшего малолетнего сына!" Что могло остаться от неблагоприятных отзывов свидетельницы после речи защитника? Они все послужили к тому, чтобы выставить подсудимую перед судьями в более выгодном освещении: на слова оратор отвечал фактами.

"Я сделал все, что мог", – говорил на суде доктор Корабевич. "Да, сказал обвинитель, – он сделал, что мог; об этом говорят тело умершей девушки и квитанции на скромные вещи, заложенные ею, чтобы платить врачу за преступную помощь".

* * *

6. Возражайте противнику его собственными доводами. Это называется *retorsio argumenti*.

Обвинитель по делу об убийстве Ал. Мерка высказал следующее соображение: если Антонова просила Никифорова достать ей морфия, то это могло быть сделано лишь с целью отравить Мерка, а не для самоубийства; если бы она хотела покончить с собой, она искала бы более сильного яда. Защитник возразил: прокурор не верит, что можно отравиться морфием; пусть откроет прокурор любую газету: он убедится, что не только морфием – уксусной эссенцией ежедневно отравляются женщины и девушки. Обвинитель мог бы воспользоваться этим возражением; он мог бы сказать: из слов защитника ясно, что достать отраву для самоубийства очень легко; Антонова, как всякая другая девушка, могла достать себе уксусной эссенции, если бы хотела отравиться; у нее не было разумного основания обращаться для этого к знакомому фельдшеру; но отравить другого уксусной эссенцией очень трудно, хотя бы и живя в одной квартире с отравляемым: ее нельзя выпить незаметно; отравить морфием при тех же условиях несравненно легче.

Блистательный пример *retorsionis argumenti ex persona* указан Аристотелем (*Rhetor.*, II, 23): "Ификрат спросил Аристофонта, способен ли был бы тот продать за деньги флот неприятелю; а когда тот ответил отрицательно, сказал: ты, Аристофонт, не решился бы на измену, а я, Ификрат, пошел бы на нее!"

В деле священника Тимофеева, обвинявшегося в убийстве мужа своей любовницы, был свидетель Григорий Пеньков. Он давал страшные показания против подсудимого; он говорил, что священник много раз подговаривал его убить Никиту Аксенова, что в ответ на отказ Тимофеев просил только побить Никиту настолько, чтобы жена имела повод послать за священником, то есть за подсудимым. Григорий Пеньков шел дальше: по его словам, священник высказывал при этом, что, причащая Никиту, он без труда заставит его выпить яду из святой чаши.

Невероятное показание! Однако обвинитель имел основание верить ему. Но Григорий Пеньков был горький пьяница и два раза сидел в тюрьме за кражи. Возможно ли, спрашивал защитник, мыслимо ли отнестись не только с доверием, но хотя бы со вниманием к этому чудовищному обвинению? И кто же свидетель? Кто обличитель? Последний мужик во всей

деревне, пропойца, известный вор. Довольно знать его, чтобы выбросить из дела его показание как бессмысленную, наглуую ложь.

Что можно было возразить на это?

Обвинитель благодарил противника за яркое освещение этой непривлекательной фигуры: "Защитник совершенно прав, говоря, что Григорий Пеньков – последний мужик в Ендовке; только поэтому мы и можем поверить его ужасным показаниям; когда нужен убийца, его ищут не в монастыре, а в кабаке или в остроге. Только такой человек, как Григорий Пеньков, и мог знать то, что говорил суду; если бы честный и трезвый крестьянин говорил, что священник решил подкупать его на убийство, мы действительно не могли бы верить ему".

* * *

7. Не спорьте против несомненных доказательств и верных мыслей противника. Это спор бесполезный, а иногда и безнравственный.

Антоний говорит у Цицерона: "Мое первое правило заключается в том, чтобы совсем не отвечать на сильные или щекотливые доказательства и соображения противника. Это может показаться смешным. Кто же не сумеет этого? Но я говорю о том, что делаю я, а не о том, что могли бы сделать другие на моем месте, и, признаюсь, что там, где противник сильнее меня, отступаю, но отступаю, не бросив щита, не прикрываясь даже им; я сохраняю полный порядок и победоносный вид, так что мое отступление кажется продолжением битвы; я останавливаюсь в укрепленном месте так, чтобы казалось, что отступил не для бегства, а для того, чтобы занять лучшую позицию". Если факт установлен, то задача не в том, чтобы возражать против него, а в том, чтобы найти объяснение, которое примирило бы его с выводом или основными положениями оратора.

Защита доктора Корабевича в процессе 1909 года была сплошным нарушением этого основного правила; правда, защитники были связаны настойчивым запирательством подсудимого. Он был осужден.

* * *

8. Не опровергайте невероятного; это – удары без промаха по воде и по ветру. Подсудимый обвинялся в двух покушениях на убийство: он в упор стрелял в двух человек, попал в обоих, но ни одна из трех пуль не проникла в толщу кожи раненых. Эксперт сказал, что револьвер, из которого были произведены выстрелы, часто не пробивает одежды и служит больше к тому, чтобы пугать, чем нападать или защищаться. Обвинитель сказал несколько слов о слабом бое револьвера. Защитнику надо было только мимоходом, с убеждением в тоне упомянуть, что из револьвера нельзя было убить. Вместо этого он стал приводить самые разнообразные соображения, чтобы доказать то, что было ясно из самого факта и с каждым новым соображением давно сложившаяся мысль – не револьвер, а игрушка – постепенно тускнела и таяла. Мальчишка-подсудимый производил жалкое впечатление; отзывы о нем были хорошие; казалось возможным, что его напоили старшие, чтобы толкнуть на бывшего хозяина. На суде он, вероятно, был подавлен обстановкой и, может быть, жалел о том, что сделал, но высказать этого не умел. Это надо было объяснить присяжным, но об этом защитник не подумал.

* * *

9. Пользуйтесь фактами, признанными противником.

Эсхин приглашал афинян судить Демосфена по обстоятельствам дела, а не по предвзятому мнению их о нем. Демосфен ответил на это: Эсхин советует вам отрешиться от того мнения обо мне, которое вы принесли сюда с собой из дому. Посмотрите, как непрочны то, что несправедливо. Ведь этим самым он утверждает вашу уверенность в том, что мои советы всегда шли на пользу государства, а его речи служили выгодам Филиппа. Зачем бы ему разубеждать вас, если бы вы не думали именно так? (De corona, 227, 228). Это не есть *retorsio argumenti*: Демосфен не говорит, что требование Эсхина лишено логического или нравственного основания; он пользуется тем, что противник признал факт, ему выгодный, и, заняв открывшуюся позицию, немедленно переходит в наступление.

* * *

10. Если защитник обошел молчанием неопровержимую улику, обвинителю следует только напомнить ее присяжным и указать, что его противник не нашел объяснения, которое устранило бы ее. Если в защитительной речи были ошибки или искажения, возражение обвинителя должно быть ограничено простым исправлением их, без всяких догадок или изобличений в недобросовестности. Наши обвинители не знают этого, и прокурорское возражение часто превращается в ненужные, не всегда пристойные, а иногда и оскорбительные личные нападки; это неизбежно вызывает и колкости с противной стороны.

В виде общего правила можно сказать, что обвинитель не должен возражать; возражение есть уже признание силы защиты или слабости обвинения; напротив, спокойный отказ от возражения есть подтверждение уверенности в своей правоте. Если в речи защиты были доводы, которые могли произвести впечатление на присяжных, но не пошатнули обвинения, обвинитель должен опровергнуть их в немногих словах, предоставив присяжным их более подробное обсуждение.

* * *

Следует помнить общее правило всякого спора: чтобы изобличить неверные рассуждения противника, надо устранить из них побочные соображения и, отделив положения, составляющие звенья логической цепи, расположить их в виде одного или нескольких силлогизмов; ошибка тогда станет очевидной. Этот прием вполне уместен в судебной речи: он указывает присяжным, что хотя доводы противника могут казаться очень убедительными, на них все-таки полагаться нельзя.

Можно сказать, что почти каждое обвинение в посягательстве против женской чести заканчивается ясно или неявно выраженной мыслью: если этот подсудимый будет оправдан, нам придется дрожать за наших жен и дочерей. Логическое построение этой мысли таково: всякий, совершивший преступление против женской чести, должен быть наказан, ибо иначе мы будем дрожать за своих жен и дочерей; подсудимый совершил такое преступление; следовательно, подсудимый должен быть наказан. Первая посылка составляет бесспорное положение, но пока не доказана вторая, вывод не верен. Защитник должен возразить: всякий, не изобличенный в преступлении, должен быть оправдан. Вопрос в том, изобличен ли подсудимый, обвинитель подменил предмет спора: он доказывает то, в чем никто не сомневается, но что для нас не имеет значения, пока не решен главный вопрос. Этот софизм повторяется на каждом шагу не только в делах этого рода, но и при всяких других обвинениях.

Преувеличение

Во всяком практическом рассуждении важно не только то, что сказано, но и то, как сказано. Риторика указывает некоторые искусственные приемы усиления мыслей формой их изложения. Некоторые из этих приемов уже были указаны мной в главе о цветах красноречия. Привожу еще несколько таких указаний.

По замечанию Аристотеля, одним из способов подкреплять или отвергать обвинение служит преувеличение. Вместо того чтобы доказать или отрицать виновность подсудимого, оратор распространяется о зле преступления; если это делает сам подсудимый или его защитник, слушателям представляется, что он не мог совершить такого злодеяния, и наоборот, кажется, что оно совершено им, когда негодует обвинитель. Этот прием или, если хотите, эта уловка ежедневно применяется в каждом уголовном суде. К нему прибегает прокурор, когда, как я упоминал, сознавая слабость улики, предупреждает присяжных, что они будут дрожать за своих жен и детей, если оправдают подсудимого, обвиняемого по ст. 1523 или 1525 Уложения о наказаниях. То же делает защитник, развивая предположение о преднамеренном убийстве, когда подсудимый предан суду лишь по 2 ч. 1455 ст. Уложения: после этого легче говорить о ненамеренном лишении жизни, или когда вместо диффамации рассуждает о клевете. Аристотель указывает, что здесь нет энтимемы, то есть нет логического умозаключения: слушатели делают неверный вывод о наличии или об отсутствии факта, который на самом деле остается под сомнением. Этим же приемом пользуется Ше д'Эст Анж в защите ла Ронсьера: он иронически называет подсудимого невероятным злодеем, небывалым чудовищем, исчадием ада.

Гражданский истец по этому делу Одилон Барро закончил свою речь таким образом: "Вся Франция, целый мир, быть может, не без тревоги ждут вашего ответа. Здесь решается участь не одной отдельной семьи, не двух-трех лиц, здесь нужно дать высокий нравственный урок, надо оградить глубоко потрясенные основы общей безопасности семейной. Это дело, господа, кажется воплощением какого-то современного стремления к нравственному извращению. Во всякой эпохе были свои моды; мы знаем развратников времен Людовика XV, регентства, империи; мы знаем их, знаем характерные черты тех и других. Одни скрывали свои пороки под внешним лоском, под соблазнительной внешностью; другие подчиняли свои страсти стремлению к славе; потом пришло другое время, наше время, и явились люди, которым кажется, что все, что существует в природе, все, что возможно,— прекрасно, что есть какая-то поэзия в преступлении... И, увлекаясь своим расстроенным воображением, эти люди стали искать новых ощущений какой бы то ни было ценой. Нравственное сознание заражено, и чуть не каждый день приходится слышать о гнусных преступлениях, поражающих своею чудовищностью, непохожих на прежние; эти преступления в самой извращенности своей находят защиту, потому что превосходят все наши представления, все человеческие верования. Если мы дошли до этого, то государственное правосудие, вами здесь представленное, правосудие человеческое, отражение небесного, должно дать обществу грозное предупреждение, должно остановить его в этом общем распаде, дать залог безопасности семейного очага. Нельзя допустить, чтобы эта несчастная семья (мне уже не приходится говорить о ее высоком положении, могуществе, богатствах; нет семьи, самой скромной, самой несчастной, для которой семья Моррель не была бы предметом жалости), нельзя допустить, чтобы она вышла из этой ограды, куда ее привела горестная необходимость восстановить свою честь, нельзя допустить, чтобы она вышла отсюда опозоренная судебным приговором и чтобы отныне было ведомо всем

и каждому, что существует преступление, для которого нет возмездия и в котором обращение к правосудию ведет лишь к публичному позору пострадавших".

Что это за неслыханное, небывалое злодеяние? Это преступление, которое совершается ежедневно и часто карается должным возмездием. Это даже не было оконченное преступление: ла Ронсьер обвинялся лишь в покушении на честь девушки. И, однако, даже в чтении, спустя полвека, в чужой стране эти слова производят впечатление, подчиняют себе воображение. Можно судить о том, какое сильное предубеждение они должны были создать против подсудимого на суде, хотя в них нет и тени улики против него. Как мы видели, защитник приводил то же самое соображение, поддерживал у присяжных то же преувеличенное представление о злодействе преступления в подтверждение тому, что подсудимый – не чудовище и не злодей, не мог совершить его.

Крестьянин Евдокимов нарубил в общественном лесу три воза дров, запродав их крестьянину Филиппову и получил задаток. Сторож, крестьянин Родионов, застиг порубщика и прогнал его; Евдокимов подчинился этому без раздражения и брани. Филиппов, приехавший за дровами, убедил Родионова выпустить один воз на деревню: крестьяне могли разрешить покупку. Они втроем отправились в деревню; по пути, на перекрестке, Родионов взял лошадь под уздцы, чтобы направить ее куда следовало. В это время Евдокимов, не говоря ни слова, бросился на него с топором и три раза ударил его. По счастливой случайности Родионов уцелел, хотя получил три раны и оглох на одно ухо. Он давал показания с удивительной правдивостью и незлобивостью, заявил даже, что готов простить Евдокимова. Следствием было установлено, что Евдокимов был пьян. Свидетель удостоверил, что, и трезвый и пьяный, он был смиренный человек; никаких указаний на умоисступление не было. Защитник, однако, пытался доказать невменяемость и настаивал на оправдании. Это было совершенно безнадежно. А подсудимому можно было помочь. Что стоило защитнику сказать присяжным: если бы Евдокимов хотел убить Родионова и, несмотря на выпитую водку, вполне сознавал все, что делал, то, конечно, нет довольно строгого наказания за эту дикую расправу с человеком, исполнявшим свой долг. Если для вас ясно, что это так и было, я затрудняюсь найти подходящее название этому зверскому поступку. Я скажу даже, что наказание, грозящее ему по закону, слишком снисходительно для его преступления. Но ведь перед вами четыре свидетеля единогласно удостоверяют, что это совершенно добродушный человек; в числе этих свидетелей – и сам пострадавший, спасшийся только чудом и оставшийся на всю жизнь калекой. Поступок, действительно, зверский, но факт мгновенный; а люди, давно знающие Евдокимова, его односельчане, говорят: не зверь, а смиренный человек. Присяжные увидели бы, что из двух возможных предположений второе ближе к истине; коль скоро это так, они, естественно, будут склонны идти по пути, благоприятному для подсудимого.

Повторение

В разговоре кто повторяется, считается несносным болтуном; что сказано раз, то неприлично повторять. А перед присяжными повторение – один из самых нужных приемов. Сжатая речь – опасное достоинство для оратора. Мысли привычные, вполне очевидные скользят в мозгу слушателей, не задевая его. Менее обыкновенные, сложные не успевают в него проникнуть. Всякий отлично знает, что такое дневной свет, знает, что без света нет зрения. Однако, любуясь на красоты божьего мира, мы не думаем о свете. С другой стороны, для человека малоразвитого новая мысль есть трудность. Надо дать ему время вдуматься, усвоить ее, надо задержать на ней его внимание. Возьмем известное стихотворение Тютчева:

Два демона ему служили.

Две силы чудно в нем слились:

В его главе – орлы парили,

В его груди – змеи вились...

Ширококрылых вдохновений

Орлиный, дерзостный полет

И в самом буйстве дерзновений

Змеиной мудрости расчет!

В этих восьми строках четыре раза повторяется одна и та же мысль; однако повторение не надоедает, а как бы увлекает нас с каждым разом дальше в глубину мысли поэта.

Чтобы не быть утомительным и скучным в повторении, оратор, как видно из этого образца, должен излагать повторяемые мысли в различных оборотах речи. По замечанию Уэтли, то, что первоначально высказано в прямых выражениях, может быть повторено в виде метафоры, в антитезе можно переставить противопологаемые понятия, в умозаключении – вывод и посылку, можно повторить ряд высказанных соображений в новой последовательности и т. п.

Все это крайне легко. Возьмем все то же дело Золотова. По обвинительному акту, два хулигана совершили убийство вследствие подкупа богатого человека. Основная мысль так очевидна, что не привлекает к себе внимания, не может заинтересовать слушателя и становится, как дневной свет, незаметной. Надо навязать ее присяжным. Применим к этому случаю каждый из четырех приемов, указанных Уэтли.

1. Метафора. Золотев подкупил Киреева и Рапацкого убить Федорова. Что такое Рапацкий и Киреев? Это палка и нож, послушные вещи в руках Золотова.

2. Антитеза. Для Киреева и Рапацкого Федоров первый встречный: ни друг, ни недруг; для подсудимого – ненавистный враг; он – в золоте, они – в грязи; он может заплатить; они рады продать себя; они привыкли к крови, он боится ее.

3. Перестановка посылок и вывода. У Киреева была палка, у Рапацкого – нож. Чтобы побить Федорова, довольно было палки. Очевидно, что Золотов требовал убийства. – Золотов требовал убийства. Палкой убить не так просто. У Киреева в руках палка, у Рапацкого – нож.

4. Перемена в порядке изложения. Почему стали убийцами Киреев и Рапацкий? – Потому, что Золотову нужно было убийство. Почему приказчик Лучин пошел нанимать убийц? – Потому, что велел хозяин. Почему взят у старухи-матери единственный работник Чирков, почему оторван от жены и детей Рябинин? – Потому, что для семейного благополучия Золотова было необходимо их соучастие в убийстве.

То же в другом порядке. – В чем виноват Золотов? Лучше спросить, не он ли виноват во всем и за всех. Кто, как не он, сделал убийцами послушного Лучина, невежественных Киреева и

Рапацкого, жадного Рябинина и легкомысленного Чиркова?

Само собой разумеется, все это нельзя говорить так, как оно сейчас написано, одно вслед за другим. Мысль слишком простая. Она должна быть разбросана по всей речи обвинителя, повторяясь как бы нечаянно, мимоходом.

В речи о венце Демосфен говорит о вступлении Филиппа в Грецию и занятии им Эллатей. Как только известие об этом пришло в Афины, поднялась тревога. На следующий день, уже на рассвете весь город был на пниксе [*\(128\)](#) . Пританы [*\(129\)](#) подтвердили грозный слух, и по обычаю глашатай обратился к присутствующим, приглашая желающих говорить. Все молчали. Воззвание повторялось несколько раз, никто не решался говорить, "хотя по закону голос глашатай справедливо признается голосом самого отечества". Тогда Демосфен выступил перед народом с предложением о помощи фиванцам [*\(130\)](#) . Последующее место в речи представляет удивительный образец риторической техники. "Мое предложение,— сказал он,— привело к тому, что гроза, висевшая над государством, рассеялась, как облако. Долг каждого честного гражданина обязывал его говорить, если он мог дать лучший ответ, а не откладывать на будущее обвинение против советника. Добрый советник и крючоктвор тем и отличаются друг от друга, что один высказывается, не дожидаясь событий, и берет на себя ответственность перед слушателями, перед случайностями, перед неизвестным, одним словом, перед всеми и всем; а другой молчит, когда следует говорить, а когда наступит несчастье, клеветает на других. Как я сказал, тогда было время для людей, верных родине, и для честных речей. Но теперь скажу иначе: ежели теперь кто-либо может указать что-нибудь лучшее или вообще если можно было решиться на что-либо другое, кроме того, что было предложено мною, я признаю себя виновным. Ежели кто из вас знает такую меру, которая могла бы тогда принести нам пользу, признаю себя виновным в том, что не заметил ее. Но ежели нет никакой, никакой и не было и даже сегодня никто не может указать никакой, то как должен был поступить добрый советчик? Не должен ли был он указать лучшее, что мог, и притом единственно возможное? Это сделал я, когда глашатай спрашивал, кто хочет говорить, а не кто хочет обвинять за прошлое или кто хочет ручаться за будущее? И когда ты сидел и молчал, я встал и говорил. Что же? Если ты тогда ничего не мог указать, укажи хоть теперь. Скажи, какое соображение, какую полезную меру я упустил из виду? Какой союз, какие действия могли быть полезны государству и остались мной не замеченными?" Здесь переплетаются два повторения: о предложении Демосфена и молчании Эсхина и о недобросовестном обвинении со стороны последнего.

По свойствам нашего ума всякое незаконченное логически положение, высказанное другим лицом, дает толчок нашей рассудочной деятельности в указанном направлении; и хотя по формальным условиям мышления для всякого вывода необходимо сопоставление двух посылок, это требование не стесняет нас. Я пишу: некоторые люди обладают ораторским талантом; это вовсе не значит, что есть люди, лишенные этого дара, ибо это частное суждение логически не исключает возможности общего положения: все люди обладают ораторским талантом. Но ум быстрее пера и смелее логики, и мой читатель, прочитав частное суждение, не допускающее логического опровержения, уже возражает на него: "Но большинство людей не обладают ораторским талантом". Потребность дополнить чужую мысль или возразить ей бывает особенно сильна, когда возражение подсказывается знанием, жизненным опытом и, еще более, самолюбием. Я пишу: если читатель не понимает книги, он сам виноват в этом. Вы немедленно скажете: а может быть, виноват писатель. Скажи я: если читатель не понимает книги, в этом виноват писатель; вы прибавите: или читатель. В обоих случаях я мог иметь в виду только непосредственное содержание своих слов, но мог иметь в виду и навести вас на противоположный вывод. Во втором случае в вашем мозгу отразилась мысль, ранее родившаяся в моем. Но в первом случае, если это не parthenogenesis [*\(131\)](#), это не есть и повторение чужой мысли; это ваша мысль, а не моя. Этим самым она кажется вам более убедительной. Опытный оратор всегда может прикрыть от слушателей свою главную мысль и навести их на нее, не высказываясь до конца. Когда же мысль уже сложилась у них, когда зашевелилось торжество законченного творчества и с рождением мысли родилось и пристрастие к своему детищу, тогда они уже не критики, полные недоверия, а единомышленники оратора, восхищенные собственной пронизательностью. Мысль так же заразительна, как и чувство.

Итак, надо запомнить, что половина больше целого. В драме Леонида Андреева "Царь Голод" в сцене суда над одним из голодных говорится о Смерти: "Она, свирепая все более, высокая, черная, страшная..." С последним словом впечатление мгновенно ослабевает.

В речи Александрова по делу Веры Засулич нет резких выражений. Защитник говорит: распоряжение, происшествие, наказание, действие; но, просмотрев эту речь, вы чувствуете, что присяжные, слушая эти бесцветные слова, мысленно повторяли: произвол, надругательство, истязание, безнаказанное преступление.

Оратор должен быть как Фальстаф: не только сам быть умен, но и возбуждать ум в других. Если вы вдумаетесь в обстановку судебной речи, то скажете, что уменье не договаривать есть залог цельного впечатления слушателей от слов обвинителя и защитника.

Не договаривайте, когда факты говорят за себя.

Свидетель показывает, что подсудимый заходил к нему накануне заседания. Прокурор спрашивает: "Не просил ли он вас дать показания на суде? Не привез ли он вас в суд на своей лошади? Не угощал ли сегодня утром в трактире?" Свидетель подтверждает все это. Прокурор видит в этом подстрекательство к лжесвидетельству, изобличает подсудимого и свидетеля в стачке, негодует; его слова производят впечатление. Но что стоит защитнику спросить присяжных: если бы кто из вас был по недоразумению предан суду и знал, что одним из оснований обвинения было показание его соседа, имел бы он право пойти к нему и напомнить ему, как было дело? Если бы он знал, что сосед может удостоверить обстоятельство, опровергающее обвинение, имел бы он право просить его сделать это? Не понимаю, почему прокурор видит в этом преступление: ст. 557 уже предоставляет это подсудимому как право.

Если бы обвинитель ограничился внушительным напоминанием факта, не распространяясь о его толковании, защитнику пришлось бы приводить свои соображения как доказательства, а не как опровержение, что далеко не так убедительно.

В 1856 году в Лондоне разбирался громкий процесс Пальмера, обвинявшегося в отравлении Парсона Кука. Вечером, за несколько часов до смерти Кука Пальмер принес ему лекарство, в котором был стрихнин. Больной отказывался взять пилюли, но Пальмер настоял на том, чтобы он принял их. Затем Пальмер ушел в свою комнату спать, оставив при больном его приятеля Джонса. Не успел последний скинуть верхнее платье, как услышал страшный крик Кука. Горничная пошла за Пальмером; он тотчас же вышел из своей комнаты. Передав эти подробности присяжным в своей вступительной речи, генерал-атторней сказал: "Через две минуты Пальмер был у постели больного и, хотя никто его не спрашивал, высказал странное замечание: "Никогда в жизни не приходилось мне одеваться так скоро". Из вашего ответа, господа, мы узнаем, думаете ли вы, что ему пришлось одеваться". Оратор не досказал своей мысли, но, конечно, присяжные не могли не сделать естественного вывода. Отравитель и не раздевался: он ждал.

Осторожность обвинителя была вполне уместна в этом убедительном, но тонком указании; ничуть не ослабив его силы, он заранее отвел от себя удар противника.

Не выражайте ни хвалы, ни порицания, когда доказываете, что человек заслуживает того или другого. Докажите это и, не назвав его трусом, скрягой, бессребреником, другом человечества, заговорите о другом, а потом, спустя некоторое время, называйте его тем самым словом, которое вы уже подсказали присяжным.

Ничто так не требует сдержанности в выражениях, как похвала, особенно если она касается присутствующих. Неумелое восхваление переходит в лесть, насмешку, оскорбление или пошлость. Нельзя не удивляться, что наши обвинители и защитники решаются говорить присяжным о их глубоком знании жизни и вдумчивом отношении к делу. Искусство заключается в том, чтобы слушателям казалось, что одобрение или восхищение вырвалось у оратора ненамеренно и для него самого неожиданно: то, что сказалось нечаянно, несомненно, было искренно.

Чтобы судить о том, как случайны, прихотливы и вместе с тем как изящны бывают такие обороты речи, надо вспомнить слова Буало в известной оде после победоносного похода Людовика XIV во Францию.

Поэт, казалось бы, хочет только сказать, что трудно написать хорошее стихотворение; но вместе с тем и как бы неожиданно для самого себя высказывает и другую мысль: французы так научились побеждать, что для их полководцев брать неприятельские города есть самое легкое дело.

А порицание? Я обращаюсь к вам, читатель, и говорю: вы не знаете своего родного языка, вы не умеете мыслить, не умеете говорить. Вы едва ли будете довольны этой тирадой. Но я скажу: мы не знаем русского языка, мы утратили здравый смысл, мы разучились говорить – и вы не заметите, что эти укоры относятся столько же к вам, как и ко мне.

Недоговоренная мысль всегда интереснее высказанной до конца; кроме того, она дает простор воображению слушателей; они дополняют слова оратора каждый по-своему. Ein Jeder sucht sich selbst was aus. Если намек сделан умело, это служит только к выгоде оратора. "Хочешь воздать должное Цезарю, – говорится у Шекспира, – скажи: Цезарь". Никто не подумает, что это значит трус, скряга, честолюбец; напротив, всякий представит себе те достоинства и заслуги, которые особенно ценит в людях.

Не все можно говорить, но благодаря чудодейственной гибкости слова все можно передать в речи; надо только владеть словами, а не подчиняться им. Привожу случайный пример. "Выйдя

из исправительного приюта,— говорил защитник,— Никифоров сейчас же пошел на кражу; очевидно, в этом приюте его не учили тому, что красть нельзя". Своей явною несообразностью эти слова немедленно вызывают мысленное возражение у слушателя и вызвали резкое замечание председателя. Между тем, если бы оратор сказал то, что хотел сказать: очевидно, в этом приюте его не отучили красть, его намек не был бы грубостью и обвинение воспитательного заведения в краже, совершенной рецидивистом, не имело бы вида нелепости.

Старик-рабочий вернулся домой пьяный; пьяная жена встретила его бранью и вцепилась ему в волосы; он ударил ее подвернувшемся поленом и нанес ей смертельную рану. Никаких указаний на намеренное убийство в деле не было; тем не менее он судился не по 1465 ст. или 2 ч. 1484 ст., а по 2 ч. 1455 ст. Уложения. Защитник сказал, что прокурорская власть запросила больше, чем следовало, чтобы было, что скинуть. Упрек был справедлив, но неуместные выражения: запросить, скинуть — дали председателю законный повод резко остановить защитника, а в заключительном слове разъяснить присяжным, что никто не торгуется на суде, что суд не лавочка, как думает адвокат, и т. п. Надо было высказать мысль осторожнее. Что стоило оратору, разбивая явно преувеличенное обвинение, упомянуть мимоходом о гарантиях, установленных для подсудимого в обряде предания суду? Вместо заслуженного замечания защитнику председатель, пожалуй, был бы вынужден говорить о "случайной ошибке" непогрешимых.

Судебный оратор, если только он не переливает из пустого в порожнее, сравнительно редко может сказать: наверно; ему чаще приходится говорить: вероятно [*\(132\)](#). Но надо говорить так, чтобы суд и присяжные, услышав от вас: вероятно, сказали от себя: наверно. Это простое соображение; я приведу ниже несколько примеров удачного его применения. Но наши молодые ораторы, особенно защитники, часто говорят так, как будто, сказав: вероятно, хотят внушить слушателям: вряд ли, или: ни в каком случае.

Подсудимый обвинялся в грабеже. Он спросил встречного прохожего, есть ли у него папиросы; тот ответил: нет; подсудимый засунул руку ему в карман и вытащил кошелек с деньгами. А вот и папиросы! – воскликнул он и бросился бежать, унося с собой кошелек. Он не признал себя виновным на суде и объяснил, что принял кошелек (кошелек, а не бумажник) за портсигар. Защитник говорил присяжным:

"Я считаю, что подсудимый не совершал того преступления, в котором он обвиняется. Его объяснение представляется мне вполне правдоподобным... Конечно, строго говоря, папиросы так же являются имуществом, как и деньги, и путем натяжки можно и это назвать грабежом; но такое толкование дела не соответствовало бы намерению подсудимого. Он хотел взять у потерпевшего одну папиросу, а случайно вытащил портсигар. Но затем он испугался крика потерпевшего и бросился бежать. Так он объясняет свой поступок, и я не вижу в этом ничего невозможного, ничего невероятного".

Невозможного действительно не было; но возможное далеко не есть вероятное, и люди знающие недаром говорят: вероятности лучше возможностей.

Другой случай. Вор пришел в квартиру состоятельного купца и сказал прислуге, что ее барыня заболела на улице и отвезена в больницу. Горничная заперла квартиру и побежала в магазин за хозяином, но по какой-то случайности сейчас же вернулась и нашла входную дверь взломанной, а в квартире вора, стоявшего у буфета со взломанными ящиками; в руках у него была серебряная сахарница, в кармане серебряные ложки. У него был соучастник, который успел ускользнуть, услышав приближение девушки: она встретила его на лестнице. Защитник доказывал, что кража была совершена с голоду, только чтобы купить кусок хлеба на украденную вещь. "Подсудимые, сказал он, – рассчитывали, что прислуга скоро вернется; стали бы они продолжать разгром квартиры, это большой вопрос".

Подумайте, читатель, насколько правдоподобно и вероятно это утверждение.

Итак, важнейшее правило: найдя объяснение того или иного сомнительного обстоятельства, не довольствуйтесь тем, что оно возможно, что животное, ребенок или идиот могли поступить так; спросите себя, правдоподобно ли, вероятно ли ваше изобретение. Если вы будете внимательны к фактам и разумно требовательны к своим толкованиям, вы найдете соображения, в которых вероятность будет почти несомненностью.

Напоминая сказанное в пятой главе о житейской психологии, укажу здесь еще один или два примера правдоподобного и убедительного объяснения фактов.

В деле по обвинению одной газеты в клевете защитник спрашивал чиновников Министерства финансов:

"Неужели вы не понимали, что при допущении такого несовершенно способа доказательств, как частные письма, неизбежны злоупотребления? Неужели элементарная осторожность не должна была возбудить в вас этих тревожных вопросов? Неужели требовалось двухлетнее расхищение казенных денег Сергеевым и его шайкой для того, чтобы чины

министерства финансов стали более осмотрительными?"

"Ведь мать покойного мичмана Краевского, вызванная в суд обвинителями, простодушно заявила: когда мне сказали, что сын мой, получавший всего 190 рублей жалования, внес будто бы в судовую кассу свыше трех тысяч рублей, я сразу сказала: да этого и быть не может; самое большое, что мог он накопить, это рублей двести-триста".

"И то, что доступно пониманию бесхитростной женщины, разве недоступно умудренным опытом и знанием чинам финансового ведомства?"

Соображение от имени здравого смысла получает здесь двойную цену в глазах присяжных: оно исходит не от искушенного в судебном состязании диалектика-адвоката, а от простодушной старушки-свидетельницы. Она сказала: этого быть не может, и присяжные, конечно, согласились с ней.

Двое гуляющих в парке слышат женский крик, идут на голос и видят на тропинке мужчину и женщину. В это время она не кричит. Он скрывается, она заявляет им, что подверглась грубому надругательству. Выясняется, что эта женщина вышла замуж пять месяцев тому назад. На суде, естественно, весь спор свелся к одному вопросу: правду говорит она или нет. Обвинитель сказал свою речь убежденным тоном, подчеркнул гнусный характер преступления и указал, между прочим, на житейские соображения: если бы была добровольная встреча, женщина не стала бы криком выдавать место тайного свидания; встретившись в условленном месте, любовники не остались бы на дороге, где ходят люди, а ушли бы в глубь парка. Но почему не прибавил оратор, что, сознавая себя виновной в измене мужу, эта женщина не пошла бы на встречу к незнакомцу, а поспешила бы скрыться, как скрылся ее любовник? Почему не отметил он, что подсудимый был грубый, неопрятный, уродливый парень, а муж этой женщины – настоящий красавец? Одного взгляда на обоих мужчин было довольно, чтобы устранить всякие сомнения.

В осеннюю ночь в Петербурге к городовому, стоявшему на Михайловском мосту, у Царицына луга, подошла молодая крестьянка и спросила, как пройти к Троицкому мосту. Городовой подозвал товарища; оба потребовали, чтобы девушка шла с ними в участок, и подвели ее к мосткам паровой пристани на Мойке. Она не хотела идти дальше; полицейские пригрозили бросить ее в воду. Кругом никого не было видно; она повиновалась. Один из городских остался у входа на мостках, другой спустился за девушкой на пристань. Что было дальше, рассказывать не приходится. Несчастливая не избежала надругательства, а полицейский, стоявший на стороже, два раза подходил к товарищу, чтобы узнать, скоро ли его очередь. Но гнусное дело не прошло безнаказанным: его видел прохожий, сказал подошедшему случайно офицеру. Они освободили девушку; офицер записал номера городских. Преданные суду, оба утверждали, что девушка сама напросилась на их желание.

Защита выдвигала два обстоятельства против потерпевшей: во-первых, она спросила у городского дорогу на Троицкий мост, а следствием было установлено, что она каждый день ходила этим именно путем на Петербургскую сторону; во-вторых, она ни разу не крикнула; между тем, если бы она подвергалась грубому посягательству против ее желания, инстинкт женщины вырвал бы у нее крик о помощи.

Обвинитель предложил присяжным представить себе обстановку события. Ночь, холод, ветер, дождь; перед девушкой пустынное, темное Марсово поле, за ним черная Нева. Девушка идет одна, в сознании своего одиночества и беспомощности; ей жутко, ей страшно, и у нее является потребность ощутить присутствие живого существа, способного оградить ее от воображаемых опасностей. Она видит городского – чего же лучше? – и идет к нему с ненужным ей вопросом только для того, чтобы услышать человеческий голос и умерить свой страх. Что можно возразить на такое объяснение? Опровергнуть его нельзя.

"Защитник утверждает, – продолжал обвинитель, – что девушка по инстинкту должна была

кричать. Она, конечно, кричала бы, если бы могла надеяться на чью-нибудь помощь. Но перед нею были только два злодея-насильника да безлюдная площадь. Когда она молила отпустить ее, ей отвечали: молчи или столкнем в Мойку. Полицейские зашли слишком далеко, чтобы остановиться перед убийством. Она, может быть, не понимала этого, но чувствовала, что один громкий возглас может погубить ее; инстинкт, именно инстинкт, страх смерти, присущий каждому живому существу, удержал ее крики и спас ее если не от насилия, то от воды".— И на это возразить нечего.

Помнится, читатель, мы несколько увлеклись с вами, когда рассуждали о художественной обработке дела. Кажется, даже в небесах побывали. Но заоблачные полеты вещь далеко не безопасная; это знали еще древние по рассказу об Икаре, а нам, современным людям, как не знать? К тому же мы работаем на земле; судят во имя закона обыкновенные люди. Будем искать доводов от имени закона и здравого смысла.

Шла сессия в уездном городе; два "помощника" из Петербурга, командированные для защиты, наперерыв топили подсудимых. На второй или третий день было назначено дело по 1 ч. 1483 ст. Уложения. Во время деревенской беседы молодой крестьянин ударил одного парня ножом в живот; удар был очень сильный, рана опасна; к счастью, пострадавший выжил, но на суд он явился с неизлечимой грыжей. Свидетели разбились на две половины: одни утверждали, что Калкин ударил Федорова безо всякого повода, другие – что Федоров с несколькими другими парнями гнались за Калкиным с железными тростями в руках и что он ударил Федорова, настигнувшего его раньше других, не оглядываясь, защищаясь от нападения. На счастье подсудимого, молодой юрист, бывший на очереди защиты, не решился взяться за дело и заявил об этом суду. Произошло некоторое замешательство; судьи не хотели откладывать дела, но не решались приступить к разбору без защитника; в это время из публики неожиданно выступил отец Калкина и заявил, что защитник есть – родной дядя подсудимого. Перед судом предстал коренастый человек лет сорока, в широкой куртке, в высоких сапогах; ему указали место против присяжных. В течение судебного следствия он часто вызывал улыбку, не раз и раздражение у судей; он не спрашивал свидетелей, а спорил с ними и корил их; после обвинения товарища прокурора он произнес свою речь, обращаясь исключительно к председателю и совсем забыв о присяжных.

"Ваше благородие, – начал он, – я человек необразованный и малограмотный; что я буду говорить, это все равно, как бы никто не говорил; я не знаю, что надо сказать. Мы на вас надеемся..." Он говорил, волнуясь, торопясь, затрудняясь; однако вот что он успел высказать:

1. Калкин не хотел причинить столь тяжкое повреждение Федорову, "он ударил его наотмашь, не оглядываясь; это был несчастный случай, что удар пришелся в живот".
2. Калкин не хотел этого; "он сам жалеет, что произошло такое несчастье; он сразу жалел".
3. Он не имел никакой вражды против Федорова; он не хотел ударить именно его.
4. Удар "пришелся" в Федорова потому, что он был ближе других: "тот ему топчет пятки, он его и ударил".
5. Он не нападал, а бежал от напавших на него.
6. "Их шестеро, они с железными палками, он один; он спасал свою жизнь и ударил".
7. Несчастье в том, что у него оказался этот нож: "ему бы ударить палкой, железной тростью, как его били; он сшиб бы Федорова с ног и только; тогда не было бы и такой раны; да палки-то у него с собой не случилось".
8. "Какой это нож? Канцелярский, перочинный ножик; он не для чего худого его носил в кармане; у нас у всех такие ножи для надобности, для работы".
9. Он не буйн, он смирный; "они за то его не любят, что он с ними водку не пил и им на водку не давал".
10. "Он смирный; он не буйн, если бы он остался над Федоровым, когда тот упал, да кричал: "Эй подходи еще, кто хочет", – тогда бы можно сказать, что он их задирали; а он убежал; ... размахнулся назад, ударил и убежал".

Кончил защитник тем, с чего начал: "Я не знаю, что надо говорить, ваше благородие, вы лучше знаете; мы надеемся на ваше правосудие..."

Доводы говорившего приведены мною в том порядке, в каком были высказаны им; логической последовательности между ними нет. Разберем, однако, логическое и юридическое значение каждого из них в отдельности. Защитник сказал:

во-первых, что тяжесть раны была последствием случайности, случайности по месту приложения удара; юридически безразличное, житейски убедительное соображение;

во-вторых, что подсудимый раскаивается в своем поступке; это 2 п. 134 ст. Уложения о наказаниях;

в-третьих, что у подсудимого не могло быть заранее обдуманного намерения или умысла на преступление – прямое возражение против законного состава 1 ч. 1483 ст. в деянии Калкина;

в-четвертых, что случайность была и в личности жертвы – подтверждение первого житейского и третьего юридического соображения;

в-пятых, что поведение подсудимого доказывало отсутствие умысла – прямое возражение против 1 ч. 1383 ст.;

в-шестых, что подсудимый действовал в состоянии необходимой обороны – ст. 101 Уложения о наказаниях;

в-седьмых, что случайность была и в орудии преступления – "палки не случилось", подвернулся нож – подтверждение первого и третьего соображения;

в-восьмых, что орудие преступления – не сапожный, не кухонный, а перочинный нож – не соответствует предполагаемому умыслу подсудимого – убедительное житейское соображение против законного состава 1 ч. 1483 ст. Уложения о наказаниях;

в-девятых, что личные свойства подсудимого – характеристика, если хотите, вызывают сомнение в составе преступления и объясняют неблагоприятные показания некоторых свидетелей;

в-десятых, что поведение подсудимого подтверждает характеристику, сделанную защитником, и доказывает отсутствие заранее обдуманного намерения или умысла.

Вот защита, господа защитники!

Дело было сомнительное. Подсудимый не только по обвинительному акту, но и по судебному следствию рисковал арестантскими отделениями, потерей всех особых прав и высылкой на четыре года. Присяжные признали рану легкой, признали состояние запальчивости и дали снисхождение. Судьи приговорили Калкина к тюремному заключению на два месяца. В следующем перерыве я подошел к оратору и, поздравив его с успехом защиты, спросил между прочим о его занятии. Он заторопился:

"Да я... Так что я... У меня две запряжки. Я извозчик".

Заметили ли вы, читатель, общую техническую ошибку профессиональных защитников? Заметили ли вы, что извозчик не сделал ее? Каждый присяжный поверенный и каждый помощник требуют оправдания или, по крайней мере, говорят, что присяжные могут не обвинить подсудимого; извозчик сказал: "Мы на вас надеемся". В их речах звучит нравственное насилие над судейской совестью; в его словах – уважение к судьям и уверенность в их справедливости. И при воспоминании о его защитительной речи мне хочется сказать: "Друг, ты сказал ровно столько, сколько сказал бы мудрец" [*\(133\)](#).

Этот простой случай заслуживает большого внимания начинающих адвокатов. В словах этого извозчика не было ни одного тонкого или глубокомысленного соображения. И сам он не показался мне человеком выдающимся. Это был просто разумный мужик, говоривший здравые мысли. Любой из наших молодых защитников, конечно, мог бы без затруднения, но при старании и без суетливости найти все его соображения. Можно, пожалуй, сказать, что трудно

было не заметить их. Однако я имею основания думать, что, если бы им пришлось защищать молодого Калкина, они или, по крайней мере, многие из них не сказали бы того, что сказал его дядя, а наговорили бы...

Думаю так по своим наблюдениям. Предлагаю читателю судить по некоторым отрывкам.

Двое мальчишек обвинялись в краже со взломом; оба признали себя виновными, объяснив, что были пьяны; оба защитника доказывали крайность и требовали оправдания. Подсудимый был задержан в ту минуту, когда пытался вынуть деньги из кружки для сбора пожертвований в пользу арестантских детей при помощи особой "удочки"; при нем оказалась и запасная такая же удочка, и он признал, что уже был один раз осужден за такую же кражу; его защитник потребовал оправдания, сказав между прочим: "Для меня вполне ясно, что подсудимый действовал почти машинально".

Подсудимый обвинялся по 2 ч. 1655 ст. Уложения о наказаниях; не помню, была ли это четвертая или пятая кража; защитник говорил: "Прокурор считает, что прежняя судимость отягчает вину подсудимого. Я, как это ни парадоксально, утверждаю противное; если бы он не был заражен ядом преступности, уязвлен бациллой этой общественной болезни, он предпочел бы голодать, а не красть; поэтому его прежняя судимость представляется мне обстоятельством не только смягчающим, но и исключаящим его вину".

Девушка 17 лет, бегавшая по садам и театрам, украла меховые вещи, стоившие 1000 рублей, заложила их и накупила себе нарядов и золотых безделушек; вещи были найдены и возвращены владельцу. "Если бы у меня, сказал защитник, – был крупный бриллиант, Регент или Коинур, стоящий несколько миллионов, его украли бы, продали за 50 копеек и я потом получил бы его в целости, – можно ли было бы говорить о краже на сумму нескольких миллионов? Конечно, нет, и поэтому с чисто юридической точки зрения, несомненно, следует признать, что эта кража на сумму менее 300 рублей!" – это говорил немолодой, образованный и умный адвокат.

Разбиралось дело по 2 ч. 1455 ст. Уложения, то есть об убийстве; перед присяжными в арестантском бушлате стоял невысокий геркулес: широкие плечи, богатырская грудь; благодаря низкому росту он казался еще более крепким. Защитник говорил о превышении необходимой обороны, так как подсудимый был "человек довольно слабого сложения".

Подсудимый обвинялся по 1489 и 2 ч. 1490 ст. Уложения; преступление было совершено 31 декабря 1908 г. По обвинительному акту присяжные знали, что он признавал себя виновным на предварительном следствии. Защитник, доказывая невозможность обвинительного приговора, сказал: "Вина Приватова, в сущности, в том, что он захотел встретить новый год и не рассчитал своих сил". Такою представлялась защитнику вина человека, в пьяном озлоблении забившего насмерть другого человека.

Защитник-извозчик говорил только по здравому смыслу и, как мы видели, этим путем угадывал разум неведомых ему законов. Запомните же, читатель, что защита идет перед лицом закона, и, насколько подсудимый прав, настолько закон не враг, а союзник его. Это уже один; призовите другого, не менее сильного – здравый смысл, и вы можете сделать многое. Вот вам пример.

Подсудимый судился по 3 ч. 1655 ст. Уложения о наказаниях; в обвинительном акте было сказано:

Семенов обвиняется в том, что "между 10 мая и 7 июня 1906 г. в Петербурге тайно похитил с расположенных на улицах: Расстанной, Тамбовской, Курской, Прилукской, Лиговской, с набережной Обводного канала и в Расстанном переулке с фонарей бельгийского общества электрического освещения двадцать одну реактивную катушку, стоимостью свыше 300 рублей, то есть в преступлении, предусмотренном 3 ч. 1655 ст. Уложения о наказаниях". Он признал себя виновным и объяснил, что совершил кражу по крайности.

Из речи защитника было видно, что он очень внимательно отнесся к делу и старательно готовился к нему. Что сказал он присяжным?

1. Похищение могло быть совершено не из корыстной цели, а из мести.

2. Тюремное заключение развращает людей.

3. Различие в наказуемости кражи на сумму более и менее 300 рублей имеет случайный характер, и по обстоятельствам дела, если бы присяжные не признали возможным оправдать подсудимого по первому и второму соображению, они имеют основания признать, что стоимость похищенного не превышает 300 рублей.

Можно ли назвать это сильными доводами? Между тем одно перечисление семи улиц в обвинительном пункте обличало непростительную ошибку в предании суду.

Семью семь – единица. Так рассуждали коронные юристы, от судебного следователя до членов судебной палаты. Если бы Иванов украл у Петрова в 1900 году 100 рублей в Одессе, в 1901 году – 100 рублей в Киеве, в 1902 году – 100 рублей в Москве и в 1903 году – 100 рублей в Петербурге, то, следуя такой логике, в 1904 году его можно было бы судить по 3 ч. 1655 ст. за кражу 400 рублей в Российской империи. Если бы защитник указал эту ошибку присяжным, вместо трех плохих доводов он предъявил бы им одно неотразимое соображение.

Известный берлинский адвокат Фриц Фридман рассказывает в своих воспоминаниях [*\(134\)](#) такой случай. Четверо известных берлинских шулеров приехали на модный курорт несколько ранее разгара сезона и, чтобы не пропустить дня без упражнения в благородном искусстве, "сели на лужок под липки" за веселый фараон. Зевающие лакеи и уличные мальчишки с почтением наблюдали за игрой. На ту беду – жандарм. Протокол; ст. 284 Германского уголовного уложения; коронный суд, обвинительная речь и требование тюремного заключения на два года.

Адвокат сказал судьям: "Закон карает занятие азартными играми в виде промысла. Все мы, юристы, знаем, что понимает закон под словами: занятие в виде промысла. Господин товарищ прокурора упомянул об этом лишь вскользь. Тот, кто обращает известную деятельность в свой промысел, должен искать в ней свой заработок, весь заработок или часть его. Нет сомнения, и я не думаю оспаривать, что подсудимые очень часто ищут заработка в игре, если только им попадет в руки посторонний. Я вполне уверен, что, если бы жандарм не поторопился, в их силках очень скоро оказался бы такой "птенчик", и было бы нетрудно доказать их виновность на точном основании закона. Но пока эти господа оставались в своей компании, они играли в игру, вроде того как на придворных балах некоторые из приглашенных сидят за столами с картами в руках и болтают между собой всякий вздор, не ведя настоящей игры. Только этим ведь и объясняется обычное обращение императрицы Августы к своим гостям: "Извольте выигрывать?" Я прошу об оправдании подсудимых за отсутствием в их деянии состава преступления".

Ищите таких доводов, читатель; старайтесь произносить такие речи. Это не красноречие, конечно, но это настоящая защита.

О нравственной свободе оратора

Всякий искусственный прием включает в себе некоторую долю лжи: пользование дополнительными цветами в живописи, несоразмерность частей в архитектуре и скульптуре применительно к расположению здания или статуи, риторические фигуры в словесности, демонстрация на войне, жертва ферзем в шахматах – все это есть до некоторой степени обман. В красноречии, как во всяком практическом искусстве, технические приемы часто переходят в настоящую ложь, еще чаще в лесть или лицемерие. Здесь нелегко провести границу между безнравственным и дозволенным. Всякий оратор, заведомо преувеличивающий силу известного довода, поступает нечестно; это вне сомнения; столь же ясно, что тот, кто старается риторическими оборотами усилить убедительность приведенного им соображения, делает то, что должен делать. Здесь отличие указать нетрудно: первый лжет, второй говорит правду; но первый может быть и вполне добросовестным, а доводы его все-таки преувеличенными; по отношению к неопытным обвинителям и защитникам это общее правило, а не исключение.

С другой стороны, возьмите *captatio benevolentiae* [*\(135\)](#) перед враждебно настроенными присяжными; там уже не так просто будет отделить лесть от благородства. Представим себе, что на судебном следствии неожиданно открылось обстоятельство, в высшей степени неблагоприятное для оратора: свидетель-очевидец уличен во лжи, свидетель, удостоверявший алиби, отказался от своего показания. Оратор встревожен, ибо он убежден в своей правоте. Если он даст присяжным заметить свое волнение, он искусственно усилит невыгодное для него впечатление; поэтому он, конечно, будет стараться казаться спокойным. Скажут: это самообладание.– Да, изредка; но в большинстве случаев это притворство.

Проф. Л. Владимиров в статье "Реформа уголовной защиты" говорит: "Можно и даже должно уважать защиту как великое учреждение; но не следует ее превращать в орудие против истины. Не странно ли слышать от такого процессуалиста, как Глазер ("Handbuch des Strafprozesses"), что он вполне одобряет прием защиты, состоящий в замалчивании каких-либо сторон в деле в тех случаях, когда защитник это находит выгодным? Неужели же в самом деле защита есть законом установленные и наукой одобренные приемы для наилучшего введения судей в заблуждение? Нам кажется, что защита имеет целью выяснить все то, что может быть приведено в пользу подсудимого согласно со здравым смыслом, правом и особенностями данного случая. Но полагать, что и молчание для затушевывания истины входит в приемы защиты, значит заходить слишком далеко в допущении односторонности защиты.

Защита, конечно, есть самооборона на суде. Но судебное состязание не есть бои, не есть война; средства, здесь дозволяемые, должны основываться на совести, справедливости и законе. Хитрость едва ли может быть допускаема как законное средство судебного состязания. Если военные хитрости терпят, то судебные вовсе не желательны".

Это кажется очень убедительным, а самый вопрос имеет важнейшее значение. Прав или нет проф. Владимиров? Если защитник не имеет нравственного права умалчивать или замалчивать (дело не в словах) обстоятельства и соображения, изобличающие подсудимого, это значит, что он обязан напомнить их присяжным, если обвинитель упустил их из виду. Например: прокурор указал вам на некоторые незначительные разногласия в объяснениях подсудимого на суде; но если вы вспомните его объяснения, занесенные в обвинительный акт, вы убедитесь в еще более важных противоречиях, или обвинитель доказал вам нравственную невозможность совершения преступления лицом, изобличаемым подсудимым; я, согласно с современной теорией уголовной защиты, докажу вам физическую невозможность этого; прокурор назвал двух свидетелей,

удостоверяющих внесудебное сознание подсудимого; я напому вам, что свидетель N подтвердил это признание на суде, и т. д.

Если защитник будет говорить так, он, очевидно, станет вторым обвинителем и состязательный процесс превратится в сугубо розыскной. Это невозможно. Но в таком случае не следует ли применить это же рассуждение и к обвинителю? Не имеет ли и он права замалчивать факты, оправдывающие подсудимого, рискуя осуждением невинного?

Ответ напрашивается сам собой. Оправдание виновного есть незначительное зло по сравнению с осуждением невинного. Но, оставляя в стороне соображения отвлеченной нравственности, как и соображения целесообразности, заглянем в закон. В ст. 739 Устава уголовного судопроизводства сказано: "Прокурор в обвинительной речи не должен представлять дело в одностороннем виде, извлекая из него только обстоятельства, уличающие подсудимого, ни преувеличивать значение имеющихся в деле доказательств и улик или важности рассматриваемого преступления".

Статья 744 говорит: "Защитник подсудимого объясняет в защитительной речи все те обстоятельства и доводы, которыми опровергается или ослабляется выведенное против подсудимого обвинение". Сопоставление этих двух статей устраняет спор: законодатель утвердил существенное различие между обязанностями обвинителя и защитника.

Суд не может требовать истины от сторон, ни даже откровенности; они обязаны перед ним только к правдивости. Ни обвинитель, ни защитник не могут открыть истину присяжным; они могут говорить только о вероятности. Как же ограничивать им себя в стремлении представить свои догадки наиболее вероятными?

Закон, как вы видели, предостерегает прокуратуру от односторонности в прениях. Требование это очень нелегко исполнить. А. Ф. Кони давно сказал, что прокурор должен быть говорящим судьей, но даже в его речах судья не раз уступает место обвинителю. Это кажется мне неизбежным, коль скоро прокурор убежден, что только обвинительный приговор может быть справедливым. Насколько могу судить, эта естественная односторонность в значительном большинстве случаев не нарушает должных границ; но не могу не обратить здесь внимание наших обвинителей, особенно начинающих товарищей прокурора, на одно соображение.

В провинции многие уголовные дела разбираются без защиты; в столичных губерниях защитниками бывают неопытные помощники присяжных поверенных; это часто оказывается еще хуже для подсудимых. Своими неумелыми вопросами они подчеркивают показания свидетелей обвинения, изобличают ложь подсудимых и их свидетелей; незнанием и неверным пониманием закона раздражают судей; несостоятельными доводами и рассуждениями подкрепляют улики и легкомысленным требованием оправдания озлобляют присяжных. В словах этих нет преувеличения, ручаюсь совестью. Председатель может быть просвещенным судьей, но может оказаться не совсем беспристрастным, или несведущим, или просто ограниченным человеком. Вот когда надо стать говорящим судьей, чтобы не сделать непоправимой ошибки "с последствиями по 25 ст. Уложения о наказаниях", то есть каторгой или хотя бы с чрезмерно строгим наказанием осужденного.

Я сказал, что от представителя стороны в процессе нельзя требовать безусловной откровенности. Что если бы нам когда-нибудь довелось услышать на прокурорской трибуне вполне откровенного человека?

"Господа присяжные заседатели! – сказал бы он.– Проникнутый возвышенной верой в людей, в человеческий разум и совесть, законодатель даровал нам свободный общественный суд. Действительность жестоко обманула его ожидания. В Европе преимущества суда присяжных вызывают большие сомнения. У нас таких сомнений быть не может. Ежедневный опыт говорит, что для виновного выгодно, для невинного опасно судиться перед присяжными. Это и не

удивительно. Наблюдение жизни давно убедило меня, что на свете больше глупых, чем умных, людей. Естественный вывод – что и между вами больше дураков, чем умных людей, и, взятые вместе, вы ниже умственного уровня обыкновенного здравомыслящего русского обывателя. Если бы у меня сохранились какие-нибудь наивные самообольщения по этому поводу, то частью нелепые, частью бессовестные решения ваши по некоторым делам этой сессии открыли бы мне глаза".

Несомненно, что во многих случаях такого рода вступление было бы самым правдивым выражением мыслей оратора; но действие такого обращения на присяжных также не подлежит сомнению.

Представим себе такую речь: "Господа сенаторы! Кассационный повод, указанный в моей жалобе, составляет существенное нарушение закона. Но я знаю, что это обстоятельство не имеет для вас большого значения. В сборниках кассационных решений, а особенно в решениях ненапечатанных, есть немало приговоров, отмененных Сенатом по нарушениям, признанным не существенными в ваших руководящих решениях, и есть десятки приговоров, оставленных в силе, несмотря на нарушения, многократно признанные недопустимыми. С другой стороны, я также знаю, что, хотя закон и воспрещает вам входить в оценку дела по существу, вы часто решаете его именно и исключительно на основании такой оценки. Поэтому я не столько буду стараться доказать вам наличность кассационного повода, сколько убедить вас в несправедливости или нецелесообразности приговора".

Остановитесь немного на этих двух примерах, читатель. Я не хочу сказать, что всякий думает так, как мои воображаемые ораторы; но тот, кто так думает, имеет право не высказывать этого и сделал бы глупость, если бы сказал. Отсюда неизбежный вывод: в искусстве красноречия некоторая доля принадлежит искусству умолчания. Как же далеко могут идти в искусственных риторических приемах обвинитель и защитник на суде? Повторяю, здесь нельзя указать формальной границы: врач, который лжет умирающему, чтобы получать деньги за бесполезное лечение, – негодяй; тот, который лжет, чтобы облегчить его последние минуты, поступает, как друг человечества. Судебный оратор не может лгать, но за этим требованием он в каждом отдельном случае сам свой высший судья в том, на что имеет нравственное право в интересах общества или отдельных людей и что недопустимо для него:

To thine own self be true,

And it must follow, as the night the day,

Thou canst not then be false to any man –

"Будь верен самому себе, и ты всегда будешь прав перед другими". Верен самому себе тот, кто к себе неумолимо строг.

"Обещаю и клянусь, что по каждому делу, по которому буду избран присяжным заседателем, приложу всю силу разумения моего и подам решительный голос по сущей правде и убеждению моей совести". Так клянутся судить наши присяжные заседатели; так наставляют их прокурор, защитник и председатель: по сущей правде и совести. А что, если правда говорит одно, а совесть – другое? Если рассудок твердит: он убил, а сердце молит: спаси его... Что тогда делать присяжному, как соблюсти присягу?

"Совесть, судьи, – говорит в своем "Руководстве для присяжных" английский судья и ученый Стефен [*\(136\)](#), – отрешается от всяких житейских забот, страхов и желаний, отдается всецело своему делу, и дело это творится ею с молчаливым, настойчивым, непоколебимым вниманием". Эти слова с благодарностью может сказать о русских присяжных каждый русский человек. Но давно уже признано, что у всякого народа свой суд присяжных. На той же странице Стефен пишет: "Совесть судьи не знает уступок; она должна отвлекаться от всяких слабостей, присущих природе человеческой, как от свойств, ей не только чуждых, но и вполне недопустимых; в ней нет благодушия; она сурова и бесчувственна. Она живет потому, что наблюдает, рассуждает и решает, но во всех других отношениях жизнь ее не отличается от жизни жабы в глыбе мрамора". Могут ли так судить русские присяжные? Что если бы судья предложил такую формулу нашим присяжным в напутственном слове? Он сразу потерял бы их доверие. И это было бы справедливо, потому что эта формула не соответствует духу русского народа, а правосудие должно более отвечать народному духу, чем отвлеченным рассуждениям и требованиям теории.

"Присяжные судят более по впечатлениям, а не по логическим выводам", говорил В. Д. Спасович [*\(137\)](#). Главная задача оратора, писал Цицерон [*\(138\)](#), заключается в том, чтобы расположить к себе слушателей и настроить их так, чтобы они более подчинялись волнениям и порывам чувства, чем требованиям рассудка. *Multo plus proficit is qui inflammat judicem, quam ille qui docet* [*\(139\)](#), – повторяет он в другом месте. Так думают и многие другие законники. Но сами присяжные утверждают другое. Вот что пишет в своих заметках, напечатанных несколько лет назад, один присяжный заседатель: "Главными факторами, действующими на ум и совесть присяжных, – говорит он, – всегда являются единственно суть дела и личность подсудимого; ни излишних цветов красноречия, ни банальных лирических обращений к сердцу присяжных не нужно; не какие-либо софизмы и теории, но сама реальная жизнь руководит умом и совестью присяжных. Именно из этой реальной жизни, а не из тиши кабинетов и не из книг выносят присяжные свои истины "житейской правды" и свое отрицательное отношение к положениям правды формальной. Это руководящее начало всегда сказывается в их деятельности" [*\(140\)](#).

Можно думать, что с этими словами согласилось бы значительное большинство русских людей, бывших присяжными. Итак, не чувства и не впечатления, а ум, совесть, житейская правда направляют решения присяжных в нашем суде.

Две тысячи лет тому назад судили одного человека присяжные, не наши полуграмотные крестьяне и мещане, а свободные граждане свободного народа, стоявшего во главе современного ему человечества. Обвинение было тяжкое: подсудимый обвинялся в том, что не верил в богов и публично развращал народ. Обвинителей было несколько, защитников не было; подсудимый защищался сам. Вот что он говорил:

"В речах моих обвинителей, афиняне, нет ни слова правды; я же ничего, кроме правды, вам говорить не буду. Их речи блещут изяществом и остроумием; я буду говорить просто, не подбирая красных слов. В мои годы непристойно являться к вам с заранее составленной речью,

да я и не привык говорить на суде. Поэтому убедительно прошу вас не обращать внимание на мои выражения, а рассудить внимательно, справедливо ли то, что я говорю, или нет. В этом долг судьи, а мой долг – говорить правду".

Доказав после этого своими обычными приемами логическую несостоятельность обвинения его в неверии, Сократ предлагает своим обвинителям назвать хотя бы одного совращенного им человека, указать хоть одного свидетеля, в присутствии которого он отрицал существование богов. Ни свидетелей богохульства, ни совращенных на суде не оказалось.

"Того, что я сказал, афиняне, – продолжает Сократ, – довольно, чтобы доказать вам, что я не виновен в тех преступлениях, в которых меня обвиняют... Не возмущайтесь моими словами. Будьте уверены, что, осудив меня к смерти, вы сделаете больше зла себе, чем мне. Я и защищаюсь здесь не ради себя, а ради вас: боюсь, чтобы вы не оскорбили бога, не оценив дара, сделанного им вам в моем лице. Судите сами: я никогда не думал о себе; всю свою жизнь я посвятил вам; как отец или старший брат, я учил вас добру. Может ли человек сделать больше для вас? Оцените и мое бескорыстие: самые ярые обвинители мои не решились упрекнуть меня в том, что я с кого-нибудь брал деньги за свое учение. У меня есть на это и достоверный свидетель: бедность. Быть может, кто-нибудь из вас обидится на меня, припомнив, как он сам под угрозой меньшего наказания плакал и унижался перед судьями, приводил на суд своих детей, родных и друзей и молил о прощении, и видя, что я даже под страхом смерти ничего подобного не делаю. Я скажу на это, что и у меня есть родственники, есть трое сыновей; но я не привел их сюда. Не из гордости и высокомерия, афиняне; напротив, из уважения к себе и к вам. Я считаю недостойным прибегать к таким приемам. Стыдно было бы людям, выдающимся среди вас мудростью, честностью или иною добродетелью, унижаться, как иные, которые слывят за важных людей, а сами пресмыкаются на суде, как будто, отпустив им казнь, вы дарите им бессмертие. Такие люди – позор для государства, и иностранцы, глядя на них, вправе думать, что лучшие люди в Афинах слабы и трусливы, как женщины. Вы должны доказать, что скорее склонны обвинять тех, кто, чтобы разжалобить вас, играет на суде непристойную комедию, чем того, кто со спокойным достоинством ожидает вашего приговора".

"Я думаю, что не следует просить судью об оправдании. Надо убедить его, доказав ему свою невиновность. Судья судит во имя справедливости и не должен поступаться ею в угоду обвиняемому; он дал присягу служить закону, а не людям. Не должно поэтому нам приучать вас к нарушению присяги, а вам не следует к этому привыкать... Теперь предоставляю вам и богу вынести мне тот приговор, который лучше для вас и для меня".

С точки зрения логики, это идеальная защита. Спокойное, ясное, неопровержимое доказательство невиновности – и только. Сократ все время напоминает судьям, что они должны решить дело только по справедливости, что милости он от них не хочет и они не должны давать ему ее, что приговор, постановленный под влиянием тщеславия, жалости, раздражения, недостойн истинного судьи, что справедлив только приговор, основанный на истине. Доказав, что истина – его невиновность, он заявляет, что ни извиняться, ни плакать, ни льстить не хочет, и предоставляет гелистам [*\(141\)](#) постановить приговор, какой они признают справедливым. Это – безусловное преклонение перед свободой совести судей, и свобода совести приводит их к сознательному присуждению к смерти невиновного.

В книге Цицерона "De oratore" несколько выдающихся общественных деятелей рассуждают об ораторском искусстве. Между ними находится Марк Антоний, бывший консул республики и дед триумвира. Собеседники просят Антония открыть им тайну его удивительных успехов на трибуне. Антоний вспоминает две свои речи: одну по делу консула Мания Аквилия, другую по делу трибуна Гая Норбана. Маний Аквилий судился в 98 году за взяточничество и был оправдан всадниками, несмотря на его вполне доказанные злоупотребления. Трибун Гай Норбан судился

по делу другого рода. В 103 году до Р. Х. он привлек к суду бывшего консула Цепиона за разгром храма Аполлона в Галлии и за неудачную битву с кимврами [*\(142\)](#) , где римские войска потерпели жестокие потери. Чтобы добиться осуждения Цепиона, Норбан вызвал ряд самых дерзких угроз и насилий против судей и должностных лиц со стороны черни. Народное возмущение на суде было величайшим преступлением в Риме, и девять лет спустя молодой Сульпиций Руф, только что вступивший на общественную деятельность, потребовал суда над Норбаном за эти беспорядки. Он обвинял его по закону Апулея de majestate [*\(143\)](#) , как *seditiosem et inutilem civem* [*\(144\)](#) . Речь, произнесенная по этому делу Сульпицием, отличалась необыкновенной силой и страстностью. По собственным его словам, он вызвал против Норбана *non iudicium, sed incendium* [*\(145\)](#) и так был уверен в победе, что Антоний, казалось, мог только искать почетного отступления.

По поводу дела Аквилія Антоний говорит: "Я рассуждал не о мифических героях, не о вымышленных ужасах; я не играл, как актер, когда хотел спасти М. Аквилія от позора и изгнания. Я был самим собой и страдал не чужим, а собственным страданием. Без искреннего, неподдельного волнения разве мог бы я что-нибудь сделать? Человек, которого я видел на высших должностях государственных, окруженного почетом и славой, стоял предо мной униженный, оскорбленный, уничтоженный. Повторяю, я сам был глубоко взволнован, и мне нетрудно было вызвать такое же волнение в других. Я видел, как вздрогнули судьи, когда я сорвал одежду с убитого горем старика и показал им рубцы его старых ран. Тебе это кажется ловко рассчитанным приемом, Красе, но, уверяю тебя, я сделал это почти безотчетно, под влиянием мгновенного порыва. Между зрителями сидел Гай Марций, старый боевой товарищ Аквилія. Он плакал, и его слезы немало помогали мне. Я несколько раз обращался к нему, напоминал давнюю дружбу его с Аквиліем, призывал его в защиту всех славных полководцев наших; я плакал и сам, не скрывая своих слез, взывал к жалости богов и людей, сограждан и союзников... Если ты, Сульпиций, и вы, друзья, хотите учиться у меня – вот вам мой совет: умеете в речи и негодовать, и терзаться, и плакать. Впрочем, тебя ли учить? Я не забыл, как ты обвинял Норбана; помню, какую бурю ты поднял тогда на суде не речью, не словами, а именно силой убежденности и искреннего негодования. Я едва мог решиться на попытку смирить раздраженных судей. Все в этом деле было на твоей стороне: ты говорил о явно пристрастном возбуждении самого дела и о грубых насилиях черни над несчастным Цепионом; установлено было, что толпа бросала камнями в первого сановника государства – в главу сената Марка Эмилия, что консулы, хотевшие протестовать против обвинения, были силой сброшены с трибуны; при этом ты, юноша, выступал защитником государственного порядка; я, старик и бывший цензор, являлся заступником наглого бунтовщика, проявившего такую жестокость к несчастному консулу. Достоянейшие граждане сидели между судьями, лучшие люди наполняли форум [*\(146\)](#) . Самое появление мое на ростре [*\(147\)](#) было дерзким вызовом народному негодованию и достоинству судей. Только давняя дружба могла сколько-нибудь извинить в их глазах одно то, что я решался говорить за него".

"Что мне распространяться перед вами о каком-то искусстве? Я расскажу, что сделал; хотите – ищите в этом ораторские приемы. Я начал с того, что напомнил судьям все народные волнения, бывшие у нас в государстве с давних времен, не жалея ни слов, ни красок на описание всех бедствий и ужасов, их сопровождавших, но указал, что хотя эти возмущения народные были великими несчастиями, однако некоторые из них были естественны и, пожалуй, необходимы. Не будь этих беспорядков, мы не изгнали бы царей, не создали бы народных трибунов, не могли бы постепенно ограничить консульскую власть, не имели бы права провокации к народу [*\(148\)](#) – этой незаменимой защиты свободы и неприкосновенности гражданина. Потом я сказал, что если народные восстания в некоторых случаях могли служить на пользу государства, то прежде, чем

обвинять Гая Норбана как бунтовщика, надо было обсудить причины, вызвавшие бунт, и что если вообще когда-либо можно оправдывать народные беспорядки, то более законного повода к возмущению народ римский не видал никогда. Здесь от защиты я перешел в наступление. Я стал укорять Цепиона за его позорное бегство и возмущался потерями, понесенными нами по его вине. Этим я расшевелил еще не застывшее горе тех, кто оплакивал друзей и родных, погибших в бою с кимврами, и тут же кстати напомнил судьям, которые все были из всадников, что Цепион сделал все возможное, чтобы ограничить их судебную власть. После этого я уже чувствовал, что дело в моих руках – и народ, и судьи на моей стороне: народ видел во мне защитника его прав и вольностей, судьи были растроганы воспоминаниями о погибших родственниках и друзьях и в достаточной мере озлоблены против Цепиона, посягнувшего на их власть.

Тогда я стал понемногу переходить от обличения к смирению и вкрадчивой мольбе. Я говорил судьям, что хочу спасти от позора и ссылки старого друга, товарища моих боевых трудов и лишений, того, кто по заветам предков был близок мне как родной сын; что в этом деле решался вопрос о моей собственной чести, о всем самом священном для меня как для истинного римлянина; говорил, что я, не раз спасавший от бесчестия и казни людей мне чужих, не только потерял бы друга, но утратил бы право на уважение всех граждан, сам никогда не простил бы себе своего позора, если бы оттолкнул от себя человека, настолько мне близкого и дорогого. Я указал судьям на свой преклонный возраст, свою прежнюю службу, безупречное прошлое и умолял их ради всего этого извинить мое безмерное, законное и всем понятное отчаяние, просил их вспомнить, что хотя часто молил о пощаде друзьям моим, но никогда не искал снисхождения к самому себе. Вы видите теперь, что во всей этой речи я менее всего говорил о том, что составляло существо дела, то есть о том, подходил ли проступок Норбана под закон Апулея о государственных преступлениях. Вся защита была проведена такими приемами, о которых почти не говорится в наших книжках. Я волновал и увлекал судей, громил Цепиона, чтобы раздражить их против него, напоминал о собственных заслугах, чтобы расположить их в свою пользу. Ты видишь, Сульпиций, что я обращался не к рассудку судей, а к их сердцу, не разъяснял им дело, а играл на их чувствах" [*\(149\)](#) .

Несколько выше устами Антония Цицерон учит: злоба, нежность, ненависть, сострадание, ужас, надежда, отвращение, радость, огорчение, восторг, негодование судей – все должно быть во власти оратора; как хочет, так пусть и делает, но он должен волновать судей и вызывать в них любое из этих чувств. Но главное, Цицерон утверждает, что тот, кто распаляет судей, сильнее того, кто разъясняет им дело.

То же говорит и Квинтилиан:

"Самое главное – уметь растрогать судей, подчинить их тем чувствам, которые хочет вызвать в них оратор. Человек обыкновенных способностей, пройдя основательную школу и имея за собой нужный опыт, может выполнить задачу защиты с известным успехом. Многие наши ораторы умеют находить в делах и улики, и доказательства невиновности. Я считаю их безусловно полезными людьми. Они видят все, что есть в деле, и умеют указать судьям то, что те могли бы упустить. Я готов даже признать их образцом для тех, кто хочет только говорить дельно. Но истинное искусство заключается в том, чтобы увлекать судей, властвовать над их настроением, их сердцами, по минутной прихоти своей заставлять их то рыдать, то возмущаться – вот истинное красноречие! Улики, доводы, возражения даются сами собой. В правом деле их всегда окажется немало. Тот, кого спасли такие доводы, может сказать, что ему был нужен защитник, чтобы взять из дела то, что в нем было, и рассказать о том судьям. Иное дело, когда надо отвести им глаза, затуманить, ослепить их, чтобы они не видали правды, забыли то, что само по себе приковывает их внимание. Вот где место настоящему оратору. Ни клиент, ни заметки, выписанные из дела, тут не помогут ему. Логикой можно доказать судье, что правда на

моей стороне, затронув в нем чувство, можно добиться того, чтобы он сам желал найти ее у меня. Пусть мое дело станет его собственным, пусть он со мною увлекается и негодует, умиляется и страдает, пусть без меры расточает мне свое расположение и участие. Он, неподкупный, бесстрастный, пусть станет пристрастным ко мне, пусть, как юноша, ослепленный пылом любви, утратит силу отличать прекрасное от уродства, истину от лжи" *(150) .

Оставим пока в стороне явное преувеличение, заключающееся в этих словах; оставим древних, откроем одну из самых памятных страниц нашей уголовной летописи – дело об истязании семилетней незаконнорожденной девочки ее отцом *(151) . Процесс этот, окончившийся оправданием, послужил материалом для одного из самых жестоких обвинительных актов против злоупотребления словом, когда-либо оглашенных в русском обществе. "Напомню дело, – говорит Достоевский *(152) , – отец высек ребенка, семилетнюю дочь, слишком жестоко, по обвинению, обходился с нею жестоко и прежде. Одна посторонняя женщина, из простого звания, не стерпела криков истязаемой девочки, четверть часа (по обвинению) кричавшей под розгами: "Папа! папа!" Розги же, по свидетельству одного эксперта, оказались не розгами, а "шпицрутенами", то есть невозможными для семилетнего возраста... Они лежали на суде в числе вещественных доказательств, и их все могли видеть, даже сам г. Спасович. Обвинение, между прочим, упоминало и о том, что отец перед сечением, когда ему заметили, что вот хоть бы этот сучок надо бы отломить, ответил: "Нет, это придаст еще силы"..."

"Уже с первых слов речи, – пишет Достоевский, – вы чувствуете, что имеете дело с талантом из ряда вон, с силой. Господин Спасович сразу раскрывается весь и сам же первый указывает присяжным слабую сторону предпринятой им защиты, обнаруживает свое самое слабое место, то, чего он больше всего боится..."

"Я боюсь, господа присяжные заседатели, говорит господин Спасович, не определения Судебной палаты, не обвинения прокурора... я боюсь отвлеченной идеи, призрака, боюсь, что преступление, как оно озаглавлено, имеет своим предметом, слабое, беззащитное существо. Самое слово "истязание ребенка", во-первых, возбуждает чувство большого сострадания к ребенку, а во-вторых, чувство такого же сильного негодования к тому, кто был его мучителем..."

Переходя после этого вступления к исторической части дела, защитник объясняет, что Кронеберг, живя в Варшаве, еще совсем молодым человеком имел связь с одной дамой и расстался с нею за невозможностью брака, не зная, что она беременна. Во время франко-прусской войны он вступил во французскую армию, участвовал в двадцати трех сражениях и получил орден Почетного легиона. Вернувшись после войны в Варшаву, он встретился опять с той дамой, которую любил; она была уже замужем и сообщила ему, что у него есть ребенок, живущий в Женеве, на воспитании в крестьянской семье. Кронеберг тотчас же пожелал его обеспечить. Он поехал в Швейцарию, взял девочку у крестьян и поместил ее в дом к пастору де Комба на воспитание. Так прошли годы 1872, 1873 и 1874. В начале 1875 года Кронеберг опять съездил в Женеву. Там "он был поражен: ребенок, которого он посетил неожиданно, в незаконное время, был найден одичалым, не узнал отца". "Особенно заметьте это словечко, – говорит Достоевский, – "не узнал отца"... господин Спасович великий мастер закидывать такие словечки; казалось бы, он просто обронил его, а в конце речи оно откликается результатом и дает плод. Коли "не узнал отца", значит, ребенок не только одичалый, но уж и испорченный. Все это нужно впереди; далее мы увидим, что господин Спасович, закидывая то там, то тут по словечку, решительно разочарует вас под конец на счет ребенка. Вместо дитяти семи лет, вместо ангела – перед вами явится девочка "шустрая", девочка хитрая, крикса, с дурным характером, которая кричит, когда ее только поставят в угол, которая "горазда кричать"... лгунья, воровка,

неопрятная и со скверным затаенным пороком. Вся штука в том, чтобы как-нибудь уничтожить вашу к ней симпатию. Уже такова человеческая природа: кого вы невлюбите, к кому почувствуете отвращение, того и не пожалеете; а сострадания-то вашего господин Спасович и боится пуще всего: не то вы, может быть, пожалев ее, обвините отца. Конечно, вся группировка эта, все эти факты... не стоят, каждое, выеденного яйца... Нет, например, человека, который бы не знал, что трехлетний, даже четырехлетний ребенок, оставленный кем бы то ни было на три года, непременно забудет того в лицо, забудет даже до малейших обстоятельств все об том лице и об том времени и что память детей не может в эти лета простираться далее года или даже девяти месяцев. Это всякий отец и всякий врач подтвердит вам. Тут виноваты скорее те, которые оставили ребенка на столько лет, а не испорченная натура ребенка, и уж, конечно, присяжный заседатель это тоже поймет, если найдет время и охоту подумать и рассудить; но рассудить ему некогда, он под впечатлением неотразимого давления таланта; над ним группировка: дело не в каждом факте отдельно, а в целом, так сказать, в пучке фактов, и как хотите, но все эти ничтожные факты, все вместе, в пучке, действительно производят под конец как бы враждебное к ребенку чувство...

"Она воровала,— восклицаете вы,— она крала"".

"25 июля приезжает отец на дачу и в первый раз узнает сюрпризом, что ребенок шарил в сундуке Жезинг (сожительницы Кронеберга), сломал крючок и добирался до денег. Я не знаю, господа, можно ли равнодушно относиться к таким поступкам дочери. Говорят: "за что же? Разве можно так строго взыскивать за несколько штук черносливу, сахару?" Я полагаю, что от чернослива до сахара, от сахара до денег, от денег до банковых билетов путь прямой, открытая дорога".

"Разве можно,— возражает Достоевский,— говорить про такую девочку, что она добиралась до денег? Это выражение и понятие, с ним сопряженное, применимо лишь к взрослому вору, понимающему, что такое деньги и употребление их. Да такая если б и взяла деньги, так это еще не кража вовсе, а лишь детская шалость, то же самое, что ягодка черносливу, что она совсем не знает, что такое деньги. А вы нам наставили, что ей уже недалеко до банковых билетов, и кричите, что "это угрожает государству!" Разве можно, разве позволительно после этого допустить мысль, что за такую шалость справедливо и оправдываемо такое дранье, которому подверглась эта девочка? Но она и не шарила в деньгах, она их не брала вовсе. Она только пошарила в сундуке, где лежали деньги, и сломала вязальный крючок, а больше ничего не взяла. Да и незачем ей денег, помилуйте: убежать с ними в Америку, что ли, или снять концессию на железную дорогу? Ведь говорите же вы про банковые билеты: "от сахара недалеко до банковых билетов"; почему же останавливаться перед концессиями?.."

"Она с пороком, она с затаенным скверным пороком..."

"Подождите, подождите, обвинители! И неужели не нашлось никого, чтоб почувствовать всю невозможность, всю чудовищность этой картины! Крошечную девочку выводят перед людьми, и серьезные, гуманные люди позорят ребенка и говорят вслух о его "затаенных пороках"!.. Да что в том, что она еще не понимает своего позора и сама говорит: "Je suis voleuse, menteuse" *(153) ? Воля ваша, это невозможно и невыносимо, это фальшь нестерпимая. И кто мог, кто решился выговорить про нее, что она "крала", что она "добиралась" до денег? Разве можно говорить такие слова о таком младенце! Зачем сквернят ее "затаенными пороками" вслух на всю залу? К чему брызнуло на нее столько грязи и оставило след свой навеки? О, оправдайте поскорей вашего клиента, господин защитник, хотя бы для того только, чтоб поскорее опустить занавес и избавить нас от этого зрелища. Но оставьте нам, по крайней мере, хоть жалость нашу к этому младенцу; не судите его с таким серьезным видом, как будто сами верите в его виновность. Эта жалость — драгоценность наша, и искоренять ее из общества страшно. Когда

общество перестанет жалеть слабых и угнетенных, тогда ему же самому станет плохо: оно очерствеет и засохнет, станет развратно и бесплодно..."

"Да, оставь я вам жалость, а ну как вы, с большой-то жалости, да осудите моего клиента".

Нет сомнения, что, оправдывая Кронеберга, присяжные подчинились не рассудку, а чувству антипатии, внушенной им по отношению к девочке. Но если бы обвинитель сумел вызвать в них то чувство, которого боялся защитник, их решение, вероятно, было бы другое [*\(154\)](#).

Чувства и справедливость

Посмотрим еще раз нашу судебную летопись. Железнодорожный король раскидал одиннадцать миллионов чужих денег на грюндерство, любовниц, картины, театры; присяжные говорят: нет, не виновен. В гражданском суде предъявлен ко взысканию оплаченный вексель на 150 рублей; весьма вероятно, что иск был случайной ошибкой; на суде при первом возражении поверенный истца отказался от иска; но истец – известный ростовщик, и присяжные признают его виновным в покушении на мошенничество. Популярный писатель вещает, что признание возможности человеческих жертвоприношений накануне XX века было бы позором для России, и присяжные оправдывают мултанских вотяков в ритуальном убийстве крестьянина Матюнина. Дмитрий Карамазов был осужден отчасти по уликам, но более потому, что присяжные-мужички "за себя постояли"; Александр Тальма был осужден за убийство генеральши Болдыревой при ничтожных уликах; нельзя сомневаться, что недружелюбное отношение к нему местных людей, вызванное его диким характером, оказало значительное влияние на решение присяжных.

Что было в Греции, в древнем Риме, что теперь есть у нас, то повторялось повсюду во всякие времена. В процессе Сократа виновность не доказана – он казнен; в процессе Иоанны д'Арк виновность не доказана – она сожжена на костре; в процессе Варрен Гастингса виновность не доказана – он осужден; в процессе ла Ронсьера доказана невиновность – он осужден; в обоих процессах Дрейфуса виновность не доказана – он осужден; в процессе Эстергази виновность доказана – он оправдан.

На суде доказать не значит убедить, особенно на суде присяжных. Железная логика сильна для них только, пока им нравится подчиняться ей; всякий присяжный в каждом отдельном случае может сказать: *credo, quia absurdum* [*\(155\)](#). Нетрудно, конечно, подыскать и подходящие софизмы. В деле нет законных признаков ростовщичества, но подсудимый – ростовщик, много раз ускользавший от суда, и его надо наказывать за другие случаи несомненного ростовщичества. Это соображение совсем нетрудно облечь в безупречный силлогизм.

Всякое преступление должно быть наказано.

Подсудимый совершил несколько преступлений.

Следовательно, подсудимый должен быть наказан.

Признак, о котором умалчивает вторая посылка: несколько преступлений, за которые теперь не судят, будет иметь значение лишь при другой главной посылке.

Другой пример. Неверное положение – подсудимого надо оправдать потому, что у него шестеро малолетних детей, можно высказать так: если мы осудим отца, его детям придется помирать с голоду; но дети должны жить, следовательно, мы не можем осудить подсудимого.

Чтобы заставить присяжных остановиться именно на тех посылках, которые приводят к заключению, указанному оратором, надо действовать не только на ум, но и на чувство, на волю. Чувство же не подчиняется логике. Вот почему оратор должен быть прав не только умом, но и сердцем. По той же причине его сила не в одних логических правилах, но и в знании сердца человеческого.

Но если это так, то не представляет ли свобода воздействия на чувства присяжных величайшей опасности для правосудия? При таких условиях процесс будет выигрывать не тот, кто прав, а кто сильнее талантом и менее разборчив в средствах. Увлечь – значит вести куда хочешь, а не куда должно. Если, как сказано выше, в истории всех народов было и еще долго будет слишком много судебных приговоров, постановленных под влиянием тщеславия, страха, раздражения, жалости, религиозного фанатизма и т. д. в явное нарушение правосудия, то не ясно

ли, что добросовестный оратор не должен действовать на чувства судьи? Я думаю, что это заблуждение. Суд, как всякое человеческое дело, не бывает совершенным; случайное влияние таланта на решение дела есть коренной недостаток состязательного процесса; рядом с ним и с другими недостатками существуют преимущества, которые, как мы думаем, с избытком возмещают их; но незаконное преимущество таланта сказывается не только в воздействии на чувство; более опытный обвинитель или защитник с большим умением ведет допрос свидетелей, с лучшим расчетом распоряжается своими доказательствами на судебном следствии, искуснее сопоставляет улики. Таким образом, указанное соображение обнимает собой весь процесс и тем самым теряет свою убедительность по отношению к отдельным его частям. С другой стороны, злоупотребление тем или иным средством судебной борьбы не есть доказательство его непригодности или безнравственности. Можно увлекать людей на преступление и на подвиг, к ошибке и к правде; можно делать это честно и нечестно. Дурные чувства и злоупотребление добрыми чувствами действительно могут быть и бывают источником неправосудных приговоров. Но разве не бывает их под влиянием софизмов, обманов и лжи? Следует ли из этого, что оратору должно воспретить обращение к рассудку слушателей?

В толстой книге, названной "Die gerichtliche Redekunst", прусский судья Г. Ортлоф пишет:

"Возможно, что чудесная сила красноречия заключается не только в том, чтобы доказывать, но и убеждать, не только отвечать на вопросы рассудка, но и увлекать сердца; пусть Цицерон видел в этом основу красноречия, заложенную в самой сущности человеческого сердца; однако положение, что оратор должен подкреплять свои доводы всем, что может сгладить враждебное настроение и вызвать благоприятное отношение судей к его задаче, слишком близко подходит к недопустимому в области права и нравственности правилу: цель оправдывает средства; это то, против чего издавна боролись философы и государственные люди как против недостойных приемов в искусстве красноречия. Допустим, что чувства удовольствия и неудовольствия не могут быть чужды судьям как людям, что они подчиняются душевным волнениям и страстям и остаются людьми, когда судят людей, – при всем том закон обязывает их к полному бесстрастию в решении дела. Мы не можем уступить перед возражением, что это противоречит человеческой природе. Закон не требует от них ничего невозможного, когда указывает, что чувства их не должны господствовать над рассудком и разумом".

Все это софизмы, *mutatio controversiae*, то есть рассуждения, не относящиеся к существу вопроса. Никто не говорит о том, что можно всячески действовать на всякие чувства. Должно честно действовать на благородные чувства. Ученому писателю следовало бы знать, что слово *procrisiz* не значит *hurochrisie*, лицемерие, а обозначает игру актера или оратора, которая может быть и должна быть вполне искренней.

Чувство жалости, действительно, часто приводит присяжных к неправосудным решениям. Оно может быть сосредоточено или на личности самого подсудимого, или на его семье. Остановимся на последнем случае. Уголовная ответственность не зависит от семейного положения виновного, и человек, совершивший преступление, должен быть наказан, хотя бы его жена и дети помирали с голоду; о них должны позаботиться другие; судьи и присяжные должны сделать свое дело; окончив суд, они могут пойти к семье и накормить ее. Присяжные, конечно, знают это не хуже нашего и понимают, что нарушают свой долг, подчиняясь несправедливой жалости. Несомненно и то, что поощрение этого недостойного чувства есть недостойный прием защиты. Адвокат, уважающий свои слова, найдет другие средства спасти того, кого должно спасти. Если не сумеет или не захочет – его вина.

Существует и другое различие в этой области: чувство может иметь разумное основание, и может быть нанесено ветром, как перекасти-поле. "Если мы хотим, – говорит Блэр, – чтобы вызванное нами чувство оказало более или менее продолжительное влияние на слушателей, то

должны прежде всего подумать о том, чтобы склонить на свою сторону их рассудок и здравый взгляд на вещи – the understanding and judgement. Надо доказать им, что имеются действительные и достаточные основания для того, чтобы они горячо приняли дело к сердцу. Надо, чтобы они имели перед собой логическое и нравственное оправдание чувства, ими овладевающего, и были уверены, что не ошибаются, отдаваясь ему" [*\(156\)](#) .

В речи о подлоге завещания капитана Седкова Спасович говорил: "Бороздин подготовил себе шестерых соучастников в этом деле. Да, эти дети имеются у Бороздина, они пищат и просят есть... Я очень жалею, что не могу поставить перед вами эту фалангу... Они не соучастники, а скорее бессознательные подстрекатели (выражение, употребленное обвинителем), но они еще скорее адвокаты отца, гораздо сильнее меня и речистее... Я полагаю, что не обойдется без того, чтобы они произвели на вас известное впечатление". От другого адвоката в деле о злоупотреблениях с купонами акций страхового общества я слышал выражение: "Сам подсудимый со своими детьми представляет в некотором роде акцию с шестью живыми купонами". Эту акцию присяжные оправдали, к стыду обвинителя, защитника и своему собственному. Бороздина они признали виновным. Но в обоих случаях предосудительно не воздействие на чувство вообще, а на чувство, недостойное ни судьи, ни всякого другого человека. Приговоры судебных палат по жалобам на приговоры окружных судов в делах о некоторых должностных преступлениях, как противозаконное лишение свободы, оскорбления и насилия против частных лиц при исполнении должности, превышение власти, часто удивляют своей снисходительностью: палата смягчает приговор суда. Если это делается для исправления ошибки первой инстанции, применившей слишком суровую меру, – тем лучше; если это делается из сострадания к виновному или его семье под влиянием речи защитника – тем хуже для последнего; если делается по собственному побуждению судей – тем хуже для них; но столь же предосудительным было бы и оправдание или смягчение наказания, например, ради неприкосновенности уважения к власти или по соображению, что чиновник несет тяжелую службу, получая ничтожное жалованье, и т. п., то есть по заблуждению рассудка, а не чувства.

Другой недостойный прием воздействия на присяжных, к сожалению и стыду вошедший у нас в обычай, заключается в клевете и недобросовестных намеках против жертвы преступления при обвинении в убийстве; делается все, что можно, чтобы представить убитого негодяем и виновником собственной смерти. Прием этот облегчается тем, что в каждом почти деле находятся среди свидетелей люди, для которых осуждение подсудимого – глубокое огорчение, часто потеря кормильца. Такие свидетели, естественно, склонны сгущать краски по отношению к жертве, так же как близкие убитого склонны к неприязненной характеристике подсудимого. Обвинители знают, что присяжные судят мертвого, не забывают указать присяжным на эту вольную или невольную защиту подсудимого и, я почти готов сказать, поношение убитого. Но чувствуется, что это не достигает цели. Если обвинитель сознает, что в нападках на мертвого есть преувеличение, если видит, что это преувеличение намеренное и недобросовестное, я думаю, он может быть решительным и может ударить по нервам присяжным. Я всякий раз жду, что он скажет им: человек от избытка развязности с чужой жизнью застрелил – не скажу когонибудь из вас, не скажу, сына или дочь вашу, – а, скажем, вашего близкого друга; вы теперь знаете, что будет на суде после такого убийства, знаете, как всякий случайный поступок, нечаянный жест, неосторожное слово покойного будут приводиться присяжным в доказательство того, что убитый был жалким пьяницей, несносным буяном, отъявленным развратником; вы убедились, как это просто делается: живые говорят, а мертвый – молчит...

Наша уголовная статистика установила, что коронные судьи относятся к мужчинам и женщинам с одинаковой строгостью, а присяжные бывают снисходительнее к женщинам; источник этой снисходительности, несомненно, жалость, но жалость несправедливая.

Сравнительная снисходительность присяжных по делам о преступлениях против телесной неприкосновенности объясняется в значительной степени сознанием, что нож или револьвер подсудимого не угрожают самим присяжным; сравнительная строгость по отношению к кражам и грабёжам – сознанием противоположного: освобожденный сегодня громила может завтра оказаться на квартире у каждого из тех же присяжных, которые сегодня судят его. В делах о святотатстве мысль об оскорблении святыни иногда заменяет недостающую улику; обвинительные решения по всякого рода сектантским делам – плод фанатизма, разжигаемого ревнителями православия. Оправдание крупных растрат, совершаемых для кутежей и на игру на скачках, обличают зависть людей, живущих скромно, к богатству и роскоши или злорадство перед денежными потерями людей состоятельных; в них сказывается также отчасти великодушие на чужой счет. Все это безнравственные решения, основанные на безнравственных чувствах; но они доказывают только то, что не требует доказательства.

Спросим себя: что лежит в основании правосудия? Справедливость. Что такое справедливость? Есть ли это рассудочная способность или чувство? Мы говорим: способность памяти, способность к языкам, математические способности, но – чувство, а не способность справедливости.

Английский судья пишет: "Предположение, что присяжный заседатель может быть отвлечен от своего долга размахами риторики, хотя бы самой страстной и блестящей, есть прямое оскорбление для него. Если мы относимся с уважением к обязанностям судьи и к тем принципам, которыми он должен руководиться, то вести его к решению такими приемами столь же нелепо, как увлекать астронома к точному вычислению орбиты кометы. И это нелепость оскорбительная потому, что в основании ее лежит мысль, что его совесть может быть подчинена порыву мятежных чувств. Все, что не входит в пределы разбора доказательств по делу, должно быть выкинуто из речи адвоката хотя бы потому, что мы знаем цену его словам. Если бы другая сторона раньше предложила ему пять гиней, он с таким же красноречием и остроумием стал бы говорить за нее, независимо от ее действительных преимуществ; дайте ему завтра две гиней, и он будет опровергать то, что доказывал сегодня. Стороны заслуживают полного внимания, когда разбирают улики, но когда они стремятся привлечь на свою сторону страсти присяжных, последние, не имея возможности закрыть уши, должны бороться против такого воздействия на них постоянным напоминанием самим себе о том, что всякая уступка влечению чувства есть *pro tanto* [*\(157\)](#) нарушение их присяги".

Это запальчивое требование основано на самой обыкновенной логической ошибке смещения понятий. Мы можем перевести слово "пафос" двояким образом: чувство и страсть; по-английски, по-французски и по-немецки это слово принято переводить только словом, означающим страсть, – *passion*, *Leidenschaft*; а это слово, как справедливо замечает В. Вакернагель [*\(158\)](#), понимается обыкновенно в дурном смысле. Справедливость же не есть страсть, и архиепископ Уэтли верно замечает, что желание быть справедливым есть именно то чувство, которому должен подчиняться судья. Но вслед за тем он повторяет ошибку Стефена. Он говорит: "Если решение вызвано обращением к гневу, состраданию судьи и т. п., то есть к чувствам, для судьи недопустимым, следует признать, что на него было оказано нравственное давление; в судебных делах всякое обращение к личным интересам судьи или требование во имя общего блага было бы неправильным". С этим последним положением согласится всякий; но предыдущее кажется мне явной ошибкой. Строго говоря, ни общее благо, ни личный мой интерес не страдают наглядно от того, что взрослый человек замучил до смерти сироту; как присяжный, ни об утрате общества, ни о том, что у меня есть или могут быть дети, я думать не стану; но представление о факте вызовет у меня и гнев, и сострадание, и я считал бы себя недостойным имени человека, если бы не нашел в себе этих чувств; они именно и дадут мне

возможность сказать со спокойной совестью: да, виновен. И это будет справедливым решением.

Вопреки словам Сенеки: *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur* [*\(159\)](#) , наше правосудие основано не только на государственном расчете, но и на идее возмездия, то есть также на чувстве. Когда прокурор говорит: он сделал зло и должен быть наказан,— он требует этого не во имя общественной пользы, а во имя нравственных воззрений общества. И присяжные в своей совещательной комнате обсуждают прежде всего не общие соображения об оздоровлении и защите общества, а один прямой вопрос: должен ли быть наказан подсудимый или нет; в своем ответе — да, виновен — они прежде всего утверждают нравственное требование: злое дело должно получить возмездие. Чем больше преступление, тем яснее это сознается.

В прошлом году в Петербурге присяжные оправдали крестьянина, совершившего двойное убийство: своей жены и ее любовника. И это был справедливый приговор, несмотря на страшное дело. Они оправдали убийцу не из жалости на чужой счет, а по справедливости. Жена ненавидела его, он любил ее; она ушла к любовнику, и они вдвоем готовились к убийству мужа. Он пошел к жене, чтобы увести ее домой, к детям; его встретили насмешками, бранью, угрозами. Он знал о том, что они сговаривались отделаться от него. Произошла ссора, и он, озлобленный насмешками, зарезал обоих. Что же, он виновен или нет? Рассудок всегда ответит: да; их злодейство не оправдывает преступления, он должен был удержаться поднятую руку. А чувство справедливости дало присяжным нравственное право сказать: нет, не виновен. И будь я присяжным, я, вероятно, сказал бы то же самое.

Пафос как неизбежное, законное и справедливое

Современная психология отрицает возможность таких состояний сознания, которые были бы или чистыми представлениями, или только чувством, или исключительно выражением воли. Господин Гефдинг говорит: мышление всегда связано с известным настроением; мышления без чувства не бывает. Может ли нравственно развитой человек говорить о трогательных или возмутительных фактах, не умиляясь и не негодуя? Могут ли слушать его нравственно развитые люди, не умиляясь и не возмущаясь? Тому, кто действительно хотел бы воспретить воздействие речи на чувство, можно ответить: скажите камню, брошенному вверх, – не падай, растению – не тянись к солнцу, животному – не дыши; когда они послушаются вас, тогда подчинится вам и оратор. Можете ли вы, наклонившись к водяному ключу, пить один кислород? Если можете, тогда могут и судьи решать дела одним рассудком. Но вы ведь еще не научились этому. Кемпбель говорит: "Нельзя убеждать, не действуя на чувство. Самый холодный мыслитель, убеждая, так или иначе обращается к чувству; он не может обойтись без этого, если хочет добиться цели. Чтобы я поверил, достаточно доказать мне, что это так, а не иначе; чтобы заставить меня действовать, надо показать мне, что мой поступок приведет к определенной цели. То, что не удовлетворяет какому-нибудь чувству или потребности, мне свойственным, не может быть целью для меня. Вы говорите: во имя вашей чести – вы обращаетесь к моей гордости, без которой я никогда не мог бы понять вас; вы говорите: ради вашей выгоды – вы обращаетесь к моему эгоизму; ради общего блага – взываете к моему патриотизму; чтобы помочь несчастным – вы затронули мое сострадание" [*\(160\)](#) .

В Афинах ораторам воспрещалось действовать на чувства судей. Не знаю, соблюдалось ли это правило. Римляне были вполне свободны в этом отношении. Во Франции всегда процветало патетическое красноречие. Но, может быть, это свойство южного темперамента? Посмотрим, что говорят немцы и англичане по этому поводу.

Господин Ортлоф пишет в своей книге: "К чести германских народностей следует сказать, что, как это видно по образцам судебного красноречия в Англии, Германии и Австрии, судебные ораторы в этих государствах соблюдают необходимое уважение к долгу судей и пользуются вышеупомянутыми риторическими приемами с надлежащей умеренностью... Если и раздаются нарекания на злоупотребление словом в этом отношении, то они представляют лишь остатки неразумного подражания французским ораторам и должны с течением времени исчезнуть" [* \(161\)](#) . Я думаю, однако, что в этих словах больше самодовольства, чем правды. Это слова теоретика-судьи. Боевой оратор М. Фридман рассуждает не совсем так. "Правда, – говорит он, – современное правосудие стремится всеми силами к тому, чтобы решение присяжных и приговор суда были чисто логическим выводом из разбора улик на суде. Но если на континенте ложные свидетельские показания, бесприсяжные свидетельства и показания по слухам, иногда даже противоречия в объяснениях подсудимого, одно необдуманное слово его уже признаются уликами, если прокуроры своими грозными вещаниями во имя общего блага нередко напоминают приемы древних ораторов, может ли защитник бороться против этого одной холодной диалектикой? После пламенной филиппики обвинителя не покажется ли его невозмутимое спокойствие сознанием слабости скорее, чем сдержанностью и благопристойностью? Защита никогда не откажется от воздействия на могущественные душевные волнения, пока государственный обвинитель будет пользоваться этим оружием. Защита всегда будет эхом прокуратуры, с той разницей, что отзвук будет часто звучать громче первого клика" [* \(162\)](#) . Судя по современным общественным настроениям Германии и Австрии,

это будет продолжаться еще долго.

Более всех, конечно, имеют право гордиться своей сдержанностью англичане. Но мне кажется, что в этой гордости также есть доля самообольщения. Названный выше Стефен в другой своей книге говорит, что прения в современном английском суде отличаются особой безыскусственностью, прозаичностью. "Преступление, совершенное при самых патетических или ужасающих обстоятельствах, обсуждается обеими сторонами с таким же спокойствием, как взыскание по векселю. Нельзя быть красноречивым в смысле призыва к чувствам без некоторой доли лжи, а неудачная попытка к страстному красноречию есть самая презренная, смешная и большей частью грубая вещь. Современный скептицизм оказал самое благотворное влияние на наши судебные прения. Адвокаты боятся казаться смешными в поисках за риторическими красотами и поэтому в большинстве случаев бывают сдержанны" [*\(163\)](#) . Это в общем вполне справедливо; но надо помнить, что внешнее бесстрашие речи вовсе не исключает ее влияния на чувства слушателей. Напротив. И знакомство с подлинными речами английских обвинителей и защитников, как мне кажется, доказывает только, что они делают с большим искусством то, что другие делают неумело и грубо. Приведенные выше слова принадлежат опять-таки судье, не бойцу. Не то говорит адвокат: "Власть над чувствами слушателей,— пишет Р. Гаррис, есть высший, драгоценный дар оратора. Эта власть столь могущественна, что ее можно назвать самым красноречием. Но власть над сердцами не достигается упражнением; ее нельзя выработать, как нельзя по желанию вызвать в себе истинный пафос. Оратор может плакать, но это не пафос; может качать головой, воздевать к небу глаза и руки, может делать все что угодно, чтобы представиться взволнованным, и все-таки не тронет слушателей. Бывают случаи, когда дело, о котором говорит обвинитель или защитник, затрагивает самые глубокие чувства человеческие. Тогда, если вам дана эта власть, вы имеете право пользоваться ею как благородным оружием в защиту угнетаемых или обиженных. Но если нет у вас этого высокого дара, берегитесь рассеять жалкими кривляньями истинный пафос фактов" [*\(164\)](#) .

Статьи 739 и 745 Устава уголовного судопроизводства не воспрепятствуют сторонам обращаться к чувству присяжных. Но представим себе, что в устав введено такое правило. Ни один председатель не уследил бы за его исполнением. Единственным средством было бы совершенное упразднение прений. Самое сухое рассуждение может быть одним словом превращено в страстный призыв; недомолвка, пауза могут быть столь же выразительны и понятны для слушателей. В своей речи над трупом Цезаря Антоний у Шекспира все время убеждает толпу не волноваться, не негодовать, не терять самообладания и этими самыми убеждениями доводит ее до ярости. Поэтому, если бы в законе и было такое запрещение, оно осталось бы на бумаге. Если это кому-нибудь не ясно, то вот пример пафоса без речи. Разбирается дело об умышленном убийстве. Перед судом свидетельница – жена подсудимого. После продолжительного допроса со стороны прокурора и гражданского истца, когда волнение ее, видимо, дошло до крайнего напряжения, защитник бесстрастным голосом спрашивает ее:

– Давно вы замужем?

– Девятнадцать лет.

– У вас есть дети?

– Семь человек,— отвечает свидетельница и заливается слезами; затем истерический припадок и вопли измученной женщины. Жизнь сильнее статей и благих пожеланий.

К чему по преимуществу бывают обращены обвинительные речи по делам о детоубийстве, об истязании детей, о врачах и акушерах, обвиняемых по 1463 ст. Уложения о наказаниях, коль скоро участие подсудимых в преступлении доказано? Спросите любого судью, он скажет: к состраданию и к негодованию присяжных. В делах о поджогах из мести, о жестоких или корыстных убийствах, о растлении и изнасиловании найдется ли хоть одна обвинительная речь,

где бы не было попытки затронуть те же чувства? На чем бывает основана защита убийств из ревности, убийств ради самозащиты от жестокого обращения? На призыве к состраданию и негодованию.

Речь А. Ф. Кони по обвинению Сусленникова в расхищении имущества умершего купца Солодовникова занимает в сборнике 1905 года двенадцать страниц. Последние шесть заключают разбор улик; первые посвящены биографии и характеристике Солодовникова. Таким образом, ровно половина речи не имеет никакого отношения к факту преступления. Отсылаю читателя к сборнику и привожу только короткий отрывок, чтобы напомнить общий характер речи:

"Хлебосольный меценат, тороватый театрал и помощник в нужде, заседатель надворного суда, отдававший свое жалованье бедным чиновникам и на улучшение пищи арестантам, к этому времени мало-помалу обратился в замкнутого в себе, нелюдимого и подозрительного скупца... Ему надоел этот вечный шум и эта дружба, из-за которой проглядывает эксплуатация. От базара житейской суеты его мечты обращаются к тихой семейной жизни. В них сказывается жажда любящего сердца... Но печальное сознание своего непоправимого физического убожества стоит рядом с этими мечтами и умерщвляет их в зародыше... Солодовников умер так же неожиданно, как и его брат. Горькая судьба его, постепенно разбившая все, чем он думал скрасить свою изуродованную жизнь, и поселившая на старости мрак и холод в его когда-то доброй и доверчивой душе, и после смерти его не смягчилась над ним! Он долго пролежал в том же положении, в каком умер, повернувшись лицом к стене, и лишь когда окончено было опустошение, предпринятое вокруг него, подсудимый перевернул его на спину и сложил ему застывшие руки крестом. Не было над ним ни слез, ни горького молчания родной души. Не воцарилась вокруг него торжественная тишина, таинственно внушаемая смертью... Вокруг него курили, дымя не его "мужицкими", а "барскими" сигарами господина Любавина, и когда благодаря невниманию дворников, обмывавших труп, он ударился головой об пол, ему было с насмешкой сказано: Что? Теперь не видишь, а летом все замечал и ругался..."

В таком тоне проведена вся первая часть речи. К чему это? К чему рассказ о трагической судьбе Солодовникова? Чтобы затронуть сердца присяжных. Зачем эта длинная повесть его нравственных страданий, пережитых давно и унесенных в могилу? Чтобы внушить им сострадание к безрадостно прожившему человеку. Зачем рассказы о надругательстве дворни над трупом и о сигаре Любавина? Чтобы вызвать в них негодование на непристойное поведение близких людей в доме покойного. Ни то, ни другое не может быть уликой против Сусленникова, но то и другое создает нужное настроение на скамье присяжных: это обращенный к ним призыв заступиться за мертвого.

В речи того же оратора по делу о подлоге завещания купца Козьмы Беляева есть потрясающее описание того, как обвиняемые Мясниковы спаивают своего соучастника Караганова, подписавшего подложное завещание именем Беляева.

"Если нам станут говорить, – восклицает обвинитель, – что Караганов безумен в настоящее время, то что же из этого? Кто допустил его сделаться таким, кто заключил этого человека в бездействующий завод в задонских степях, кто не давал ему работы, а давал водку в изобилии, кто лишил его свободных свиданий с родными, кто оставил его одного на жертву угрызениям совести, на жертву воспоминаниям о проданном семейном счастье, кто лишил его возможности говорить с отцом, который один был ему близок, кто заставил этого человека и здесь собирать последние силы своего разбитого сердца, чтобы, погибая самому, защищать своих хозяев, кто виноват в таком его душевном расстройстве, если оно действительно существует, кто не оградил, не спас его от губительной страсти, когда к тому имелись все способы и средства! Если он и находится здесь перед вами безумный, то это только живое и наглядное свидетельство того, в чем он сознался. Он сам, своею личностью, – очевидное и вопиющее доказательство

подложности завещания... И чем ближе это живое доказательство к духовной смерти, тем громче и красноречивее говорит оно о сделанном преступлении! И чем больше силится он собрать свои скудные душевные силы, чтобы свидетельствовать о преданности хозяевам, тем виднее, как злоупотребили эту преданностью, тем понятнее, отчего у Козьмы Беляева дрожала рука, когда он будто бы подписывал свое завещание!"

Действительно, нравственное падение, пьяный разгул, проблески сознания и укоры не заглушей вполне совести, наконец, сумасшествие Караганова служат в известной степени и уликами против Мясниковых, но главное назначение всего этого – гром и молния против хищников.

Поговорите с любым присяжным – он скажет вам, что попытки обвинителя или защитника влиять на чувства никогда не достигают цели и могут лишь повредить оратору. Но последите за присяжными в судебной зале во время хорошей речи. Вы убедитесь, что это глубокое заблуждение. Они внимательно слушают говорящего, видимо, понимают и заинтересованы его словами; но они неподвижны, и вы не знаете, убеждает он их или нет. До сих пор и речь оратора была спокойная, ровная. Но постепенно он меняет тон, его голос начинает звенеть или, может быть, значительно слабеет... И вдруг среди присяжных движение: один подался вперед, другой оглянулся на соседа, третий поднял руку к глазам. Вы видите, что дело решено. Вы скажете: жалкий актер? – Нет, вы скажете: настоящий оратор.

Я иду обвинять великого преступника. Не вора, укравшего шубу, не приказчика, растратившего деньги, не хулигана, зарезавшего товарища в пьяной ссоре, – нет, несравненно большего преступника – человека, занимавшего высокий пост и пользовавшегося властью, чтобы творить хищения и убийства. Представим себе, что я говорю перед свободными и независимыми судьями, и я буду бесстрастен? И зло, этим негодяем сделанное, не воспалит мне сердца, не отравит языка?

Всесильный наместник власти решил повесить четырех моих сограждан. Он предал их законному суду, – суд признал, что они не подлежат казни, и приговорил их к другому наказанию. Этот приговор был так же недостижим для представителя власти, как любой из основных законов государства; с минуты объявления приговора жизнь осужденных была ограждена законом, была неприкосновенна не только как жизнь самого проконсула, нет, – как жизнь самого монарха или как верховные права народа. Проконсул, презирая закон, отменил приговор, незаконным распоряжением заставил своих подчиненных вновь судить неприкосновенных граждан и, когда незаконный приговор присудил их к виселице, утвердил противозаконную казнь...

Мне, сыну моей родины, брату незаконно повешенных четырех человек, выпала счастливая доля призвать к ответу преступника, и я буду остерегать судей от негодования против супостата? Знаю, что за деньги он нанял блестящего защитника, что благодаря влиятельным знакомствам до судей и до присяжных уже дошли соблазнительные просьбы и, может быть, нескрытые угрозы, и я не сделаю всего, что в моих силах, чтобы выполнить свой гражданский долг? Пусть выйдет преступник на свободу, пусть смеется над этим, как надругался над тем судом! Лишь бы не заговорило во мне чувство сострадания к незаконно повешенным людям, лишь бы не взволновались судьи! Что скажу я тогда сиротам и вдовам незаконно казненных, когда они спросят: наказан ли убийца? Что отвечу я на суровый укор неисполненного долга?

Может быть, истлеют листы этой книги, прежде чем русскому оратору придется говорить об этих преступлениях перед независимыми судьями. Кто знает? Может быть, это время уже близко. Но когда оно придет, в словах обвинителей отразится горечь, накопившаяся за полвека молчания.

Искусство пафоса

Итак, волнение оратора и судей в известных случаях есть естественное отражение фактов в душе человека. Когда факты возмутительны или трогательны, и говорящему, и слушающим свойственно негодовать или умиляться. Это несомненно, и, как я старался доказать, воздействие оратора на эти естественные и справедливые чувства есть законный прием в судебном состязании. Он имеет нравственное право не только поддерживать эти чувства в судьях и присяжных, но и создавать их. Как это делается?

Я могу дать лишь немногие общие указания в этом отношении.

Первое условие истинного пафоса есть искренность. То, что должно возмутить или растрогать слушателей, должно быть пережито оратором. Чтобы прочувствовать, надо передумать. Раздумье над фактом вызовет то чувство, которое естественно должно вызвать; раздумье выяснит и то, что именно, какие обстоятельства особенно действуют на вашу душу; чем дольше вы будете останавливаться мысленно над этими обстоятельствами, тем глубже, напряженнее, а потому и впечатлительнее к новым мыслям будет ваше чувство. Надо знать и помнить, что мы гораздо менее восприимчивы к окружающему, к несчастью ближнего, чем думаем. Уэтли говорит: "Обыкновенно думают, что люди всегда или, по крайней мере, в большинстве случаев ошибаются под влиянием чрезмерного напряжения чувства. На самом деле столь же часто встречается как раз обратное явление. Не только возвышенные чувства: сострадание, благодарность, преданность, но даже разумный и верно направленный эгоизм, надежда, страх чаще бывают в нас слишком слабыми, чем слишком сильными, и люди твердых нравственных правил, рассудительные, справедливые и искренние сами сознают это... Им часто приходится удивляться и даже стыдиться своей холодности, своего безучастия к событию, значение которого они сознают, и даже делать известные усилия для того, чтобы усилить свою впечатлительность, пробудить в себе те чувства, которые в известном случае отвечают требованиям их разума... Правда, многие ошибочно принимают в этих случаях за чувство благодарности, сострадания и т. п. свои намеренные размышления о предмете и свое убеждение в том, что данный случай требует благодарности или сострадания... Люди вообще очень склонны ошибаться в оценке своих чувств. Не один из нас был бы глубоко возмущен, если бы в ответ на его вполне искреннее заявление, что он очень рад или сердечно огорчен, ему сказали бы, что он на самом деле испытывает как раз противоположное чувство; событие, по поводу которого он выражает свою радость и наступлению которого, может быть, по сознанию долга сам принудил бы себя содействовать, в действительности удручает и раздражает его; и наоборот, что он испытывает внутреннее облегчение и удовлетворение по поводу того, о чем с полным убеждением в своей искренности высказывает свое огорчение". Чтобы судить, насколько справедлива эта мысль, стоит только представить себе отношение политических деятелей в гражданской борьбе к убийствам и к неудавшимся покушениям на убийство их выдающихся политических противников.

Из этой душевной инерции вытекает практическое правило: обдумывая патетические места своей речи, оратор должен искусственно усиливать в себе свои естественные чувства. Если он сумеет развить их надлежащим образом, если проникнется ими, они сами собой проснутся в нем в ту минуту, когда он будет говорить перед присяжными. Он будет искренне взволнован. Подумав, вы скажете, что это волнение неизбежно будет сильнее, чем то, которое он испытывал наедине с самим собой. Оно будет сильнее, во-первых, потому, что оратор уже разгорячен судебным следствием и нервы его приподняты, во-вторых, потому, что он говорит вслух.

Впечатлительные люди про себя читают трогательные места в книгах без особого волнения, но при попытке прочесть то же место вслух у них, как у отца Николенки Иртеньева, текут слезы, дрожит голос и они не могут дойти до конца.

Можно обойтись и без этой подготовительной работы. Для этого надо быть очень хорошим актером и уметь притворяться растроганным или возмущенным с таким искусством, чтобы у присяжных ни разу не шевельнулось подозрение, что перед ними актер. Но надо иметь в виду, что при всех своих недостатках они в этом отношении отличаются поразительным чутьем и обмануть их почти невозможно. Поэтому выгоднее быть искренним.

Второе условие – простота выражения чувства. Искреннее волнение естественно передается простыми словами. Это в особенности заметно в передаче трогательного:

Жизнь невеселая, жизнь одинокая,
Жизнь бесприютная, жизнь терпеливая,
Жизнь, как осенняя ночь, молчаливая,
Горько она, моя бедная, шла... [*\(165\)](#)
Как описывает Мефистофель тоскующую Гретхен?
Einmal ist sie munter, meist betriibt,
Einmal recht ausgeweint,
Dann wieder ruhig, wie's scheint,
Und immer verliebt [*\(166\)](#) .

Сравните сцены смерти у Толстого, описания смерти детей у Диккенса, смерть в "Записках семинариста" у Никитина, описание детства в повести Короленко "Слепой музыкант", возьмите Тургенева и перечтите последнюю сцену на могиле Базарова.

Когда Толстой говорил: "Я пишу, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или посадили меня в тюрьму, или надели на меня, так же как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван и колпак и так же столкнули меня со скамейки, чтобы я своею тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю" [*\(167\)](#) ,– когда это говорил Толстой, мог ли он передать свою мысль в искусственных выражениях и вычурных оборотах речи? Вечным позором останутся на нас эти слова.

* * *

Сильное чувство редко рождается сразу под влиянием чужих слов. Недостаточно поэтому указать присяжным на трогательное, отталкивающее, возвышающее. Заронив в них то или иное чувство, надо разбередить его, дать ему время разрастись и достигнуть известного напряжения. Рассказывая о том, как он призывал своих сообщников к убийству Августа, Цинна говорит у Корнеля:

Lo par un long recit de toutes les miseres
Que durant notre enfance ont endure nos peres,
Renouvelant leur haine avec leur souvenir,
Je redouble en leur coeur l'ardeur de le punir [*\(168\)](#) .

В течение этого "длинного рассказа" о тирании Августа ненависть к нему заговорщиков все время росла.

Простейший способ усиления чувства в слушателях заключается в передаче подробностей события. В поэме Байрона "The Deformed Transformed" в сцене разгрома Рима войсками коннетабля Бурбонского один из товарищей победителя говорит, глядя на двух бегущих кардиналов:

But let them run; the crimson kennels now

Will not much stain their stockings, since the mire
Is of the self-same purple hue.

"Пускай бегут: красная слякоть не замарают их красных чулок".

Читатель видит, что город залит кровью. Но это слишком мимолетный образ для слушателей. У Гомера сказано: "Граждане гибнут, огонь пожирает город, враги уводят в плен детей". И это слишком коротко. Цицерон говорит: "Если вы скажете, что город был отдан на разграбление войскам победителя, в этих словах уже заключается все, что бывает в подобных случаях; но слова эти не производят впечатления. Раскиньте перед слушателями все картины, скрытые в них: горят дома и храмы, падают кровли; отовсюду слышны вопли отчаяния, сливающиеся в один общий стон; одни бегут, другие сжимают в объятиях своих близких; женщины и дети плачут, старики проклинают судьбу, давшую им дожить до ужасного дня; солдаты уносят расхищенную утварь храмов или рыщут за новым грабежом; граждане, обращенные в рабов, идут в цепях за разбойниками, ставшими их повелителями; матери в ужасе прижимают к груди своих плачущих детей, и среди всех этих воплей и стонов победители ссорятся и дерутся из-за добычи".

Это правило о подробностях надо помнить на суде. Скажите: эта мать в течение трех дней не давала есть своему ребенку. Присяжные примут это как факт, но сострадание деятельное не шевельнется в них, пока вы не заставите их пережить вместе с истощенным малюткой каждый из этих трех голодных дней. Вот другая мать, целый месяц скитавшаяся по городу и за городом с ребенком на руках, пока не решилась задушить его. Присяжные поймут, но не почувствуют борьбы материнского инстинкта с нарастающим чувством озлобления к своему бессознательному, но неумолимому врагу, который хочет жить, а матери жить не дает. Надо вместе с ними проследить за ее мучительными скитаниями в холод и дождь, снег и вьюгу, по дням и ночам; надо не спеша пересказать им душевные терзания и борьбу детоубийцы, чтобы вызвать в них настоящее сочувствие, чтобы действительно растрогать их.

Одно замечание. Если вы хотите, чтобы ваши описания действовали на присяжных, не забывайте обыденных подробностей обстановки, иначе говоря, ищите истинного реализма. Ребенок проснулся голодный; мать ставит самовар; уже привычный запах дыма дразнит его желудок, но чаю не дали. Он стоит в углу голодный. Мать заварила кашу; он все голоден; он, кроме того, страдает всею силою обиды. Каша поспела; мать поставила горшок на стол и ест; до него доносится запах еды. Может быть, даст?.. Мамка!.. В ответ на это слово брань или, пожалуй, какая-нибудь скалка, брошенная ему в ноги. Со стола убрано; до вечера еды не будет... Вечером опять то же...

Выше мы говорили о сравнении как о средстве пояснения мысли и как о доказательстве; они могут также служить к усилению речи при обращении к чувству. Впечатление, произведенное на слушателей рассказом об ужасном или трогательном событии, может быть усилено сравнением происшедшего с другим ближе знакомым им или простейшим фактом, нравственная оценка которого доступнее для них или уже давно укрепилась в их сознании. Сравнение делается наиболее убедительным, когда затрагивает личные интересы слушателей. Каждый судебный оратор знает этот психологический закон или эту духовную слабость человека. В судебных речах постоянно говорится: представьте себе, что вы просыпаетесь ночью и видите у своей постели чужого человека с ножом в руке, и т. д.; если человек, не имеющий на то никакого права, врывается в ваши семейные отношения, сближается с вашей женой, восстанавливает против вас ваших детей, и т. п. Мне припоминается следующий отрывок: "У каждого из вас, господа присяжные заседатели, есть близкие люди, которым посвящены ваши труды и заботы; вы, может быть, иногда думаете о том, что им будет нелегко бороться с жизнью, когда вас не станет; ценой ежедневной работы и, пожалуй, ежедневных лишений, может быть,

иные из вас скопили небольшие сбережения на первые нужды семьи в те дни, когда вас не будет, и, зная, что эти деньги лежат в неприкосновенности, вы считаете, что можете умереть спокойно... Вы видели сегодня, господа, как жестоко может ошибиться расчет заботливого мужа и отца. Едва закрылась могила, и уже к последнему достатку вдовы и сирот тянется цепкая рука хищника".

Поставить судей или присяжных в положение одного из главных действующих лиц процесса – это обычный риторический прием. Страдая или негодуя за себя и хотя бы только одним воображением, мы чувствуем сильнее, чем страдаем при виде или при рассказе о чужих страданиях, а эгоистическое чувство, вызванное предположением, переносится на чужое действительное несчастье.

Надо, однако, сказать, что присяжные бывают недоверчивы к этому риторическому приему: они склонны видеть в этом нравственное насилие. "Он хотел нас поставить в положение потерпевшего", – говорят они с неудовольствием. Отсюда практическое правило – одно из двух: или сравнение должно быть настолько сильно, так ударить по нервам, чтобы присяжным было не до критики, или это должно быть сделано косвенным образом, мимоходом, как бы ненамеренным намеком. Если настроение присяжных уже достигло большого напряжения под влиянием ранее сказанного, сравнение может быть брошено им в лицо без обиняков и нежностей. Но, повторяю, в этом приеме нужна осмотрительность. Напомню, что это является прямым нарушением правила: бойтесь личных местоимений второго лица.

Заметим, что оратор всегда может превзойти уже достигнутый им эффект в описании события или в передаче своего чувства: ему стоит только сказать, что он не выразил всего, что должен был передать. Лучшим примером этого служит рассказ Цинны о его речи к заговорщикам против Августа в драме Корнеля. Он начинает с междоусобий, предшествовавших второму триумvirату:

Je leur fais des tableaux de ces tristes batailles,
Ou Rome par ses mains déchirait ses entrailles,
Ou l'aigle abbattait l'aigle et de chaque cote
Nos soldats s'armaient centre leur liberte...

За этой картиной следует другая – картина преступлений триумвиров. Но, говорит Цинна, у меня не хватает красок для передачи этих ужасов:

Mais je ne trouve point de couleurs assez noires
Pour en représenter les tragiques histoires.
Je les peins dans les meunre a l'envi triomphants,
Rome entiere noyee au sang de ses enfants;
Les uns assassines dans les places publiques,
Les autres au sein de leurs dieux domestiques,
Le mechant par le prix au crime encourage,
Le mari par sa femme en son lit egorge,
Le fils tout ruisselant de la mort de son pere
Et, sa tete a la main, demandant son salaire...

Краски, очевидно, нашлись, и достаточно мрачные, но надо еще усилить произведенное впечатление, и Цинна прибавляет:

Sans pouvoir exprimer par tant d'horribles traits
Qu'un crayon imparfait de leur sanglante paix. [*\(169\)](#) .

В тех случаях, напротив, когда немногие слова уже достигают цели, вызывая известное сильное чувство у слушателей, всякий искусственный прием может только охладить их. Поэтому, если на судебном следствии произошло что-нибудь, оказавшее сильное впечатление на

присяжных, надо только напомнить им этот момент, прибавив: к чему пояснять то, что здесь пережил каждый из вас? По справедливому замечанию Уэтли, смерть Патрокла описана у Гомера со всеми подробностями, чтобы вызвать сочувствие читателя; для Ахилла, в котором это событие само по себе не могло не вызвать сильной горести, достаточно двух простых слов: *ceitai Patroclos* [*\(170\)](#) .

Предположим, что обвинитель говорит присяжным: я докажу вам, во-первых, что подпись на векселе подложная, во-вторых, что она сделана подсудимым и, в-третьих, что в его поведении заключается косвенное сознание в подлоге. Такое вступление может быть только выгодно для оратора и полезно для слушателей: оно обращено к их рассудку. Представим себе другое дело с таким обращением прокурора: я разобрал перед вами главные улики против подсудимого; теперь мне необходимо возбудить в вас то настроение, которое в душе всякого нравственно развитого человека должно явиться отражением настоящего преступления. Поэтому я сделаю что могу, чтобы вызвать в вас, во-первых, сострадание к опозоренной девушке, во-вторых, сочувствие к ее отцу и, в-третьих, негодование против ее оскорбителя. Ясно, что такое вступление к возбуждению чувства в слушателях может только расхолодить их [*\(171\)](#). Волнение должно зародиться в них непосредственно, свободно. Для этого надо изобразить им такие факты, которые сами собой, без пояснения и увещания, должны зародить в них сострадание или негодование; это могут быть факты в тесном смысле слова, то есть внешние события жизни или душевное состояние, пережитое действующими лицами драмы. Цицерон, ссылаясь на долгий опыт, говорит: *nequaquam is, qui audiret, incenderetur, nisi ardens ad eum pervenit oratio* – чтобы зажигать сердца, речь должна пылать. Но это не в духе современного судебного оратора. Как искусный естествоиспытатель, он с неторопливой уверенностью расположит нужные элементы в соответствующем порядке и близости и, отстранив себя, предоставит силы природы их неизбежному взаимодействию. Кусок фосфора, опущенный в кислород, воспламенится, не дожидаясь позволения или приказа; влейте кислоту в раствор лакмуса, он делается красным; влейте щелочь – получите синюю окраску. Обдумывая речь, вы должны наметить те факты, которые при соприкосновении с сознанием присяжных не могут не вызвать в них то или иное настроение; на трибуне в надлежащую минуту вы раскинете их перед присяжными с возможной яркостью; остальное предоставьте им.

Вот отрывок обвинительной речи в недавнем процессе, могущий служить примером пафоса фактов.

"Восемь девочек отсылаются на квартиру барина; они удовлетворяют требованиям выбора, они должны принести ему в развлечение свою девственную чистоту. Одна из них, на свое несчастье, оказалась миловиднее других. Она была невинна; в этом не оказалось сомнения даже у взволнованных, во всем сомневающихся экспертов. Пришла она к подсудимому, пробыла у него полтора часа и ушла; пришла девственницей, ушла, оставив ему свою невинность".

"Что сделал он? Как достиг своей цели? Взял ли он ее грубой силой или заманил блестящими обещаниями? Это было нетрудно. Она жила у бедной тетки, которая не могла кормить ее; работала на фабрике, но ее уволили по слабости здоровья. Перед нею голод. А здесь важный барин обещает, что она будет жить в довольстве, рассказывает что-то про дом в двести тысяч, обещает золотые горы. Если верить подсудимому, он в течение какого-нибудь получаса убедил ее отдать ему то, что женщина может отдать только один раз в жизни. Она подтверждает эти рассказы, но говорит, что не сдавалась на его предложения, что он взял ее силой. Что же было на самом деле?"

"Пришел подросток. Вы видели ее: худая, слабая, хрупкие члены, деревянный голос. Все ясно говорит, что это организм, не созданный для пышного расцвета. Отодвиньте это тщедушное создание на три года назад; представьте себе, чем была она тогда: заморенный ребенок, нечто в высшей степени жалкое, может быть, отчасти привлекательное своей телесной хрупкостью и

полной беспомощностью; матери у нее нет, отец где-то в Любани, в Петербурге только какая-то нищая тетка... Пришел ребенок; были какие-то разговоры, какие-то образы, может быть, и восхитившие на мгновение воображение девочки, затуманившие ее сознание; осторожные ласки, которым она не решалась противиться – перед нею ведь барин. Ей обещают золото; ей, нищей, беспомощной, говорят о каком-то неслыханном благополучии; она начинает терять самообладание..."

Я должен пропустить некоторые подробности.

"Раздается звонок. Может быть, это случайный гость, может быть, взрослая любовница; как вы помните, в это время подсудимый был в связи с одной из своих старших учениц; во всяком случае, это опасный свидетель, который застанет у него растленного ребенка. Он торопливо сует ей сорок копеек на извозчика и через черную лестницу выталкивает ее на улицу. Он отнял у нее единственное сокровище, какое может быть у бедной девушки. Он говорит, что это произошло по ее доброй воле, что она продала ему свою невинность. Я спрашиваю вас, за какую цену? Сколько рублей извлекла она из кармана этого великолепного статского советника? Сорок копеек и море слез. Она говорит вам: сорок копеек, и он не смеет сказать, что это неправда".

"И вот она на улице, измученная, разбитая; вместо кучи золота у нее сорок копеек... Куда идти? К отцу, к матери? У нее нет матери, отец далеко. Она идет к тетке и в немом отчаянии ложится где-то в углу, отлеживается. Жизнь ее изломана, возможность счастья уничтожена раз навсегда: у ней нет надежд на что-либо светлое в будущем; она уже не может быть женой честного человека, не может своей чистотой освятить его домашний очаг. Да не только в будущем, ей и теперь некуда деваться. По болезненности и детской слабости она лишилась заработка на фабрике; тетка сама едва кормится. Куда идти? Невольно является неизбежная мысль пойти к нему, к виновнику ее позора. Ведь не зверь же он, знает, что отнял у меня, не может же оттолкнуть..."

"Идет в место своего падения усталая жертва, звонит к нему... Но пресыщенная похоть развратника уже не нуждается в ней. Ее гонят вон с удостоверением от услужливого доктора о том, что она не была невинной, когда в первый раз пришла к подсудимому.– Иди прочь; ты не честная девушка, тебе нет места в порядочном доме; ступай на улицу, в голод и в грязь... Ужасное, господа присяжные заседатели, положение опозоренной девушки! Вы оцените, вы поймете этот ужас, и вы потребуете наказания виновника".

* * *

Итак, пафос фактов – вот основной прием для возбуждения чувства у слушателей на суде. Зародить чувство – это то, на что можно рассчитывать, к чему можно заранее подготовиться. Оратор остается здесь бесстрастным наблюдателем своего влияния на судей или присяжных; но он может сделать иное; он может заразить их своим чувством, *si ardens ad eos pervenit oratio*. Надо только помнить существенное соображение: такое влияние заранее назначить нельзя. Факты всегда в вашем распоряжении, они явятся по первому зову; но собственное настроение, внутренний благородный жар заранее заказать невозможно. А поддельный пафос есть постыдная и гибельная ошибка. С другой стороны, как я уже говорил, то, что можно делать по отношению к слушателям, можно применить и к самому себе. Если, обдумывая речь, вы не раз останавливались мысленно над фактами возмутительными или трогательными и перечувствовали их, они и во время самой речи разогреют вас, вызовут прежние чувства, притом в более сильной степени, потому что впечатлительность ваша уже повышена напряжением судебного следствия [*\(172\)](#).

Оратор может передать свое настроение окружающим двумя различными способами. Он может прямо высказывать свои чувства и может делать вид, что старается заглушить их в себе или скрыть от слушателей. В первом случае он старается говорить с наибольшей силой, ищет самых ярких выражений, не стесняясь и в преувеличении; он увлекает их за собой. Второй способ заключается в том, чтобы совсем не выказывать волнения или выказывать его в значительно меньшей мере, чем можно было бы ожидать по смыслу рассказа, выражаться сдержаннее, чем следует, ограничиться "безыскусственным рассказом" и предоставить слушателей самим себе. Этого мало; оратор может делать вид, что всеми силами старается подавить в себе или, по крайней мере, удержать в известных границах те чувства, которые кажутся в нем не только понятными, но неизбежными. Этот прием вызывает как бы отпор со стороны слушателей; они видят, что оратор избегает тех слов, которые просятся ему на уста, сознают, что его спокойствие только маска, за которой скрываются его настоящие чувства, и бессознательно бросаются в противоположную крайность; чем менее притязательным кажется им оратор, тем более поддаются они подсказанному чувству.

Этот риторический прием часто переходит в иронию: вместо мнимой борьбы с собой оратор высказывает слушателям прямо противоположное тому, что чувствует или что должны чувствовать они. Образцом такого сочетания прямого и косвенного воздействия говорящего на чувства слушателей является речь Антония над трупом Цезаря у Шекспира. Перечтите этот отрывок и подумайте над ним, читатель. По этим немногим строкам можно было бы, пожалуй, составить целый учебник риторики. Я не стану углубляться в их разбор; укажу только схему воздействия оратора на чувства слушателей. Антоний начинает с обращения к рассудку окружающих; он хочет выяснить истину: правда или нет, что Цезарь стремился к тирании; потом он прямо высказывает, что глубоко огорчен смертью диктатора, не говоря, что возмущен убийством; он делает вид, что сдерживает свое негодование, заявляет, что не будет возбуждать римлян к мщению, но говорит это в таких выражениях, которые не могут не раздражать их: "Если бы я вздумал призывать вас к мятежу, я был бы несправедлив к Бруту и Кассию; я лучше буду лгать на вас и на себя"; раздражив их этим косвенным путем, он усиливает раздражение требованием спокойствия, которое сам называет противоестественным, бесчеловечным: "Успокойтесь! Нельзя вам знать, как любил вас Цезарь; вы не звери, не камни – вы люди". Следует опять прямое обращение к состраданию и сильнейшее выражение его собственной горести, опять призыв к невозможному хладнокровию, способный только удвоить бешенство толпы, и, наконец, почти прямой клич к мщению: "Если бы я был Брутом, и будь тот Брут Антоний, такой Антоний позвал бы вас казнить предателей..." При этом во все время речи Антоний восхваляет тех, кого изобличает в злодеянии.

Чувство сильнее рассудка. Это знают и обвинитель, и защитник. Знает и судья. В законе нет запрета говорить о том, что может трогать или возмущать. Нельзя требовать, чтобы в разгар боя один из борцов бросил в сторону отточенный клинок и взялся за простую палку, когда в руке его противника длинная шпага.

Что же может оградить суд от злоупотребления талантом, от воздействия на низменные чувства присяжных? Более всего, разумеется, уважение оратора к своему собственному достоинству. Честный человек не забудет двух требований совести:

Нельзя возбуждать в судьях чувства безнравственные или недостойные.

Нельзя обманывать их, заменяя доказательства воздействием на чувство.

Но сознания долга, конечно, недостаточно: неразборчивые люди встречаются повсюду; их немало и между нами. Соблазн бывает силен: не только беззастенчивые, но и нравственно

дисциплинированные люди иногда уступают ему. На пронизательность и нравственную требовательность присяжных рассчитывать не приходится: увлеченный человек не может сохранить то, что французы называют *l'esprit de discernement* – способность отличить справедливое влияние на него от недостойного. Но напряженное недоверие противника и спокойное внимание председателя различат их без труда, и тогда собственное оружие говорящего, как отравленная сталь Лаэрта [*\(173\)](#), обратится против него. Ясно, что другим сдерживающим влиянием должен быть простой расчет. Помните, что за вами следят противник, председатель и присяжные; будьте искренни; остерегайтесь сделаться смешным.

После всего сказанного мне кажется ясным, что боевой характер судебной речи требует от оратора и логики, и пафоса. Но, признавая все могущество пафоса, я не могу не указать на два преимущества логики. Прибавлю, что вполне оценил их только с тех пор, как стал судьей. Когда оратор развивает чисто логические рассуждения, вокруг него чувствуется как бы здоровый холод, в котором широко дышится и ясно видно сквозь чистый воздух; в патетической речи нет этой прохлады. Поэтому первое воспринимается слушателями с полной готовностью, второе – почти всегда с некоторым недоверием. Другое преимущество логического доказательства перед обращением к чувству заключается в том, что противник ваш всегда может охладить чувствительность присяжных и никогда не властен отнять малейшую крупичку у верного логического рассуждения; и председатель, и сами присяжные так же бессильны в этом, как ваш противник. Можно доказать присяжным, что долг воспрещает им поддаваться негодованию или жалости, но нельзя доказать им, что они свободны от вывода: Гай – человек, следовательно, Гай смертен. Рассудок можно заковать словами, сердце нельзя.

Письменная работа и импровизация

Мы не будем повторять старого спора: писать или не писать речи. Знайте, читатель, что, не исписав нескольких сажен или аршин бумаги, вы не скажете сильной речи по сложному делу. Если только вы не гений, примите это за аксиому и готовьтесь к речи с пером в руке. Вам предстоит не публичная лекция, не воззвание на площади, не поэтическая импровизация, как в "Египетских ночах" [*\(174\)](#) . Вы идете в бой. Заглянем с вами в Московскую оружейную палату или в арсенал Петербургского Эрмитажа: мечи, копья, ружья, пистолеты. К вам подошел кто-то и говорит: все это в вашем распоряжении, выбирайте что хотите, сколько хотите; но времени у вас одна минута; противник уже вышел в поле... Как разобраться в бесчисленном множестве оружия? Все хорошо на вид, но есть ведь немало негодного, заржавленного, притупившегося...

– Господин прокурор! Ваше слово.

И вы наскоро хватаетесь за то, что попадет под руку. А противник ваш провел всю ночь в том же арсенале, пересмотрел не спеша каждую стойку и выбрал лучшее, исправное, надежное...

Остерегайтесь импровизации.

Отдавшись вдохновению, вы можете упустить существенное и даже важнейшее.

Можете выставить неверное положение и дать козырь противнику. У вас не будет надлежащей уверенности в себе.

Лучшего не будет в вашей речи. Импровизаторы, говорит Квинтилиан, хотя казаться умными перед дураками, но вместо того оказываются дураками перед умными людьми.

Наконец, имейте в виду, что крылатый конь может изменить.

Люди знающие и требовательные и в древности, и теперь утверждают, что речь судебного оратора должна быть написана от начала до конца. Спасович, Пассовер, Андреевский – это внушительные голоса, не говоря уже о Цицероне.

Но если это не всегда бывает возможно, то во всяком случае речь должна быть написана в виде подробного логического рассуждения; каждая отдельная часть этого рассуждения должна быть изложена в виде самостоятельного логического целого и эти части соединены между собой в общее неуязвимое целое. Вы должны достигнуть этой неуязвимости, иначе вы не исполнили своего долга.

Говорят, дело может совершенно измениться на суде, и написанная речь окажется непригодной от начала до конца: тот, кто все заучил в известном порядке, не сумеет справиться с изменившимися обстоятельствами: чем сильнее казались доводы и ярче образы, тем труднее будет освободиться от них; навязчивая память отвлекает внимание, и работа мозга над новыми фактами становится невозможной. Наоборот, тот, кто не связан, не скован в тисках заранее написанной речи, а привык говорить под непосредственным впечатлением судебного следствия, тот может только выиграть от неожиданностей; каждая из них будет новой искрой в свободной игре его ума и воображения.

Не могу не признать, что мне приходилось слышать такие суждения [*\(175\)](#) от людей, имеющих не менее веский голос в нашем искусстве, чем Спасович или Андреевский; думаю только, что это говорится *cum grano salis* [*\(176\)](#) . Обстоятельства дела, конечно, могут измениться на судебном следствии, но исключительные случаи не должны служить основанием общих правил. Если на суд явится свидетель, который заявит, что убил он, а не подсудимый, то, конечно, речь прокурора окажется никуда не годной. Но прокурору и не придется говорить ее, потому что суд в силу закона обязан будет обратить дело к доследованию, чтобы проверить

заявление свидетеля. Если человек, обвиняемый в убийстве при слабых уликах, неожиданно сделает признание на суде, его защитнику придется забыть свою речь и только сказать присяжным, что такое признание есть доказательство нравственного просветления преступника, обязывающее их оказать ему возможное снисхождение. Речь пропадет, но защита будет выполнена, как должно. Неожиданности судебного следствия ограничиваются обыкновенно предъявлением новых доказательств, показаниями недопрошенных свидетелей или изменением показаний, данных на предварительном следствии свидетелями или подсудимым. Предположим, что новый, по-видимому, добросовестный свидетель категорически утверждает алиби. Если прокурор верит ему, он должен отказаться от обвинения; если не верит, это важное показание должно быть тщательно разобрано им, но оно не может иметь никакого влияния на все остальное содержание обвинительной речи. Если были сильные улики и будет с надлежащей силой сказана заготовленная речь, присяжные обойдут нового свидетеля в предположении, что он ошибался или лгал.

Говоря о неожиданностях судебного следствия, надо различать, впрочем, то, что можно предусмотреть, и то, чего предвидеть нельзя. Для внимательного оратора неожиданностей почти не бывает; они все уже являлись ему в часы раздумья и сомнений; он сам вызывал их перед собою силой своего ума и знает цену каждой. Адвокат, он не раз олицетворял в себе прокурора, подыскивая самые хитроумные сочетания улик, самые ядовитые стрелы и сокрушительные перуны против того, кто вверился его защите; обвинитель, он становился защитником, чтобы с такой же настойчивостью предугадать соображения противника. Он знает, что изменение свидетельского показания есть обычное, всегда возможное и часто вероятное явление. Подсудимый судится за поджог с целью получить страховое вознаграждение; защитник искусно сопоставляет цифры и доказывает, что поджог не мог быть выгоден подсудимому. Если это окажется неожиданностью для прокурора, то прокурор не знал дела. Неожиданности могут быть опасны только в том случае, если, составив и написав речь, оратор не вполне усвоил ее, то есть не довел работы до конца.

Из того, что речь должна быть написана в законченной форме, не следует, что она должна быть произнесена наизусть. В Риме в эпоху цезарей сами судьи требовали изысканных тонкостей от ораторов, и практик Квинтилиан, как мы видели, предостерегает от увлечения этой искусственностью. У нас же так мало привыкли к изящной речи, что безупречная красота ее была бы скорее недостатком, чем достоинством на трибуне, особенно в начале. Если вступительные фразы не слишком удачны по построению, если в них слышится неуверенность оратора, у слушателей слагается представление, что речь не подготовлена; вследствие этого следующие разделы речи, хотя они написаны и тщательно разработаны заранее, также кажутся созданными под непосредственным впечатлением судебного заседания. Переход от подкупающих неровностей к опасному изяществу объясняется благоприятным образом: талант свое взял; понятное и естественное смущение перед слушателями уступило место спокойной уверенности в своей правоте, и речь свободна и красива не потому, что оратор перестал, а потому, что он начал говорить своим обычным языком. Если в середине речи у слушателей и явится смутное сознание уловки, оно неопасно для оратора: они уже в его власти. У нас делается как раз наоборот: оратор заучивает наизусть начало речи и заключительные слова, а остальное вверяет своему таланту. Вступление произносится с торжественною самоуверенностью, почти всегда изложено деланным, книжным языком. Впечатление присяжных – зазубрил. За этим следует существо речи; в нем все недостатки и ни одного достоинства импровизации. Присяжные в недоумении, которое продолжается в течение всей речи, до неожиданно щеголеватого заключения. Дрянные книги обыкновенно продаются в красивых переплетах или ярких обложках; любимых писателей мы переплетаем в темный сафьян. Нам предстоит долгий

путь; проберемся задворками, через канавы и заборы, на большую дорогу: там будет идти весело и просторно.

Вот что пишет о письменной подготовке де Бетс, в словах которого всякий признает опытного мастера:

"Готовьтесь к речи".

"Изучайте дело, углубляйтесь в него как можно больше; работайте всегда анализом. Изучайте событие со всеми его подробностями, разбирайте все предположения, допускаемые фактами. Изучайте юридические вопросы, возникшие или могущие возникнуть в деле хотя бы при неверном его освещении. Знайте процесс со всеми возможными исходами его".

"Не бойтесь взволноваться, но вдумайтесь а свое чувство, знайте в точности, как должно назвать его: негодованием или презрением, гневом или отвращением, уважением или симпатией; знайте, где родилось оно, в каком именно элементе процесса: в личности или в факте. Повторяю, вам нужны не впечатления, а аналитические выводы".

"А потом пишете".

"Только не речь!"

"Не план речи!.. Нет! Речь будет импровизацией на суде; до суда и не думайте о ней".

"Записать надо строгий аналитический разбор дела, разбор для себя; надо довести до совершенной точности и закрепить ваше понимание процесса".

"Вы знаете старинную поговорку: вопрос, верно поставленный, есть вопрос разрешенный".

"Ваша записка должна поставить вопрос точно, во всей его полноте!"

"Никогда не удовлетворяйтесь приблизительными положениями в этой работе; не допускайте ни единого слова, взятого не в строго точном его значении".

"Каждое положение должно быть отточено, как сталь; кончайте только, когда признаете, что анализ доведен до математической точности".

"В этой записке у вас будут собраны все доводы, имеющие объективное значение в процессе; не заносите туда "ораторских доводов", то есть ложных аргументов, которые могут производить впечатление, но в строго логическом смысле силы не имеют" [*\(177\)](#) .

Из этого отрывка видно, что письменная работа, предлагаемая де Бетсом, есть нечто отличное от речи. Я думаю, что то и другое может почти совпадать. Написанная речь с пользой и успехом может быть обработана и закончена настолько, насколько это осуществимо. После судебного следствия будут неизбежны некоторые изменения. Общий тон – одно из важнейших условий – назначить заранее нельзя. Даже в музыке, где тон бывает указан вполне определенно, исполнитель принимает оттенок, соответствующий настроению минуты: оратор, переживший судебное следствие, чувствует, следует ли придать голосу сдержанность или настоятельность, строгость или мягкость. Возможно, что сообразно с этим придется заменить целый ряд прилагательных более резкими или смягченными выражениями; несомненно, что во многих случаях свидетели подскажут оратору свои выражения для его мыслей – он не упустит их; они могут дать и новые соображения – он ими воспользуется; его, наконец, взволнует непредвиденное обстоятельство – он перейдет в пафос. Но все это будет вплетено в прочные узоры его написанной речи, а не будет самостоятельной импровизацией, о которой говорит де Бетс.

Цицерон писал про оратора Антония: "Никому и в голову не приходило, что его речь обдумана заранее; казалось всегда, что он говорит без подготовки; на самом деле он был так подготовлен, что, когда начинал говорить, судьи обыкновенно оказывались недостаточно подготовленными к тому, чтобы остерегаться его искусства".

Чем прочнее составленная вами речь, тем легче вам украшать ее всеми живыми красками судебного следствия, тем легче оратору пользоваться живым сотрудничеством других участников процесса.

Сказать хорошую речь несравненно легче, чем сочинить хорошее стихотворение или написать хорошую картину. Плутарх рассказывает, что по просьбе одного афинянина оратор Лизий составил для него защитительную речь; тот прочел ее и был в восхищении; но через несколько дней он пришел к Лизию и сказал ему: с первого раза речь показалась мне превосходной; но чем больше я ее читал, тем менее она мне нравилась, а теперь она кажется мне совсем ни к чему не годной.— Любезный друг,— ответил Лизий,— ты забываешь, что судьям придется прослушать ее только один раз. Это забываем и мы, когда сравниваем красноречие с другими искусствами. Ваятели, художники, поэты творят для всего человечества, для потомства, судебные ораторы — для небольшой судебной залы, для трех судей или двенадцати присяжных; те — навсегда, навеки, эти — на несколько минут. Речь оратора — это отблеск луны на беспокойных волнах потемневшего моря, игра облаков на светлом июньском небе, гроза, прошумевшая над лесом, ветер, пробежавший по степи; это — преходящее, мимолетное, бесследное, а творения Гомера, Праксителя, Рафаэля — это неувядающее, бессмертное, вечное.

Итак, быть оратором легче потому, что от него меньше требуется. Но есть и другие, более действительные основания для этого. Непосредственная задача, ближайшая цель у него та же, что у поэта или художника; но он имеет несравненные преимущества в самих условиях его творчества, такие, каких нет ни в одной другой области человеческого искусства. Условия эти: живая речь, живая аудитория, живая, действительная, а не вымышленная драма дела и живое сотрудничество прочих участников процесса.

1. Живой голос — могучее средство влияния одного человека на других. Всякий из вас знает это по опыту, всякий согласится, что самая ясная, сильная мысль, будучи высказана вслух, выигрывает в блеске и силе. С. А. Андреевский идет значительно дальше и вполне справедливо говорит: "Самая дешевая мысль, самая пошлая сентенция, выраженные устно перед слушателями, производят сразу неизмеримо большее действие, нежели гениальнейшее изречение бессмертного человека, изображенное им для читателей на бумаге". В области чувства влияние живой речи еще неизмеримо больше. Меняя тон, ритм, темп и силу звука, оратор без труда передает своим слушателям самые незаметные, самые прихотливые оттенки чувства и настроения, самые противоположные движения души. Обаяние голоса может быть очень сильно; оно близко к чарам музыки, а музыка всемогуща в своем волшебстве. Вспомните А. Толстого:

Он водил по струнам; упали
Волоса на безумные очи,
Звуки скрипки так дивно звучали,
Разливаясь в безмолвии ночи.
В них рассказ убедительно лживый
Развивал невозможную повесть,
И змеиного цвета отливы
Соблазняли и мучили совесть.
Обвиняющий слышался голос
И рыдали в ответ оправданья,
И бессильная воля боролась
С возрастающей бурей желанья...

Кто слышал настоящих ораторов, тот знает и сладостный соблазн, и убедительную лживость,

и дивную власть живой речи. Выразительность голоса в передаче чувства есть нечто поистине чудодейственное. В третьем акте Гамлета в сцене свидания с королевой есть в этом отношении интересное для нас, русских, место. Заколов спрятанного за занавесью Полония и не зная, кого убил, Гамлет спрашивает у матери: Is it the king? В переводе Полевого этот вопрос был выражен неясно:

Королева: Ах, что ты сделал, сын мой!

Гамлет: Что? Не знаю. Король?

Белинский рассказывает, что это место было непонятно ему, пока Мочалов не бросил на него внезапный свет: "Слова: "Что? Не знаю" – Мочалов проговорил тоном человека, в голове которого блеснула приятная для него мысль, но который еще не смеет ей поверить, боясь обмануться. Но слово "король" он выговорил с какой-то дикой радостью, сверкнув глазами и бросившись к месту убийства... Бедный Гамлет! Мы поняли твою радость; тебе казалось, что подвиг твой уже свершен, свершен нечаянно: сама судьба, сжалившись над тобою, помогла тебе стряхнуть с шеи эту ужасную тягость..." [*\(178\)](#) . В старинной мелодраме "Тридцать лет, или Жизнь игрока" герой идет грабить на большую дорогу и убивает родного сына. Стоя на сцене с окровавленным топором в руке, Мочалов произносил: "Дайте мне воды, у меня так в горле пересохло", – и вся зала содрогалась в одном рыдании. И эти поразительные эффекты создавались как бы сами собою; слова были самые простые. Сколько же силы и чувства было в голосе? Откройте Шиллера, Макс Пикколомини узнает, что Валленштейн [*\(179\)](#) , его названный отец, его учитель в славном ратном деле, его земной кумир – не что иное, как честолюбец и предатель. Он восклицает:

Es kann nicht sein! Kann nicht sein! Kann nicht sein!

Он повторяет три раза одни и те же простые слова, но сколько в них глубокого значения, какой разнообразный смысл! "Не может быть!" – это негодующий протест; "Нет, быть не может..." – это испуганное, отравленное подозрением, мучительное сомнение... "Не может быть!!!" – это вопль отчаяния, вырывающийся у человека, перед которым открылась нравственная бездна... Мгновенное крушение целого мирозерцания, утрата веры в людей – страшная трагедия в жизни человека, и, однако, все существо ее можно выразить одним изменением голоса.

2. Живой голос оратора раздается среди живой аудитории. Скульптор, художник, зодчий обращают свое произведение к людям в спокойном созерцательном настроении; мы подходим а froid [*\(180\)](#) к картине или статуе; напротив того, в судебной зале люди, окружающие оратора, ни единой минуты не находятся в полном душевном равновесии; они все время переходят от одного настроения или чувства к другому; среда все время несколько нагрета и, следовательно, восприимчива к дальнейшему нагреванию. Возьмем старое сравнение: бросьте зерно на засохшую твердую почву, оно погибнет; бросьте его во влажный чернозем, земля обнимет его своим теплом, всеми своими живыми силами пойдет навстречу его живому соку. Вы случайно затронули мысль, которая вертелась в голове одного из присяжных, – и вы видите, как быстрое умственное движение отразилось на его лице. Но мы говорим не о случайностях, мы говорим о расчетливом уменье, об искусстве. Опытный оратор заранее знает мысли и настроение своих слушателей; он ведет свою речь в осмотрительном соответствии с этим настроением; он крайне сдержан до той минуты, пока не почувствует, что овладел ими и подчинил их себе. Но, как только явилось у него это сознание, он уже распоряжается их чувствами как хочет и без труда вызывает вокруг себя то настроение, которое ему в данную минуту нужно. Он то нагревает, то охлаждает воздух; его семена падают на почву не только с искусственным орошением, но и с искусственной теплотой. Мудрено ли, что и посев всходит с волшебной пышностью и быстротой. Повторяю, вы не случайно затронули здесь одного из многих слушателей ваших, вы с

сознательным расчетом увлекаете за собой всю залу; вы заражаете их своим чувством, они заражают друг друга; все они, зрители, судьи, присяжные, сливаются в единую живую лиру, струны которой звенят в ответ на каждый ваш удар... Они вами живут: как же можно говорить к ним без успеха?

3. Среди живой аудитории идет живая драма процесса. Повесть, роман есть вымысел писателя; судебная речь есть поэма, созданная из живых страданий и слез. Правда, писатель часто берет свою тему из действительной жизни; но настоящая драма уже кончилась, когда он взялся за перо; он – наблюдатель и рассказчик. Пусть в своем воображении он выстрадал и пережил страдания своих героев, пусть даже описывает драму, в которой сам был действующим лицом, – он говорит о том, что миновало, чего нет, и его рассказ может вызвать во всяком случае лишь иллюзию, лишь условное, отраженное страдание. Но говорит оратор на суде – и перед ним или рядом с ним, в лице подсудимого, его жертвы, их близких и родных, дрожит, терзается, стонет сама жизнь со всеми своими порывами, страстями, ужасом смерти, страхом возмездия, терзаниями совести... Нужно ли пояснять, что, видя перед собой эти страдания, люди становятся несравненно более восприимчивы ко всякому воздействию на их чувства, другими словами, что в этих условиях больший успех достигается меньшими средствами? Рядовой обвинитель или защитник на суде может сильнее волновать своих слушателей, чем талантливый чтец или актер на эстраде.

Актер властвует над своими зрителями: они вместе с ним переживают все драматическое представление; но занавес падает, драма кончается и исчезает, как сон. Судебный оратор – актер в действительной драме; суд – только один из ее грозных актов, и не последний; судьи, присяжные – участники той же драмы, и они до последней минуты не знают, к чему она их приведет, окажется ли комедией или трагедией. Они пришли на суд не для отдыха или изысканных эстетических трепетаний; не развлечения хотят они от оратора, они ждут от него помощи в тяжелой борьбе с самими собою, они ловят в его словах ответа на мучительные искания их совести, то блуждающей в беспросветном лабиринте, то вдруг застывшей в нравственном тупике. Я не могу распространяться об этом; это отвлекло бы нас в сторону. Напомню только одно дело. В 1901 году в Сенате рассматривалось прошение Александра Тальма, присужденного пять лет тому назад к каторжным работам по обвинению в убийстве генеральши Болдыревой. Как известно, Тальма просил о возобновлении дела ввиду приговора по делу Ивана и Александра Карповых, судившихся за то же убийство и признанных виновными в укрывательстве. Представителем Александра Тальма был Н. П. Карабчевский. Заканчивая свою речь, он сказал: "Господа сенаторы! Из всех ужасов, присущих нашей мысли и нашему воображению, самый большой ужас – быть заживо погребенным. Этот ужас здесь налицо. Правосудие справило печальную тризну в этом деле. Тальма похоронен, но он жив. Он стучится в крышку своего гроба, ее надо открыть!"

4. Одним из привлекательнейших украшений речи является живое сотрудничество других участников процесса. Ни одно большое дело не обходится без так называемых incidents d'audience; это неожиданные, непредвиденные случайности, возникающие сами собою по самым разнообразным поводам. Но я разумею не эти incidents в тесном смысле, а отношение к ним или к предшествовавшим событиям со стороны свидетелей, эксперта, подсудимого, потерпевшего или противника оратора.

В деле Ольги Штейн каждый свидетель приносил новые неожиданные краски к услугам обвинителя.

У старого военного типографа она выманила под предлогом залога 9 тысяч рублей. На вопрос председателя, откуда были у него эти деньги, свидетель сказал: "Я 29 лет служил в Восточной Сибири и в Средней Азии; я по два года бывал в командировках и за 29 лет скопил 10

тысяч рублей". Разве трудно было вызвать у присяжных живое представление о том, сколько тысяч верст изъездил молодой чиновник по тайге и по степи, пока к седым волосам накопил скромную сумму на черный день? А затем отчего бы не напомнить, что достояние, сколоченное в 29 лет, пропало меньше чем в 29 часов?

Скромный писец, у которого Ольга Штейн постепенно выманила 3 тысячи рублей, говорил спокойно и выражался очень сдержанно; объясняя свою доверчивость и уступчивость, он сказал присяжным: "Столько грусти, столько трагизма было в ее словах, что я не мог устоять перед ее просьбами". Тот же скромный конторщик показал, что подсудимая имела собственный особняк на Васильевском острове, и, увлекаясь рассказом, он говорил: "Это был чудный дом, маленький дворец с очаровательным зимним садом, это сказка была какая-то..." Вот готовый повод для импровизации.

Свидетель Свешников показал, что, когда, доведенный до отчаяния разорением своей семьи, он высказал одному высокому сановнику намерение подать жалобу прокурорской власти, собеседник стал умолять его не делать этого, чтобы не погубить грабительницу. "Она святая, она золотая", твердил влюбленный старик.

Святая! Золотая! Это женщина, отбиравшая десятки тысяч у состоятельных людей и последние гроши у бедняков!

Все эти отрывки должны были войти в речь обвинителя; к сожалению, он не захотел воспользоваться этими блестящими.

В губернском городе судился учитель пения за покушение на убийство жены. Это был мелкий деспот, жестоко издевавшийся над любящей, трудящейся, безупречной супругой и матерью; насколько жалким представлялся он в своем себялюбии и самомнении, настолько привлекательна была она своей простотой, искренностью. Муж стрелял в нее сзади, сделал четыре выстрела и всадил ей одну пулю в спину, другую в живот. Обвинитель заранее рассчитывал на то негодование, которое рассказ этой мученицы произведет на присяжных. Когда ее вызвали к допросу и спросили, что она может показать, она сказала: "Я виновата перед мужем, муж виноват передо мной – я его простила и ничего показывать не желаю". Я виновата – и я простила. Сколько бы ни думал обвинитель, как бы ни искал сильных и новых эффектов, – такого эффекта он никогда бы не нашел. Надо быть Достоевским или Толстым, чтобы сочинить такое противоречие. Что же вышло? Самое прекрасное, самое возвышенное место в речи прокурора принадлежало не ему, а его сотруднице – полуграмотной мещанке.

Свидетельница говорит со свойственной крестьянам медлительностью: "Был день рождения дочери: восемнадцать лет ей минуло; я собралась в свою церкву и она в свою церкву. Я говорю: поди, возьми просвирку за здравие; она пошла, подала просвирку за здравие. Пришла я из церкви; ее нет. Я ждать, ждать, ждать, ждать. Нет ее; а спросить людей совестно. И на ночь не пришла, а она никогда на ночь нигде не оставалась. На утро приходит ко мне баба, спрашивает: где твоя Ольга? – Не знаю. – Она, говорит, зарезана; у третьей будки лежит".

После нескольких вопросов о характере убитой девушки председатель спрашивает:

– Помогала она вам в доме?

– Помощница большая была... – голос свидетельницы начинает дрожать. Я не могу вспомнить...

В глухом селе Ярославской губернии была убита крестьянская девушка, служившая нянькой у священника. Убийца пробрался в дом во время обедни, в Благовещенье; все были в церкви, кроме этой несчастной; он затащил ее в чулан и после отчаянного сопротивления одолел жертву; на трупе оказалось, помнится, более сорока ран. Священник, придя домой, нашел тело в чулане, сплошь залитом кровью на полу и по стенам. И здесь обвинитель с уверенностью рассчитывал на впечатление, которое должен был произвести на присяжных рассказ свидетеля об ужасном

зрелище. Священник стал перед судьями, но все усилия прокурора вызвать его на описание этой жестокой картины оказались тщетными. Всем было ясно, что этот старик вновь видит все то, что увидал в ту страшную минуту, но не мог сказать ни слова. Он онемел от ужаса при одном воспоминании – и конечно, ничего более драматического, чем эта горестная немая фигура в поношенной рясе, никакой обвинитель не сумел бы найти.

Ясно, что и эксперт, и противник, и председатель и члены суда могут явиться неожиданными сотрудниками для чуткого оратора.

О внимании слушателей

Мы уже знаем, что в деловой речи не бывает лишнего. Следовательно, необходимо, чтобы все сказанное обвинителем или защитником было воспринято слушателями; другими словами, необходимо непрерывное их внимание. Во время судебного следствия оно поддерживается постоянной сменой впечатлений; но во время прений, хотя бывают приняты все меры к тому, чтобы ничто не развлекало присяжных, ничто и никто, кроме самого оратора, уже не может способствовать их вниманию. Поэтому оратор должен уметь возбуждать и поддерживать его искусственными приемами. Это одно из важнейших условий успеха, и по своей очевидности оно не требует особых пояснений. Я ограничусь немногими краткими указаниями.

Будьте только внимательны, читатель, и вы скажете, что первый прием применен в предыдущей строке; это – прямое требование внимания от слушателей.

Вы также скажете, что второй прием, столь же простой и естественный, это, конечно... пауза.

Третий прием заключается в употреблении – и надо сказать, что это единственный случай, когда вообще может быть допустимо употребление вставных предложений.

Четвертый прием, как вы уже догадались, не правда ли, проницательный читатель? – это риторическая фигура *apostrophe* – обращение к слушателям с неожиданным вопросом.

Перейдем к пятому приему, после которого останутся еще только два; из них последний, седьмой – самый интересный. Пятый прием есть очень завлекательный, но вместе с тем и... Впрочем, в настоящую минуту мне кажется удобнее обратиться к шестому приему, не менее полезному и, пожалуй, сходному с ним в своем основании; шестой прием основан на одной из наиболее распространенных и чувствительных слабостей человека; нет сомнения, что, задумавшись хотя бы на секунду, всякий мало-мальски сообразительный человек сам укажет его; я даже не знаю, стоит ли прямо называть эту уловку, когда читатель уже издали заметил, что сочинитель просто старается затянуть изложение и поддразнить его любопытство, чтобы обеспечить себе его внимание.

Возвращаясь теперь к пятому приему, мы можем сказать, что внимание слушателей получает толчок, когда оратор неожиданно для них прерывает начатую мысль, – и новый толчок, когда, поговорив о другом, возвращается к недоговоренному ранее.

Седьмой прием, как видели читатели, заключается в том, чтобы заранее намекнуть на то, о чем предстоит говорить впоследствии.

Приведенные правила слишком просты, чтобы требовать многих примеров. Привожу один или два. В середине той речи, содержание которой было подробно разобрано мною в пятой главе, С. А. Андреевский сказал:

"Не сомневаюсь, что Сарра Левина, благодаря своему легкому взгляду на мужчин и чувственному темпераменту, отдавалась своему здоровому супругу с полнейшей для него иллюзией горячей взаимности. Чего бы он мог еще требовать? И в таком заблуждении он прожил, насколько возможно, счастливо в течение почти семнадцати лет. Как вдруг!.."

"Но здесь мы оставим мужа и обратимся к жене".

Такой неожиданный переход от недоконченной мысли к другой возможен, когда угодно и нетрудно усилить его эффект, внушив слушателям ложное ожидание, что оратор намеревается докончить начатую мысль, а отнюдь не оборвать ее. Непосредственное приглашение слушателей к совместному обсуждению дела также оживляет их внимание, например: "Господа присяжные заседатели! Никто не видел происшедшего. Но если бы кто из нас случайно оказался на месте,

что увидел и что услышал бы он?"

По поводу первого из указанных выше приемов нельзя не привести тонкого совета Аристотеля: "Не упустите случая сказать: я просил бы вас обратить внимание на это соображение; оно гораздо важнее для вас, чем для меня".

Блестящий пример *apostrophe*, соединенный с непосредственным доказательством, созданным на глазах у слушателей, встречается в неподражаемой речи о венце. Оратор напоминает, что Эсхин где-то сказал о нем: "Тот, кто попрекает меня знакомством с Александром".— "Я попрекаю тебя знакомством с Александром? — иронически спрашивает Демосфен.— Откуда ты взял, чем заслужил это знакомство? Я никогда не назову тебя ни знакомым Филиппа, ни другом Александра. Если так, то всякого поденщика можно назвать знакомым или другом его хозяина. Где это видано? Ничего подобного не бывает и не может быть. Я называл тебя наемником Филиппа и Александра, как все эти люди и теперь тебя называют. А если не веришь, спроси их, или лучше я сам спрошу их за тебя. Скажите, Афиняне, считаете ли вы Эсхина наемником или знакомым Александра?.. Слышишь, что они говорят?"

Несколько слов обвинителю

Приведенные выше указания относятся, как нетрудно видеть, к обоим ораторам процесса. Мне остается прибавить еще несколько слов к обвинителю и защитнику в отдельности, преимущественно к начинающим.

Обращаюсь к обвинителю.

Не торопитесь начинать речь. Получив слово, не застегивайтесь, не расстегивайтесь, не кашляйте, не пейте воды; поднявшись со стула, помолчите в течение нескольких секунд. Последнее необходимо, ибо, как известно, сторож сейчас будет стараться бесшумно пронести стакан воды к столику защитника и ваши слова пропадут в грохоте его сапожищ. Помолчав, начните с нескольких незначительных слов, чтобы взять естественный тон, а затем, избегая общих вступлений, идите прямо к делу. Если вступление необходимо, постарайтесь, чтобы оно было как можно короче и проще.

Между тем одно из любимых вступлений наших обвинителей – это указание на небывалый ужас преступления. "Даже среди кровавого кошмара наших дней настоящее дело превосходит все то, что мы до сих пор переживали, по коварству замысла и жестокости исполнения". Оратор не может не сознавать, что и в прошлом, и в будущем, и в настоящем есть и будут многие более ужасные преступления. И присяжные знают это. К чему же эти пустые слова?

Умейте сразу овладеть вниманием присяжных. В каждой частице материи заложена живая сила, могущая проявиться различными способами в виде движения, теплоты, света, электрической энергии; то или иное проявление живой силы зависит от внешних причин. Так и присяжные перед началом судебных прений уже таят в себе разнообразные чувства: жалость к пострадавшему и к подсудимому, заботу о самосохранении, желание исполнить свой долг, недовольство против обвинителя или защитника, председателя или подсудимого; рассудок их также колеблется и недоумевает перед отдельными нерешенными вопросами, промелькнувшими в судебном следствии. При таком состоянии духа присяжных первое слово принадлежит прокурору. Стоит ему затронуть чувство, в них назревшее, или мысль, в них зарождающуюся, и они в его власти. Это важное преимущество обвинителя. Умеем ли мы пользоваться им?

"Объявляю судебное следствие оконченным, – произносит председатель, слово принадлежит господину прокурору". Присяжные поворачиваются в сторону обвинителя.

"Господа присяжные заседатели! – говорит оратор, – в ночь на 28 декабря 1908 г. в С.-Петербурге, в доме N 37 по Забалканскому проспекту..."

"Ошибка, господин прокурор! – Войдите в положение присяжных". После долгого судебного следствия, среди общего приподнятого настроения и напряженного ожидания государственный обвинитель торжественно заявляет им то самое, что они узнали в самом начале судебного заседания, с первых строк обвинительного акта. Какое жалкое начало! Не так учили древние. Надо начать с неожиданного или с того, на чем к концу судебного следствия сосредоточилось общее внимание, что представляется таинственным или кажется лучшим ключом к разгадке дела. Присяжные вправе ждать от вас чего-нибудь нового, завлекательного; во всяком случае, чего-нибудь значительного. Может быть, они думают, что вы им не нужны; – надо сразу показать им, что они ошибаются, что вы можете сказать то, до чего они сами не додумались; если у них нет этой наивной уверенности и они ждут от вас разъяснения того, что им непонятно, надо немедленно показать им, что вы не обманете их ожидания. Оратор продолжает:

"Настоящее дело, уже само по себе сложное и трудное, значительно осложнилось тем, что

судебное следствие внесло в него множество, так сказать, наносного материала, различных побочных обстоятельств, которые застилают, если можно так выразиться, его существо".

К чему это, господин прокурор? В большинстве случаев это просто неверно, и побочные обстоятельства нимало не мешают здравомыслящим людям разобрать то, что нужно. Если же дело действительно сложное, то присяжные видят это без вас. Надо показать им, что задача не так трудна, как кажется, а вы подстрекаете их к недоверию и нерешительности.

"С другой стороны, господа присяжные заседатели, то внимание, с которым вы напряженно следили за продолжительным судебным следствием, избавляет меня от необходимости останавливаться на всех подробностях дела, и это существенно облегчает мою задачу. Я не буду поэтому говорить... Я не стану разбирать... Это избавляет меня от необходимости напоминать вам... и т. д."

Лишнее, лишнее, лишнее, господин прокурор. Скажите просто: разберем обстоятельства, установленные судебным следствием. Присяжные увидят, что надо слушать.

Скажите точно, в чем обвиняете подсудимого, определите точно, о чем вам приходится спорить, установите твердо и отчетливо нужные вам факты.

Будьте разборчивы в средствах. Помните, что на высоком положении вашем требуется нечто большее, чем только законность и благопристойность; требуется некоторое великодушие, некоторое величие духа.

Мы часто слышим на суде такие обращения: "Господа присяжные, вы должны убрать этих людей из вашей округи. Вам житья не будет, если такие молодцы будут гулять на свободе. Ведь нельзя вам по целым ночам ходить у себя по двору да караулить воров и поджигателей; ведь одно из двух: или честные люди имеют право жить спокойно, или грабители и разбойники. Кому место в тюрьме, как не преступникам? Вы, конечно, можете выпустить их на волю, но тогда сами приготовьтесь идти по миру со своими ребятишками; тогда ждите к себе гостей". Защитник может назвать это запугиванием; и действительно, если это говорится потому, что против подсудимых нет улик, это запугивание, то есть непозволительное, постыдное злоупотребление словом со стороны обвинителя; если оно проходит безнаказанно, стыд защитнику и председателю, забывшим о своих обязанностях. Но если подсудимые изобличены судебным следствием, если прокурор может по совести сказать, что он доказал их виновность, тогда его слова – законный и справедливый призыв к здравому рассудку и благоразумию присяжных: ничего предосудительного в них нет.

Припоминаю более тонкий случай, дело об изнасиловании замужней женщины; обвинение было основано на объяснениях потерпевшей и на косвенных уликах. Обвинитель, между прочим, сказал присяжным, что, оправдав подсудимого, они тем самым бросят позорное пятно на обиженную женщину и внесут раздор в семью: признание ее добровольной измены будет постоянным источником попреков, а может быть, и жестокостей со стороны оскорбленного мужа. Довод для уездных присяжных, конечно, сильный. По существу вопроса этот пример вполне сходен с предыдущим, и логически нет возможности доказать, что в первом случае можно было говорить об указанных последствиях оправдания, а во втором – нельзя. Но строгий оратор почувствовал бы это. Спросите любого прокурора, допускает ли он запрашивание у присяжных, иначе говоря, торг и переторжку с защитником. Он решительно скажет: нет. А я помню, что, будучи прокурором, на вопрос товарища, можно ли поставить обвинение в предумышленном убийстве, мне не раз приходилось ответить: конечно, поставьте; перейти к другому обвинению всегда можно. Это очень похоже на искусственное повышение обвинения.

На один день назначено три дела: мелкая кража, сомнительный грабеж и убийство на косвенных уликах; убийство разбирается последним. В двух первых речах товарища прокурора заметна крайняя осторожность при оценке доказательств и самое благожелательное отношение

к подсудимым; он указывает присяжным все законные способы к тому, чтобы смягчить их ответственность, в сомнительном деле дает понять, что заранее преклоняется перед оправданием, напоминает о снисхождении; словом, удивительно добрый прокурор. Суд переходит к делу об убийстве. Перед присяжными тот же товарищ прокурора, но ни на судебном следствии, ни в обвинительной речи нет и следа прежней осторожности и снисходительности. Чем объяснить эту перемену? Конечно, более важное дело, естественно, вызывает и большее напряжение обвинения, но в предшествовавшем мягкосердечии была и доля заблаговременной *captationis benevolentiae* [*\(181\)](#) . Надо, впрочем, сказать, что присяжные насквозь видят это маленькое коварство и относятся к нему с благодушной иронией.

Аристотель говорит, что сильнейшее средство убеждения заключается в личном благородстве оратора. Обаяние личности не есть, конечно, ни доказательство, ни убеждение; это, в сущности, обольщение, подкуп слушателей; но мысль Аристотеля безусловно верна в том смысле, что человек, не внушающий уважения, не может рассчитывать на доверие.

Никогда не выказывайте личного раздражения против подсудимого. Эта обязанность обвинителя не всегда сознается у нас. Молодой карманник обвинялся по 2 ч. 1655 ст. Уложения о наказаниях после шести или семи краж; товарищ прокурора сказал: "Я хотя человек совершенно не жестокий, но тип обвиняемого для меня настолько несимпатичен, что я жалею, что он не достиг совершеннолетия и что поэтому суд лишен возможности сделать соответственную отметку в его формуляре", то есть лишить его особых прав и возможности хотя бы временно пожить честным заработком. Обвинитель был, несомненно, прав в оценке подсудимого: это был погибший человек. Но при всем уважении к правдивости молодого товарища прокурора я не могу допустить, чтобы он был на самом деле огорчен тем, что не ему пришлось доконать беднягу. А что касается жестокости или мягкосердечия обвинителя, его сочувствия или неприязни к подсудимому, то какое дело до этого присяжным и суду? В другой раз мне пришлось выслушать такую фразу: "Современная наука указывает на пожизненное заключение как на лучшее средство охраны от этих врагов общества; это правило, к глубокому моему сожалению, еще не вошло в закон". В этих словах нет личного озлобления, но им все-таки не место на суде. Сравните с этим вступление обвинительной речи по делу ла Поммере: "Messieurs les jures. En me levant pour soutenir et pour developper cette redoutable accusation, je ne peux pas, je ne veux pas me defendre d'une grande et humaine tristesse..."

Je sens toute la grandeur et la gravite du devoir qui m'est impose et vous me croirez si j'affirme que j'aurais souhaite de toute mon ame trouver un innocent la ou je ne puis voir qu'un coupable" [*\(182\)](#) . Какое достоинство, какое благородство в этих немногих словах!

Не упоминайте о неуместности снисхождения к подсудимому. Избегайте этого, между прочим, и потому, что это верный признак слабой речи; сильное обвинение не нуждается в таком предостережении. Я слышал такие слова в устах товарища прокурора: "Не знаю, возможно ли оказывать какую бы то ни было милость негодьям, грабителям и разбойникам?"

Ни один из трех подсудимых по этому делу ранее не судился, все жили честным трудом, и происшествие, названное в обвинительном акте разбоем, было сомнительного свойства.

Никогда не острите. Никогда не позволяйте себе усмешки или улыбки. Это правило безусловно обязательно и для защитника.

Последнее, может быть, важнейшее из всех указаний: никогда не говорите, что вы уверены в виновности подсудимого. Присяжные могут поверить вашей убежденности, а вы можете ошибаться. Если вам кажется, что в этом случае ошибаюсь я, загляните поглубже к себе в совесть.

Подсудимый обвинялся по 1449 ст. Уложения о наказаниях. Он отрицал свою виновность; улики заключались в следующем: (1) его сапоги подходили к следам, оставшимся на месте

убийства; (2) у него были найдены мокрая куртка и мокрые сапоги, тогда как погода была сухая; (3) он был во вражде с матерью и один раз высказал ей угрозу убийством; (4) его объяснения были сбивчивы и алиби не подтвердилось.

Разобрав эти обстоятельства, товарищ прокурора сказал присяжным: "Я глубоко верю, я вполне убежден, что несчастная старуха была убита ее собственным сыном; здесь нет прямых доказательств, но здесь тысячи косвенных улик; они сгруппированы в таком количестве, что виновность подсудимого вполне доказана, вполне для нас очевидна!" Это было сказано при обвинении, грозившем бессрочной каторгой, сказано государственным обвинителем. Что если бы защитник захотел воспользоваться этой неосторожностью? "Вы утверждаете, господин прокурор, что вы безусловно убеждены в виновности подсудимого, что против него есть тысячи улик. Вы указали три или четыре. Укажите хоть десять, хоть пять, хоть три, хоть две – и я отказываюсь от защиты". Не хотел бы я быть в положении прокурора в такую минуту. А что если после такого обвинения и ответа: да, виновен – у обвинителя шевельнется сомнение в справедливости и решения присяжных? Куда уйти ему от себя?

Как закончить обвинительную речь? Только не говорите, что "поддерживаете обвинение в пределах обвинительного акта". Присяжные уже знают это. Если найдется счастливый афоризм или недлинный период, удачно выражающий вашу основную мысль или общее настроение зала, тем лучше; если нет, скажите просто, как говорили древние греки: "Я сказал, что считал нужным, вы знаете дело, решайте".

Несколько слов защитнику

"Ваше слово, господин защитник".

"Господа присяжные заседатели! Господин прокурор сказал вам..."

Есть от чего в отчаяние прийти! Ведь присяжные только что выслушали прокурора! Вам надо открыть им то, чего они еще не знают, поразить их неожиданной яркой мыслью, увлечь их сразу совсем в другую сторону. И только после этого, мимоходом, опрокинуть доводы противника. Покажите им, что вы считаетесь не с товарищем прокурора, а с фактами дела.

Повторив сказанное обвинителем, оратор продолжает:

"Я, господа присяжные заседатели, не согласен с господином прокурором. Я ничего подозрительного в поведении подсудимого не вижу. Я полагаю, что вовсе не так невозможно, не так нелепо объяснение подсудимого".

Помилосердуйте, господин защитник! Если бы вы были согласны с прокурором, вас бы здесь не было. Ведь присяжные уже десять, двадцать раз слышали эти самые слова с вашего места от других защитников. Поймите, что решение дела зависит не от вашего мнения, а от вашей защиты. Возьмитесь за факты, толкуйте, объясняйте присяжным подсудимого. А если вы не в состоянии сдвинуться с места, не ухватившись за прокурорские фалды, поступайте к прокурору в канцелярию и дайте подсудимому самому сказать присяжным что придется. Хотя бы он запнулся на первом слове, он ничего не потеряет от вашего отсутствия.

Что значит защитник? Простое слово с определенным значением. Судебная действительность, однако, расширила его смысл. Одни вместо защитники говорят – потатчики, другие – укрыватели. Каюсь, мне не раз приходилось говорить: губители подсудимых. Может быть, эти отзывы несправедливы, может быть, односторонни? Интересно бы знать впечатление тех, к кому обращаются защитительные речи. Послушаем присяжных заседателей:

"Обвинению много помогали защитники".

"Сначала набрасываются на прокурора и следствие, доказывая, что ничего, решительно ничего ими не установлено: ни самого преступления, ни подробностей его. Прокурор выстроил карточный домик; коснитесь его слегка, чуть-чуть, и он разлетится. Но сам защитник карточного домика не трогал и, как он рассыпается, не показывал, предоставляя присяжным вообразить себе такое касательство и рассыпание, дойти до него собственным умом. В заключение, должно быть, на случай недостатка в них необходимой сообразительности, он просил нас, присяжных заседателей, проникнуться чувством жалости к его "клиенту", не забывать его молодости или стесненного положения и дать возможное снисхождение".

"Таким образом, заключительная часть защитительных речей почти всегда шла вразрез с их началом, подрывая к нему всякое доверие. Естественно, что при такой архитектуре этих речей даже жалостливые присяжные заседатели, склонные развешивать уши перед защитниками, убеждаются, что в пользу подсудимого ничего сказать нельзя" [*\(183\)](#).

Слушая наших молодых защитников по делам воров-рецидивистов, я часто спрашивал себя, что может вертеться в голове какого-нибудь Васьки Копченого или Мишки Косого во время пылкой речи, произносимой в его защиту. Копченый судится за шестую кражу; знает, что еще раз шесть "дело" благополучно сходило ему с рук; его задержали у взломанной кассы с полным набором свежих инструментов лучшей американской работы. Юный защитник с искренней верой в свои слова убеждает присяжных, что подсудимый есть жертва социальных условий, что,

будучи выслан из Петербурга в г. Режицу, он не мог найти себе там подходящей работы (как это верно! какая "работа" для Копченого в уездном захолустье?), что, как справедливо заметил прокурор, прежняя судимость не может служить уликой, но с точки зрения защиты она, напротив того, является некоторым основанием для оправдания, ибо до сих пор общество только наказывало подсудимого, и, может быть, на этот раз оправдательный приговор навсегда обратит его на честный путь, и что, наконец, строго говоря, покушение можно рассматривать почти как добровольно оставленное, ибо, когда хозяин вошел в контору, он видел, как подсудимый сделал движение, чтобы отойти от кассы, из которой еще ничего взять не успел; если бы хозяин вошел не в эту минуту, а минутой позднее, он, по всей вероятности, вовсе не застал бы подсудимого в своей конторе (как это верно!), а покушение добровольно оставленное есть с точки зрения закона деяние безразличное, и т. д., и т. д. ...Быстро, красиво, умиленно говорит защитник. Копченый слушает; он знает заранее многое из того, что будет сказано,— слышал не раз; но лицо не выдает его мыслей. Что он думает? – спрашивал я себя и не находил ответа. Как-то раз судебный пристав передал мне от одного из присяжных заседателей вырезку из газеты. В напечатанной заметке заключалось стихотворение, в котором двое арестантов излагали свою "поэтическую биографию". Она была написана по их поручению товарищем, носившим прозвище "Весельчак". Стихи были очень плохи, но я нашел в них то, чего раньше не мог найти. Устами тюремного поэта двое товарищей передавали свои воспоминания о последнем судебном заседании. Прокурор закончил длинную речь

И, утерши лоб платком,
Сел с судьями он рядком.
Тут защитник наш встает
И такую речь ведет:
"Эх, присяжны господа!
Хоть украли, не беда,
Разберите шгуку эту;
Тут и кражи вовсе нету:
Просто взяли и ушли.
Виноват лишь претендатель,
Он Иуда, он предатель:
Зачем плохо он кладет?
Хоть святого в грех введет.
Они чисты, как вода,
И прошу вас, господа,
Греха на душу не брать,
Невиновных оправдать".

Хромая нищенка обвинялась по 9 ст. и 1 ч. 1451 ст. Уложения о наказаниях. Она бросила своего внебрачного трехнедельного ребенка в отхожее место; на вопрос о виновности подсудимая сказала, что не могла прокормить его, не могла внести за него плату в воспитательный дом, и утверждала, что ребенок сам скатился в яму, а она в испуге убежала. Объяснение это сначала произвело благоприятное впечатление. Защитником был совсем молодой помощник присяжного поверенного. Во время привода к присяге свидетелей к нему пробрался другой молодой человек во фраке с несколько суетливыми движениями.

"Зловещий признак!" – пронеслось у меня в голове.

Когда присяга кончилась, первый защитник заявил суду, что подсудимая просит допустить к ее защите помощника присяжного поверенного N.

Допрос свидетелей сразу выяснил, что подсудимая лгала, что ребенок был брошен в яму

намеренно. Выяснилось еще другое. Эта женщина собирала нищенством от одного до двух рублей в день и более и на эти деньги кормила двух любовников; на своего ребенка у нее не хватало денег. Почти каждый свидетель вносил в дело новую подробность, неблагоприятную для подсудимой; выяснилось, что окружающие ее полунищие женщины готовы были как могли помочь ей в уходе за больным ребенком (он родился обреченным на скорую смерть). Обвинитель почти не задавал вопросов, первый защитник спрашивал очень немного, но второй недаром же явился в суд. Как он сам объяснил в своей речи, он не читал предварительного следствия; естественно, что после каждого показания, невыгодного для подсудимой, он переспрашивал свидетеля, вызывая тем самым настойчивое и по известному психологическому закону более резкое подтверждение удостоверенного факта. Странно сказать, но при всех ужасающих подробностях этого дела в судебном следствии промелькнуло и несколько светлых точек для подсудимой. Были у этой жестокой женщины и добрые человеческие чувства.

Обвинитель говорил немного. Дело казалось уже решенным. Вслед за тем судьям и присяжным пришлось выслушать настоящую защитительную речь. Привожу из нее некоторые отрывки.

"Кто были люди, всего ближе стоявшие к подсудимой? – спросил защитник. – Это были Боричев и Яковлев; оба пользовались теми подаяниями, которые она собирала, бродя по петербургским улицам. До рождения ребенка Боричев обнадеживал ее своей помощью; он говорил, что отправит младенца в деревню, к своему отцу; когда она лежала в больнице с его сыном, он даже не навестил ее; а когда после безумного поступка ее искала полиция, он указал ее на улице людям, следившим за нею, и вместе с ними тащил ее в участок. Как поступил другой близкий человек, тоже живший на ее деньги? Когда она возвращается к нему из больницы с ребенком на руках, не оправившись от родов, больная, неспособная уже ходить за милостыней, он, мужчина, поступает совсем как женщина: он скандалит, он глотает уксусную эссенцию, а потом он гонит ее с ее собственной постели. Вот среди таких людей носила она своего ребенка".

"Она ждала его; она, как все матери, готовилась к его рождению. Вспомните о тех пеленках, которые она просила прислать ей в больницу после родов. На них я призываю ваше великое внимание. Она шила их для своего ребенка. Мы знаем, с какими сладкими и вместе тревожными мечтами делается эта работа. Хорошо, если в эти минуты кругом тепло и уютно, если рядом муж, опора и защита будущей матери. Но когда приходится шить их ночью (днем надо ходить за милостыней), когда это происходит в холоде и нравственном одиночестве, тогда невольно изумляешься, как могла выносить она дитя свое до конца, как устояла перед соблазном избавиться от тягостей материнства, тем соблазном, которому часто поддаются женщины, живущие в тепле и холе! И если бы в одну такую ночь она прекратила существование ребенка в своем чреве, не думаю, чтобы у кого-нибудь поднялась на нее рука. Но она не сделала этого".

"После родов она была перевезена в Калининскую больницу. Там ребенок провел свои первые дни, там, куда страшатся попасть самые падшие из падших. Тяжелое предзнаменование для ребенка!"

"И в самом деле, у него – вы слышали – была наследственная беспощадная болезнь; он умер через три недели. Врач предсказал ей это еще в больнице, предлагал ей остаться там, объясняя, что ребенка похоронят на казенный счет. Казенные похороны не соблазнили ее. У нее был свой угол, свой скарб; она спешит домой. Прокурор сказал вам, что у нее была удобная обстановка, и пояснил, какая: у нее была кровать, платье и будильник. Но когда она вернулась, Яковлев не отдал ей кровати, платье было в ломбарде; остался будильник..."

"В прежнем углу ее не хотели оставить; пришлось искать другой, пришлось кормиться самой и кормить ребенка. Она не хотела пользоваться им, как делают другие нищие, не стала таскать с собою напоказ больное дитя; она любила его, и один бог знает, что перестрадала из-за

него. Уходя побираться, она оставляла его хозяйке, платя за это двадцать пять копеек в день. Это немного, но заработок нищенки уж не такая рента, как кажется прокурору. Больная, усталая, она не умела просить. Она пропускала добрых и сострадательных и обращалась к равнодушным. Не хватало денег на плату за ребенка. Хотела отдать его в воспитательный дом – там не приняли: у нее не было 25 рублей и не было молока в груди..."

"Не успела она отойти от рокового места, ее рвануло назад – спасти ребенка, но она увидела околоточного надзирателя, и страх, безумный, но естественный, удержал ее спасительный порыв".

"Она нищая, жалкая нищая и протягивает к вам теперь за милостью свою руку; не положите в нее камень".

Все это было сказано искренне, со сдержанным, но внятными для присяжных волнением, с разумной осторожностью в толковании фактов; защитник ничего не навязывал присяжным и ни о чем их не просил.

Впечатление присяжных мне неизвестно; но когда защитник кончил, товарищ председателя шепнул мне: "Превосходно"! Про себя могу сказать, что умная и трогательная речь значительно смягчила, почти рассеяла чувства, вызванные во мне судебным следствием. Председатель обратился ко второму защитнику:

"Угодно вам?"

"Я скажу только несколько слов", – ответил тот.

Начало, не предвещавшее добра.

Он говорил несравненно дольше своего товарища, говорил страстно, почти истерично, громко, почти до крика. Речь состояла из общих мест, и следить за нею было настолько трудно, что мы, судьи, многого не поняли. Основная мысль была, однако, выражена ясно: виноваты в преступлении были все, кроме преступницы; судьи и присяжные едва ли не были виновнее всех других; так, по крайней мере, казалось, потому что им приходилось выслушивать неистовые изобличения оратора. Другая отчетливая мысль его заключалась в том, что "на дне", где жила подсудимая, нет понятий о дозволенном и безнравственном и что эта среда вытравила у нее сознание долга и материнскую любовь к детищу. "Этот ребенок был для нее куском сырого больного мяса", – сказал, между прочим, защитник.

Остановитесь над этими последними словами, читатель; примите во внимание, что в них была правда и что они были сказаны защитником.

Речь первого оратора не обязывала прокурора возражать и была сказана так, что обвинитель не стал бы отвечать своему противнику. Но после того, что можно было понять из второй речи, прокурор не мог молчать и, возражая, не мог не высказать присяжным, что после сказанного защитником оправдательный приговор был бы признанием и освящением убийства детей матерями. И того мало: председатель не мог не подтвердить этого присяжным. После первой защитительной речи при всем ужасе дела присяжные могли признать подсудимую невиновной: ребенок был спасен и умер впоследствии не от руки матери; после второй защитительной речи оправдание сделалось нравственно невозможным. Когда присяжные ушли совещаться, один из судей просил защитника подсудимой сказать ее предателю, что ему суждено загнать в тюрьму и каторгу немало народу. Не знаю, были ли переданы эти слова, и на всякий случай повторяю их здесь.

Существует прием защиты, излюбленный способными, но ленивыми людьми. Они записывают всю речь прокурора, отделяют *argumenta ambigua* [*\(184\)](#) и, не касаясь остального, развертывают перед присяжными ряд дешевых побед. Создается интересное, изящное изложение, подкупающее своей наглядной непосредственностью – и совершенно бесплодное. Так можно выиграть только заранее выигранное дело.

Защитительная речь должна быть самостоятельным, законченным целым; то, что подарит оратору его противник, – ее случайным, второстепенным украшением.

Разбиралась тяжелая житейская драма. Молодая девушка, намереваясь отомстить бросившему ее обольстителю, ошиблась и плеснула серной кислотой в лицо другому человеку. Несчастный ослеп, и слепота его оказалась наказанием за такое же обольщение другой девушки. Оба печальных романа были введены в защитительную речь и старательно разработаны оратором без всякой зависимости от того, что можно было ждать от обвинителя, но в соответствующих местах нашлись и возражения прокурору.

"Рябчикова отдалась Бесову, – говорил защитник... – Горизонты кончились, наступила настоящая жизнь, нет... две жизни: одна – ее, другая – того младенца, который только начал давать о себе знать. А Бесов, удовлетворенный сорванными цветками, удовлетворенный победой над невинной девушкой, стал быстро проявлять другое отношение к ней, свидетельствовавшее о тягости, которую он испытывал от этих больше ему не нужных ласк. Господин прокурор говорит, что это свойство мужчин охлаждаться в любви к забеременевшей женщине. Я думаю иначе: свойство честных мужчин – любить забеременевшую подругу больше, нежнее; свойство же таких, как Бесов, – охлаждаться".

"А Рябчикова? Да какое дело Бесову до Рябчиковой? Она не первая обиженная и не последняя попанная..."

"Обвинитель говорит: самосуд! – и указывает на законный способ восстановления своего права – на предъявление иска к Бесову. Хотя господин прокурор по профессии криминалист, но ему известно, что иск предъявляется по месту жительства ответчика. Где же прикажет нам господин прокурор предъявить иск, когда сама власть прокурорская с готовыми полицейскими услугами оказалась бессильной разыскать Бесова для допроса его в качестве свидетеля?"

Эти небольшие отрывки заслуживают внимания: здесь видно, как изящно и значительно вплетаются чужие мысли в изложение основательно обдуманной речи. Точно обвинитель намеренно помогал защитнику, как взрослый, вложивший последние части в недоконченную ребенком складную картинку. Это образец того, что мы назвали выше сотрудничеством участников процесса.

Важнейшее правило защиты заключается в том, чтобы разумно ограничить свою задачу. Спросите себя, что лучше: сказать – я сосчитаю до ста – и пойти не далее десяти или сказать – я сосчитаю тридцать – и тридцать сосчитать. Уступите присяжным все то, что они возьмут и без вас, то есть то, чего требует здравый смысл. Помните, что обвинитель может быть смел, если хочет: он играет в большинстве случаев на свои деньги; защитник обязан быть осторожным: за него расплатится подсудимый. Это правило относится, конечно, к искусству защиты, а не к искусству судебной речи, но нарушение его встречается так часто и приносит столько зла подсудимым, что я не могу не напомнить о нем.

Женщина, жившая восемь лет доверенной прислугой у старушки-вдовы и ее дочери, выждала ухода последней, привела в дом трех других женщин, из которых две были переодеты мужчинами и одна была вооружена ножом; они унесли деньги обезумевшей от ужаса старухи и ценные вещи на 2 тысячи рублей и затем разделили их между собой, причем зачинщица получила наибольшую часть. Все они сознались на предварительном следствии и подтвердили свои объяснения на суде, отрицая только, что у них был нож. Защитник главной виновницы сказал, что она должна быть наказана, и, пользуясь отсутствием главной свидетельницы – старухи, предложил присяжным отвергнуть признаки разбоя и признать простой грабеж; трое других защитников настаивали на совершенном оправдании прочих подсудимых. По особо благоприятным обстоятельствам это требование не было ошибкой: 1) в составе присяжных были люди бестолковые и снисходительные, 2) отталкивающая фигура зачинщицы выступала в таком

ярком освещении, что соучастницы совершенно бледнели перед ней, 3) все подсудимые пробыли около двух лет в предварительном заключении. Присяжные признали виновной только главную преступницу и только в простом грабеже без соучастия. Вместо пятнадцати лет каторги за несомненный возмутительный разбой женщина отделалась коротким заключением в тюрьме с зачетом предварительного ареста. Казалось бы, блестящий успех? Как бы ни так. Защитник должен был настаивать на оправдании, и, если бы он догадался сделать это, вместо того чтобы самому говорить о заслуженном наказании, присяжные оправдали бы Агафонову, как оправдали ее соучастниц благодаря искусству их защитников.

Вы сомневаетесь? Таково, однако, было единогласное убеждение этих трех опытных людей. Они жестоко упрекали своего товарища, загнавшего, по их мнению, в тюрьму женщину, перед которой открывалась свобода. Логический вывод из этих попреков тот, что, если бы Агафонову защищал любой из этих трех защитников, он настаивал бы на оправдании. Оставляю в стороне неизбежное возражение прокурора, неизбежное разъяснение в напутствии председателя и спрашиваю читателя: что сказали бы присяжные, прослушавшие судебное следствие о неслыханном, предательском разбое, узнав от защитника, что все это было невинной забавой, достойной поощрения благодушными словами: нет, не виновна? Этот случай кажется мне поучительным для многих и многих.

Не позволяйте себе высказывать вашего личного убеждения в невинности подсудимого: не говорите даже о своих сомнениях. "Я хотел бы душу свою вложить в свои слова, чтобы сообщить вам то мучительное сомнение, то колебание, в котором я нахожусь",— говорил Спасович, защищая Емельянова. Это можно сказать искренне и можно сказать для того, чтобы внушить присяжным сомнение, которого оратор на самом деле не испытывает. Это прием тех, кто сознает, что дело непрочное и противник всегда может изобличить его.

Никогда не требуйте оправдания. Не упоминайте вовсе этого слова. В нем звучит посягательство на свободу убеждения присяжных. Докажите, что виновность не доказана или что справедливость требует оправдания, но не говорите этого. Иной защитник возразит, что вовсе не хочет оказывать давления на присяжных, когда просит об оправдании. Возможно. Но впечатление получается как раз противоположное, а присяжные, как все люди, судят не по тому, что есть в действительности, а по тому, что представляется им действительностью.

Не предсказывайте оправдания: "Я более чем уверен, что оправдательный приговор вами уже произнесен", "Смело вверяю его судьбу в ваши руки, твердо уверенный, что иного приговора, как тот, которого ждет от вас подсудимый, здесь быть не может" и т. п. Сколько сомнения, сколько незрелого задора в этих выражениях! Если вы не свободны от этой ошибки, читатель, спросите себя, сколько раз после звонко провозглашенной уверенности в победе вы слышали от присяжных роковое: да, виновен.

Если подсудимый лжет, надо сказать несколько слов в его извинение. Но это заступничество не может загладить неприятного впечатления. Если он лжет целиком или хотя бы наполовину, у него не один противник, а целых восемнадцать: обвинитель, трое судей и четырнадцать присяжных. Повторяю, скажите ему, чтобы он не лгал.

Если прокурор не был безупречен в своей речи по отношению к подсудимому или к вам, будьте безукоризненны по отношению к нему. Этого требует ваше достоинство, и это подчеркивает его ошибку.

* * *

Я заметил, что многие читатели любят запоминать последнюю страницу книги; обращаю поэтому свой последний совет и к обвинителю, и к защитнику.

Прежде чем говорить на суде, скажите вашу речь во вполне законченном виде перед "потешными" присяжными. Нет нужды, чтобы их было непременно двенадцать; довольно трех, даже двух, но важен выбор: посадите перед собой вашу матушку, брата-гимназистика, няню или кухарку, денщика или дворника. Сказать речь перед такими судьями необыкновенно трудно. Если вы этого не испытали, то и представить себе не можете, как это мудрено. Такое упражнение, пожалуй, покажется вам смешным; испытайте и вы оцените его пользу. Если ваша речь окажется хороша, то есть будет понятна и убедительна перед "потешными", то и настоящие присяжные будут в вашей власти.

Пороховщиков П.С.

Примечания

*(1) Ораторами делаются (лат.).

*(2) Страшно сказать (лат.).

*(3) Не писанный, но естественный закон (лат.).

*(4) Импровизация, тщательно подготовленная (фр.).

*(5) Инциденты судебного заседания (фр.).

*(6) Спутник (лат.).

*(7) Слова одного из персонажей трагедии Шекспира "Гамлет" – Полония, обращенные им к своему сыну Лаэрту:

Но главное: будь верен сам себе;

Тогда как вслед за днем бывает ночь,

Ты не изменишь и другим.

(пер. М. А. Лозинского)"

*(8) Изгнание из Отечества (лат.).

*(9) Платон мне друг, но истина еще больший друг (лат).

*(10) Ищите женщину (фр.).

*(11) Сидячая магистратура – (зд.) корпорация чиновников, занимающих те или иные канцелярские посты, в том числе чиновников, отправляющих функции суда.

*(12) Отрывки из следующих поэтических произведений: первое – А. С. Пушкин "Полтава", второе – А. С. Пушкин "Анджело", третье – А. С. Грибоедов "Горе от ума" (слова Фамусова).

*(13) Свидетельство о бедности (лат.).

*(14) Де Бетс, Герман. "Искусство говорить на суде". Перевод с французского В. В. Быховского. М., 1896.

*(15) Слова из защитительной речи С. А. Андреевского по делу Иванова.

*(16) Обдумать надо мысль, а лишь потом писать!

Пока неясно вам, что вы сказать хотите,

Простых и точных слов напрасно не ищите;

Но если замысел у вас в уме готов,

Вам нужные слова придут на первый зов.

(Буало. "Поэтическое искусство").

*(17) Меб – фантастический персонаж английских народных поверий, повелительница фей и эльфов. Согласно поверью, она помогала рождению снов.

*(18) Грациано – персонаж комедии Шекспира "Венецианский купец".

*(19) Нет ничего, о чем бы сам читатель не мог подумать (нем.).

*(20) Дело офицера французской армии Эмиля де ла Ронсьера, преданного суду по обвинению в покушении на изнасилование дочери генерала Мореля Марии Морель.

*(21) Боже сохрани! Я молю Бога! Господи, пощади мою душу! (англ.).

*(22) Прокурором по делу о Станиславе и Эмиле Янсенах, обвиняемых во ввозе в Россию фальшивых кредитных билетов, и Гермении Акар, обвиняемой в выпуске и обращении таких билетов, выступал А. Ф. Кони. Дело рассматривалось 25-26 апреля 1870 г. в Петербургском окружном суде с участием присяжных заседателей.

*(23) Whately . elements of rhetoric. london, 1894. (Примеч. авт.).

*(24) Обыкновенными словами можно высказать необыкновенные вещи (нем.).

*(25) Лучшее – враг хорошего (фр.).

*(26) Любая речь имеет свои особенности (фр.).

*(27) Достойным сожаления, нищим кажется мне тот, кто не может спокойно потерять ни единого слова (лат).

*(28) Я люблю язык простой и наивный, краткий и сжатый, не столько нежный и отделанный, как сильный и резкий (фр.).

*(29) В известных обстоятельствах поразительно особое значение слов (лат.).

*(30) Начало XV главы произведения Л. Н. Толстого "Детство".

*(31) Слова из Библии.

*(32) Имеется в виду заключительные слова речи А. Ф. Кони на торжественном заседании Академии наук 26 мая 1899 г.

*(33) Имеется в виду А. Ф. Кони.

*(34) В 1911 году эта книга вышла в Петербурге в переводе П. С. Пороховщикова под заглавием "Школа адвокатуры".

*(35) Слова из защитительной речи С. А. Андреевского по делу братьев Келеш.

*(36) У нас есть очень хорошая книга Д. Коровякова "Искусство выразительного чтения". СПб., 1904. (Примеч. авт.).

*(37) ...своей речью сделает дело очевидным, представит его образно (Цицерон).

*(38) Четверостишие из поэмы А. С. Пушкина "Медный всадник"

*(39) Отрывок из стихотворения А. С. Пушкина "Воспоминанье".

*(40) Отрывок из поэмы А. С. Пушкина "Руслан и Людмила".

*(41) Отрывок из поэмы А. С. Пушкина "Полтава".

*(42) Отрывок из воззвания В. Гюго к армии 2 декабря 1851 г.

*(43) Имеется в виду дело редактора-издателя газеты "Гамелиц" А. О. Цедербаума, обвинявшегося в оскорблении в письме. В защитительной речи С. А. Андреевский показал антисемитскую сущность обвинения Лютостанского. Суд оправдал Цедербаума.

*(44) Этот и следующие отрывки из поэмы А. С. Пушкина "Полтава".

*(45) Первая сцена трагедии В. Шекспира "Генрих VI".

*(46) Эта книжка была напечатана в Англии в XVIII веке; подлинник давно исчез с рынка, но существует немецкий перевод, напечатанный в Тюбингене в 1872 году, изд. Г. Лауппа. (Примеч. авт.)

*(47) Персонажи произведения М. Ю. Лермонтова "Демон".

*(48) Слова Мазепы из поэмы А. С. Пушкина "Полтава".

*(49) Драма В. Гюго "Король забавляется".

*(50) Дело по обвинению офицера Генерального штаба французской армии капитана Альфреда Дрейфуса в государственной измене.

*(51) Уступка, позволение, согласие (лат.).

*(52) Я простой человек, я родился на земле и таких высоких вещей не знаю. Одно знаю, что вы уже забыли: знаю, где правда и где ложь, что добро и что зло (нем.).

*(53) И Адам не знал этого, живя в раю (нем.).

*(54) Приведение чьих-либо слов, введение чужой речи, цитирование (лат.).

*(55) Отрывок из защитительной речи С. А. Андреевского по делу Зайцева.

*(56) Отрывок из речи С. А. Андреевского на процессе по делу Таганрогской таможни (12 февраля – 8 марта 1885 г.).

*(57) Строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова "Спор".

*(58) Отрывок из поэмы А. С. Пушкина "Полтава".

*(59) Драматическая поэма Байрона "Преображенный урод".

*(60) Желание – отец мысли (нем.).

*(61) Твое желание, Гарри, было отцом этой мысли (англ.).

*(62) Сладка месть, особенно для женщин (англ.).

*(63) Мстительность в характере женщины (фр.).

*(64) Все разумное давно передумано; надо только постараться подумать еще раз (нем.).

*(65) Мне пришлось обвинять одного мастерового по ст. 1489 и 2 прим. к 1496 ст. Уложения за жестокое избиение его жены. На суде и эта последняя, и ее мать всячески старались спасти подсудимого; он, действительно, был хорошим работником и заботливым мужем и отцом; однако поступок был безобразный: пьяный, он опрокинул женщину на сиденье пролетки извозчика, колотил ее по голове и избил жестоко. Присяжные обвинили, и суд приговорил его к отдаче в исправительно-арестантское отделение. Когда председательствующий огласил резолюцию, подсудимый остался спокойным, но обе женщины подняли вопль: куда же мы-то теперь денемся с голодными ребятами? (Примеч. авт.).

*(66) Подготовка (лат.).

*(67) Роль прокурора на суде по уголовным делам. "Журнал Министерства юстиции", 1896 г., N 2. (Примеч. авт.)

*(68) Цицерон . "Об Изобретении" (лат.).

*(69) N. W. Sibley . criminal appeal and evidence, London, 1908. (Примеч. авт.)

*(70) Книга эта была переведена на русский язык под заглавием "Теория косвенных улик", но ее давно нет в продаже. Перевод был, по-видимому, сокращенный; пятое английское издание (1902 г.) представляет объемистый том в 400 страниц. Нельзя не пожелать издания нового русского перевода. (Примеч. авт.)

*(71) Sir Edw. C larke. speeches. London, 1907. (Примеч. авт.)

*(72) "О казнях" (лат.).

*(73) Сомкнутый строй пехоты в войске Александра Македонского. Строй насчитывал 16 шеренг по 1024 человека в каждой.

*(74) Тяжело вооруженные воины, составлявшие фаланги.

*(75) Лежа у ней на груди, уже не раз и стихи сочинял я

И на упругом плече осторожным движением пальцев

Слоги стихов втихомолку отсчитывал (нем.).

*(76) Этот человек-дьявол всегда не доволен (фр.).

*(77) Искусство указывает только, где искать то, что нужно найти; все дело в природном уме и в старании, напряженном внимании, размышлении, зоркости, усидчивости, труде

*(78) Сергеич перефразирует известное латинское выражение (Quot homines, tot sententiae – сколько людей, столько мнений) – сколько людей, столько процессов.

*(79) Произнесена Цицероном в 80 г. до н. э.

*(80) О человеке можно судить по мелочам его поведения (лат.).

*(81) Природа, от своих бесчисленных щедрот,

Особые черты всем людям раздает,

Но подмечает их по взгляду, по движеньям,

Лишь тот, кто наделен поэта острым зреньем.

(Буало. "Поэтическое искусство")

*(82) Прелат – в католической и англиканской церкви – титул, присваиваемый лицам, занимающим высшие должности в церковной иерархии. Мальтийский крест – отличительный знак духовно-рыцарского мальтийского ордена.

*(83) Handschriftlicher Nachlass. neue Paralipomena, Appendix F. (Примеч. авт.)

*(84) Преступление , внушенное страстью (фр.).

*(85) De Franqueville, Systeme judiciaire de la Gr. Bretagne, II, 459. (Примеч. авт.)

- *(86) Гиллерсон А. И. Защитительные речи. (Примеч. авт.)
- *(87) Из ничего не выйдет ничего (лат.).
- *(88) Делает вид, что сам носил во чреве (лат.).
- *(89) Ст. 128 Уложения о наказаниях. (Примеч. авт.)
- *(90) Убийство Розенкранца и Гильденштерна в трагедии представляется мне необъяснимым. (Примеч. авт.)
- *(91) Life of John, Lord Campbell, by the hon. Mrs Hardcastle, London, 1881. (Примеч. авт.)
- *(92) Enrico Ferri. Die positive criminalistische Schule in Italien, 1902. (Примеч. авт.)
- *(93) Статья Л. Н. Толстого "О Шекспире и о драме"
- *(94) Разговоры Гете, перевод Д. В. Аверкиева, СПб., 1905. (Примеч. авт.)
- *(95) См.: А. Ф. Кони. Судебные речи, СПб., 1905. (Примеч. авт.)
- *(96) П. Сергеич излагает содержание дела Андреева, обвинявшегося в убийстве Сарры Левиной.
- *(97) С раскрытой книгой, без подготовки (фр.).
- *(98) Расположение, размещение, правильное распределение (лат.).
- *(99) Судебный вестник, 1876 г. (Примеч. авт.)
- *(100) Достаточно (лат.).
- *(101) Верные слова суть вещи (англ.).
- *(102) Sir G. Stephen. History of the Criminal Law of England. 1883, I, 261. (Примеч. авт.)
- *(103) См. А. М. Бобрищев-Пушкин. Эмпирические законы деятельности русского суда присяжных. (Примеч. авт.)
- *(104) В случае сомнения – воздержись (лат.).
- *(105) Первая добродетель – избегать пороков (лат.).
- *(106) Смешное, выставить в смешном виде (фр.).
- *(107) Этот пример также взят из книги "Illustrations in Advocacy". (Примеч. авт.).
- *(108) Reminiscences of Sir Henry Hawkins. London, 1904. (Примеч. авт.)
- *(109) Д-р Чиж. "Вестник судебной медицины", 1889 г., июнь. (Примеч. авт.).
- *(110) Хвалящий; доброжелательный свидетель(лат.).
- *(111) Язон – в древнегреческой мифологии один из героев, возглавивших поход аргонавтов за Золотым Руном в Колхиду.
- *(112) Из поэмы А. С. Пушкина "Братья-разбойники".
- *(113) Д-р П. И. Якоби. Религиозно-психические эпидемии. "Вестник Европы", октябрь и ноябрь 1903 г. (Примеч. авт.).
- *(114) Эта ошибка была сделана прокуратурой и гражданским истцом в деле полицмейстера Ионина при апелляционном разбирательстве в Сенате в 1909 году; подсудимый был оправдан в убийстве благодаря экспертизе проф. Косоротова. (Примеч. авт.).
- *(115) Имеется в виду А. Ф. Кони.
- *(116) Примеры критического разбора односторонней психиатрической экспертизы можно найти в двух статьях, напечатанных в "Журнале Министерства юстиции": "Психиатрическая экспертиза в уголовном суде" (1904 г., январь) и "Прокурорские заметки о психиатрической экспертизе" (1906 г., сентябрь). (Примеч. авт.).
- *(117) Доказательства правды всегда существуют на ее стороне (лат.).
- *(118) Размышляйте, размышляйте еще, всегда размышляйте (фр.).
- *(119) Lid. V, VII. Квинтилиан высказывает эти мысли по поводу гражданских тяжб, но его указания вполне применимы и к уголовным делам. (Примеч. авт.).
- *(120) Речь К. К. Арсеньева в защиту Данилова по делу о святотатстве в Александро-Невской лавре. "Судебный вестник", 1867. (Примеч. авт.).

*(121) Кто раньше берет слово, тот у всех вызывает желание противоречить (лат.).

*(122) Неясный, двусмысленный аргумент (лат.).

*(123) Золотов был оправдан в приписываемом ему преступлении, и в моих замечаниях по поводу этого процесса нет и никто не должен видеть попыток доказывать его виновность. Это только диалектические упражнения по поводу обстоятельств, бывших предметом гласного судебного разбирательства и составляющих теперь достояние каждого, ни на йоту больше. (Примеч. авт.).

*(124) *Philosophy of Rhetoric*. (Примеч. авт.).

*(125) Удар из милости; смертельный удар, кладущий конец мучениям (фр.).

*(126) Произнесена по т. н. делу о Ктесифонте. Относится к числу лучших произведений ораторского искусства Греции.

*(127) Опровержение (лат.).

*(128) Пниксхолм – в Древних Афинах, где проводились народные собрания, на которых решались важнейшие политические вопросы.

*(129) Дежурные члены афинского совета.

*(130) Это предложение было сделано им в форме альтернативы: если мы теперь предпочтем помнить старые обиды, полученные от фиванцев, мы сделаем именно то, о чем мечтает Филипп; а если вы послушаетесь меня, я рассею опасность, угрожающую государству. (Примеч. авт.).

*(131) (Зд.) Бесплодная мысль, лишенная всякого основания (лат.).

*(132) Ср. *Arist. Rhet.*, I, 2, II, 24. "Риторика" Аристотеля была переведена на русский язык Н. Платоновой, но книги в продаже нет; нельзя не пожелать второго издания. (Примеч. авт.).

*(133) "Одиссея", IV, 204. (Примеч. авт.).

*(134) Fritz Friedmann. *Was ich eriehte*. Berlin, 1908. В. I. (Примеч. авт.).

*(135) Заискивание, снискание расположения судей (лат.).

*(136) Sir. G. Stephen. *The Juryman's Guide*. London, 1867. (Примеч. авт.).

*(137) Сочинения, 1894, т. VI, с. 179. (Примеч. авт.).

*(138) *De oratore*, II, 42. (Примеч. авт.).

*(139) Чем сильнее огонь вдохновения у судьи, тем большего успеха он достигает (лат.).

*(140) Н. Н. О.– Заметки присяжного заседателя, "Исторический вестник" 1898 г., октябрь, с. 191, 206, 207. Слова автора приведены сокращенно, но мысль передана его выражениями. (Примеч. авт.).

*(141) Гелиасты – члены гелиэи, одного из высших органов власти в Древних Афинах.

*(142) Германские племена.

*(143) Закон об оскорблении величества (лат.).

*(144) Мятажники (лат.).

*(145) Не судебное дело, но пламя, взрыв негодования (лат.).

*(146) Площадь в городах Древнего Рима, на которой происходили собрания.

*(147) Площадка, помост для выступления ораторов.

*(148) В римском праве – обращение по уголовным делам, рассмотренным магистратом, к народному собранию.

*(149) *De oratore*, II, 48. (Примеч. авт.).

*(150) *De institutione oratoria*, VI, 2. (Примеч. авт.).

*(151) Имеется в виду дело Кронеберга, обвинявшегося в истязании малолетней дочери.

*(152) "Дневник писателя" за март 1876 г., гл. II. (Примеч. авт.).

*(153) Я воровка, лгунья (фр.).

*(154) Разбор защиты по делу Кронеберга есть также у Салтыкова-Щедрина в

"Недоконченных беседах", гл. v. (Примеч. авт.).

*(155) Верю , потому что нелепо (лат.).

*(156) В lair. lectures on rhetoric and belles lettres. london, 1810. (Примеч. авт.).

*(157) Соответственно (лат.).

*(158) Что же останется у оратора, – спрашивает он, – если в суде ему будет воспрещен пафос сострадания и ему подобные, в политике – пафос любви к Отечеству, в духовном красноречии – пафос религиозного восторга? Даже если заменить греческое слово патетическое немецким *Leidenschaftliches*, то и тогда неверное понимание этого выражения могло бы явиться только при желании неверно понимать его. Что оратор не должен возбуждать грубых и низменных страстей, это следует, помимо указаний риторики, уже из требований нравственности и, разумеется, явствует само собой из конечной цели всякого красноречия, ибо эта цель есть добро; но существуют и высшие страсти, так называемые благородные чувства, как, например, любовь или, при известных условиях, ненависть. Призыв к этим чувствам не может быть воспрещен ни духовному, ни светскому оратору (W. Wackernagel. *Poetik, Rhetorik und Stilistik*. Halle, 1873). (Примеч. авт.).

*(159) Ни один разумный человек не наказывает потому, что был совершен проступок, но чтобы не совершали его впредь (лат.).

*(160) *Philosophy of Rhetoric*, I, гл . vii, 4. (Примеч. авт.)

*(161) "Gerichtliche Redekunst", S. 114. (Примеч . авт.).

*(162) *Handbuch der Vertheidigung*. S. 338, 339. (Примеч . авт.).

*(163) *A History of the criminal Law of England*. 1883, I, 454. (Примеч . авт.).

*(164) *Hints on Advocacy*, 27, 28. В воспоминаниях верховного судьи Г. Гокинса, лорда Брамптона, есть интересный рассказ о защите по делу о зверском убийстве жены. Автор не скрывает, что выиграл дело самой беззастенчивой игрой на чувствах присяжных. *The Remimiscences of sir Henry Hawkins*, с. 45-49. (Примеч. авт.).

*(165) Отрывок из стихотворения И. С. Никитина "Вырыта заступом яма глубокая".

*(166) В своей конурке Гретхен чаёт

Она в тоске, она одна,

Она души в тебе не чаёт,

Тобой жива, тобой полна...

Она то шутит, то ненастье

Туманит детские черты,

Ее глаза по большей части

Заплаканы до красноты.

(Пер. Б. Пастернака).

*(167) Слова из статьи Л. Н. Толстого "Не могу молчать".

*(168) Так перечнем обил, искусными словами

О всех жестокостях, свершенных над отцами,

О зле, которого не вправе мы забыть,

Усилил в их сердцах я жажду отомстить.

(П. Корнель. "Цинна, или Милосердие Августа").

*(169) Я рисую им картины этих злосчастных битв, когда Рим собственными руками раздирал себе грудь, когда орлы били орлов и со всех сторон наши легионы поднимали оружие против нашей свободы... Но я не нахожу нужных красок, чтобы изобразить все эти ужасы. Я рассказываю, как они наперерыв хвалятся своими убийствами, изображаю Рим, затопленный кровью своих детей... злодеев, поощряемых деньгами к преступлениям, рисую мужа, раздавленного женою на брачном ложе, сына, залитого кровью отца и требующего награды с

отцовской головой в руках... Но все эти ужасы дают лишь слабый набросок их кровавого мира (1, 3). (Примеч. авт.).

*(170) Погиб Патрокл (греч.).

*(171) Когда я писал это, я считал подобную ошибку невозможной. Спустя несколько недель, уже сдав свою рукопись в набор, я присутствовал при разборе одного дела об убийстве в нашем суде, и вот что я услышал в середине защитительной речи: "Господа присяжные заседатели! Товарищ прокурора начал свою речь достаточно патетически. Я позволю себе так же патетически окончить свою. И я уверен, что вы признаете, что мой пафос будет искренним" (заседание Санкт-Петербургского окружного суда 9 апреля 1910 г.). (Примеч. авт.).

*(172) Уэтли пишет: "Было бы совершенно бесцельно принять решение ускорить или замедлить свое кровообращение; но мы можем принять лекарство, которое вызовет такое изменение в нашем организме; подобно этому, хотя мы не способны вызвать или усилить в себе какое-либо чувство или настроение непосредственным усилием воли, мы можем актом воли направить свой ум на такие мысли, которые вызовут в нас известные чувства... Люди, нравственно дисциплинированные, постоянно прибегают к этому искусственному приему. Нетрудно видеть, что они тем самым принимают по отношению к себе роль расчетливого оратора и делают именно то, что с таким негодованием называется воздействием на чувство". *der Intellekt spielt, und der Wille muss dazu tanzen,* – говорит Шопенгауэр. (Примеч. авт.).

*(173) Перносаж трагедии Шекспира "Гамлет".

*(174) Незаконченное произведение А. С. Пушкина.

*(175) Имеется в виду мнение А. Ф. Кони.

*(176) "С крупинкой соли", т. е. остроумно; с иронией (лат.).

*(177) *L'Art de plaider*. (Примеч. авт.).

*(178) Отрывок из статьи В. Г. Белинского "Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета".

*(179) Макс Пикколомини – полковник кирасирского полка; Валленштейн-герцог Фриндландский, генералиссимус имперских войск во время 30-летней войны – главные действующие лица трагедии Ф. Шиллера "Пикколомини".

*(180) Бесстрастно (фр.).

*(181) Снискание расположения (лат.).

*(182) "Приступая к этому страшному обвинению, я не могу и не хочу заглушить в себе чувство глубокой скорби (слово *humaine* здесь не поддается переводу)... Я сознаю важность и тяжесть возложенного на меня долга, и вы поверите, что я всей душой желал бы найти невинного там, где могу видеть только преступника". Речь Оскара де ла Валлэ. (Примеч. авт.).

*(183) Рукописные заметки присяжного заседателя. (Примеч. авт.).

*(184) Обоюдоострые доводы (лат.).

*(185) Постепенное возвышение, усиление (лат.).

*(186) Уподобление, сравнение, аналогия (лат.).

*(187) (Зд.) намек (лат.).

*(188) Восклицание, возглас (лат.).

*(189) Антитеза – противоположность, противоречие (лат.).

*(190) Разделение, расчленение (лат.).

*(191) Обособление понятия (лат.).

*(192) Разделение понятия на составные части (лат.).

*(193) Апостроф – обращение судебного оратора не к судье, а к своему противнику, обращение вообще (лат.).

*(194) Одобрение поощрение (лат.).

Данная книга была скачана с сайта Librs.net.